

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

# ДОСТОЕВСКИЙ

—

## МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

5



ЛЕНИНГРАД  
«НАУКА»  
Ленинградское отделение  
1983

## ОТ РЕДАКТОРА

Пятый том серии «Достоевский. Материалы и исследования» состоит из четырех разделов: «Достоевский и современность», «Неопубликованные тексты Достоевского», «Статьи и исследования», «Сообщения. Заметки», «Новые материалы» (в этом разделе продолжена публикация писем к Достоевскому).

Ссылки на произведения Достоевского даются по изданиям: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Т. 1—25. Л., 1972—1982 (при цитатах указываются арабскими цифрами и том, и страницы); Достоевский Ф. М. Полн. собр. художественных произведений. Т. XI и XII (Дневник писателя). М.—Л., 1929 (при цитатах указываются римскими цифрами том, арабскими — страницы). Письма цитируются по изданию: Достоевский Ф. М. Письма. Т. I—IV. М.—Л., 1928—1959 (при цитатах: П., том — римская цифра, страница — арабская).

В редакционно-технической подготовке тома ближайшее участие принимала Г. В. Степанова.

Редактор 5-го тома

*Г. М. ФРИДЛЕНДЕР*

Рецензенты: Г. Л. Боград, Е. И. Семенов

# ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ



Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ДОСТОЕВСКОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ

### 1

Два великих русских писателя второй половины XIX в. с наибольшей силой выразили размах, глубину и мощь тех социальных, философских и нравственных исканий, которые пробудила как в образованных слоях русского общества, так и в гуще самых широких масс пореформенной России эпоха назревания русской революции, — Ф. М. Достоевский и Лев Толстой.

И Достоевский, и Толстой не принадлежали к представителям той части русской интеллигенции своей эпохи, которая, подобно Герцену, Салтыкову-Щедрину, Некрасову или Чернышевскому, прочно и навсегда связала свою судьбу с освободительным движением. Испытавший в молодости сильное, неизгладимое влияние идей Руссо, Толстой впоследствии, почти до самой первой русской революции, пытался в своих общественных и нравственных исканиях идти другим путем, чем русские революционные демократы его эпохи; лишь идейный перелом 80-х годов и особенно революция 1905 г. заставили его признать себя защитником прав многомиллионного русского народа. Точно так же путь Достоевского, начавшего свою писательскую деятельность под воздействием идей Белинского и учений французского утопического социализма 40-х годов, приговоренного к расстрелу и осужденного на каторгу за участие в революционных кружках петрашевцев, резко разошелся впоследствии с путем революционеров той эпохи. И все же именно два этих великих писателя наиболее рельефно, сильно и впечатляюще выразили в своем художественном творчестве грозный, мятежный дух эпохи, обрисовали ее характеры и конфликты, передали высокий накал мысли, чувства и страсти, порожденные ею. Вот почему художественные открытия и Достоевского, и Толстого явились (если воспользоваться словами Ленина о Толстом) шагом вперед в художественном развитии человечества. Более того, значение творчества Достоевского и Толстого выходит за рамки истории рус-

ской и даже всей мировой литературы, — творчество это принадлежит к таким же величайшим явлениям духовной культуры человечества, как творчество Гомера и Фидия, Данте и Шекспира, Гете и Пушкина, Платона и Аристотеля, Микельанджело и Рембрандта, Канта и Гегеля.

Достоевский не был «баловнем судьбы». Сын лекаря московской Мариинской больницы для бедных, он рано узнал те унижения и страдания, которые неизбежно выпадали в условиях дворянско-крепостнического строя николаевской России на долю человека из непривилегированных слоев общества, интеллигентного труженика. В военно-инженерном училище, куда будущий писатель поступил в 1838 г. по желанию отца, он чувствовал себя плебеем, отделенным глухой стеной от большинства своих товарищей, принадлежавших по рождению к знатному и родовитому русскому дворянству. Позднее, по выходе из училища, молодой Достоевский узнал на своем личном опыте горькую и необеспеченную жизнь тогдашнего литератора, вынужденного ради хлеба насущного продавать свой труд различного рода литературным промышленникам и антрепренерам, глубокую ненависть к которым писатель сохранил на всю жизнь. «Я литератор-пролетарий», — писал он о себе (П., I, 333). Личный жизненный опыт углубил мысль молодого писателя, сделал его особенно восприимчивым к человеческой боли и страданию.

В. И. Ленин писал об эпохе развития капитализма в России: «Этот экономический процесс отразился в социальной области „общим подъемом чувства личности“, вытеснением из „общества“ помещичьего класса разночинцами, горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности».<sup>1</sup>

Перечисленные Лениным социально-психологические явления получили исключительное по яркости и выразительности художественное преломление в творчестве Достоевского.

Уже Пушкин, Лермонтов и Гоголь отразили в своих произведениях — хотя и по-разному — многообразные формы подъема чувства личности в русском обществе. Рост чувства личности, нежелание подчиняться писаным и неписаным нормам дворянского общежития и средневековой морали объединяют таких несходных друг с другом во всем остальном героев Пушкина, как Кавказский пленник и Алеко, Онегин и Ленский, Татьяна Ларина и Сильвио, Гринев и Маша Миронова. Могучее обаяние сильной и непокорной личности человека из народа Пушкин опоэтизировал в лице Пугачева. Но и в скромном станционном смотрителе Самсоне Вырине, «сущем мученике четырнадцатого класса», великий русский поэт чутко обнаружил живую личность со своим скромным достоинством, индивидуальным сложным внутренним миром, своей — выстраданной — мерой добра и зла.

Достоевский в обстановке пореформенной эпохи русского общества и русской литературы продолжил и углубил начатый

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 433.



его предшественниками социально-психологический анализ развития личности и личного самосознания у представителей различных классов русского общества в условиях неуклонного, лихорадочного развития капитализма в России. Уже в произведениях 40-х годов — романах «Бедные люди» и «Двойник» (1846) — Достоевский показал, что зарождение самостоятельной мысли у каждого, казалось бы самого обезличенного, незаметного и скромного, человека — человека-«ветопки», обделенного в условиях дворянско-крепостнического общества всем, в том числе и способностью сколько-нибудь верно представить себе свое жалкое положение, является неизбежным, составляет закон «живой жизни», действие которого не может быть никем и ничем остановлено. Ибо в условиях даже самого страшного общественного и политического гнета человек остается человеком, а потому в нем более или менее ярко тлеет неугасимая искра пытливого и требовательного человеческого сознания.

Не случайно поэтому уже в первых произведениях Достоевского-художника центральным предметом изображения стал процесс трудного, зигзагообразного, противоречивого развития личности и личного сознания в России той эпохи. В произведениях предшественников Достоевского — Пушкина, Лермонтова, Гоголя — личностью сознавали себя Онегин, Печорин, Чартков. Самсон же Вырин, Максим Максимович или Башмачкин, хотя и ощущали свое человеческое достоинство и действительно защищали его, все же оставались чужды сознательному взгляду на себя как на полноценную человеческую личность, имеющую право на внимательное, бережное отношение к своему внутреннему миру со стороны любого более высокоразвитого человека.

Именно отсюда вытекает сущность того «коперниканского переворота», подготовленного предшественниками Достоевского, но осуществленного им в первых его произведениях, который явился основой также и всех позднейших его художественных открытий. Развивая дальше традиции Пушкина, Лермонтова и Гоголя, молодой Достоевский показал, что скромный человек «толпы» — Макар Алексеевич Девушкин или Голядкин — стал в новую, более противоречивую полосу русской истории такой же богатой и сложной человеческой личностью, как Онегин или Печорин. Любовь Макара Алексеевича Девушкина к Вареньке Доброселовой по своему благородству, поэтической чистоте и самоотверженности не уступает чувству любого — пусть самого возвышенного — романтического героя, а раздвоение и безумие «фантастического» чиновника Голядкина таят в себе не меньше сложнейших психологических откровений о «тайнах души человеческой», чем раздвоение гофмановского Медарда, безумие героев того же Гофмана или В. Ф. Одоевского.

Так родилась в творчестве молодого Достоевского та тема, которая позднее стала в нем центральной. Тема эта — если воспользоваться гегелевским определением — своего рода реалистическая «феноменология духа» России и Запада 40—70-х годов

XIX в., исследование тех многообразных и сложных путей развития личности и форм личного сознания, которые как в различных слоях «образованного общества», так и в среде чиновничества, и в самом народе, и в других слоях населения породили переходная, предреформенная, а затем и сменившая ее пореформенная эпоха русской жизни, равно как и развитие капитализма в Западной Европе в ту же эпоху.

Сложные, противоречивые формы развития личности в эпоху распада помещичье-патриархального общества, семьи, старого, прочного крепостнически-чиновничьего правопорядка (с его уничтоженными или уничтожаемыми канцеляриями), лихорадочная ломка всех старых бытовых и нравственных устоев, переоценка традиционных, завещанных веками нравственных ценностей, с одной стороны, и бурное развитие личного начала во всех слоях общества, с другой, — таков тот общий всемирноисторический эпохальный фон, на котором развивается действие в повестях и романах Достоевского. На этом фоне Достоевский рисует своих главных героев, защищающих свою человеческую личность от наступающей на них со всех сторон, обезличивающей их, грозящей им, по собственному их признанию, превращением в старую и грязную, затертую ногами «ветошку» действительности. В борьбе за свою личность одни из них, более элементарные по своему складу, как Голядкин или Прохарчин, готовы опереться на свои чиновничьи «права» или на накопленный ими капитал, гарантирующий им, как им до поры до времени представляется, относительную независимость или ограждающий их от неожиданных потрясений. Другие, более сложные модификации личного протеста, которые были известны Достоевскому, различные, неоднозначные по общественному содержанию способы личных исканий, личного бунтарства, возникающие на этом пути «фантастические» идеи, иллюзии, ложные формы сознания он исследовал в позднейшую эпоху в своих больших романах. Но как бы ни менялись и ни усложнялись фабула и герои этих романов, исследование основных, устойчивых в наиболее общих своих контурах форм движения личного сознания, личных исканий и личного протеста в пореформенную эпоху остается неизменно главным их содержанием.

Достоевский стремится показать, в особенности в повестях и романах 60—70-х годов, что в жизни человечества настала эпоха, когда ни один человек, ни в одном самом тихом провинциальном уголке не может остаться в стороне от общего лихорадочного движения общества. Все люди вовлечены так или иначе в общее движение, сама жизнь неумолимо ставит перед ними одни и те же «проклятые» вопросы. При этом возникают бесконечно многообразные, неповторимо сложные в каждом отдельном, частном случае формы преломления этих вопросов в головах и сердцах людей, разных по уровню своего развития, по характеру понятий и навыков среды, по образовательному цензу, профессии и имущественному положению, людей, неравных друг

другу по нравственным задаткам и возможностям. И все же все эти люди живут в одном общем мире, дышат одним воздухом и в силу объективных законов истории каждодневно вынуждены сознательно или стихийно решать — и практически, и теоретически — одни и те же общие, «мировые» вопросы. Поэтому в мире Достоевского ни один персонаж не остается вполне пассивен и безразличен для другого. Жизнь каждого здесь — постоянный, страстный диалог с другими людьми, с миром и вселенной, большие, открытые вопросы жизни которых еще не решены, хотя вопросы эти, как полагает автор, настоятельно требуют от современного человечества прочного решения. В этот общий диалог вовлечены образованные классы и народ, Россия и остальные страны и народы Европы и всего мира, каждый отдельный человек и все человечество в целом.

Центральными темами западноевропейского реалистического романа XIX в. были обычно разгул хищничества, победа темных, собственнических инстинктов, темы утраченных иллюзий, нравственного измательства и гибели личности в мире пошлых буржуазных страстей. В романе же Достоевского, как в русском романе XIX в. вообще, центральное место занял образ страстно ищущего, мятущегося и борющегося человека, который, разрывая путы окружающих его общественных условностей и преодолевая собственные иллюзии, с громадным трудом стремится разобраться в окружающей его сложной путанице отношений, понять наиболее глубокие стороны своего личного и общественного бытия.

Мысль героя в романе Достоевского как бы втягивает в себя одну за другой различные стороны общественной жизни, подвергая их острому и придирчивому анализу, теоретически и практически поверяя их собственным опытом героя. Это позволило романисту, рисуя судьбу отдельного человека, наполнить роман до краев огромным и разносторонним содержанием, сделать его широким, неисчерпаемым зеркалом национальной жизни, показать личность героя в ее сложных взаимоотношениях с обществом и народом.

В свое время В. Гумбольдт заметил, что в поэмах Гомера рождение и смерть, напряжение и покой, героическое и обыденное, война и мир сменяют друг друга с той же правильностью, с какой происходят чередование вдоха и выдоха, смена времен года или биение человеческого сердца. При величайшем разнообразии эпизодов, характеров, сюжетных коллизий, при постоянных поворотах во взаимоотношениях героев их переплетение в гомеровском эпосе подчинено могучему чувству ритма и строгому единству: круговорот вещей, их рост и изменение для гомеровского певца неотделимы от вечного, непреходящего порядка вещей, имеющего божественное происхождение.<sup>2</sup> Об аналогичном желании осмыслить всемирную историю и вообще человеческую

---

<sup>2</sup> См.: Гумбольдт В. О поэме Гете «Герман и Доротея». — В кн.: Памятники мировой эстетической мысли, т. III. М., 1967, с. 144.

жизнь как своего рода «вечное возвращение», как периодическую смену приливов и отливов — и в смене поколений, и в ходе умственного и нравственного созревания отдельных людей, и в движении необъятного исторического моря — Толстой открыто заявил в «Воине и мире».

Универсализм романов Достоевского — иной по своей природе. Их лихорадочный темп рождается из ощущения исторически закономерной и неизбежной ломки сложившегося порядка жизни людей прежних, более спокойных эпох, с его постоянными, регулярно повторявшимися приливами и отливами. События в романах Достоевского совершаются загадочно, неожиданно, «вдруг», они наплывают друг на друга, теснят одно другое. И все же в этом «беспорядке» и «хаосе» (по известному определению самого романиста) есть свой высший художественный и исторический смысл, одновременно трагический и радостный. Ибо Достоевский уверен, что, несмотря на все те муки, которые неизбежно сопровождают всякую историческую ломку и рождение нового, он и его герои — участники и свидетели сложного процесса «перерождения человеческого общества в совершеннейшее» (XII, 201). Историческое «семя», которое таит в себе современный мир, по Достоевскому, еще не созрело, но оно уже зреет, уже приносит и должно принести в будущем России и человечеству «много плода».

## 2

Гегель полагал, что в буржуазном обществе с выходом из средневековой анархии воцаряется прозаический гражданский правопорядок, при котором исчезает почва для появления самостоятельного действующей, активной человеческой личности. Поэтому, опираясь на опыт романов Гете и Вальтера Скотта, основным историческим содержанием романа как эпоса нового времени Гегель признал историю воспитания личности обществом, воспитания, в ходе которого она освобождается от своих юношеских бурных порывов и увлечений, приспособляется к буржуазному правопорядку и открывает для себя поэзию в жизненной прозе.<sup>3</sup> Достоевский же — и в этом отношении он явился одним из величайших художников-диалектиков не одного XIX века, но и всех времен — отчетливо осознал как романист, что взгляд на буржуазный правопорядок как на нечто прочно и окончательно сложившееся, как на последнее слово истории человечества, представляет глубочайшее заблуждение. Нет ни одной мельчайшей «клеточки» классового общества и государства, где прочно царил бы порядок и «благообразие», все здесь находится в раздвоении и противоречиях, в постоянной борьбе и брожении. И чем больше возрастают несвобода человека, отчуждение людей друг от друга, тем больше обостряются самостоятельность и активность человеческого самосознания,

<sup>3</sup> См.: Гегель, Соч., т. XIV. М., 1958, с. 273—274.

стремящегося вырваться из тех узких границ, которые поставила ему буржуазная цивилизация, противопоставить «буржуазной формуле единения» людей иную, высшую формулу мировой гармонии (XII, 412). На этом пути отдельный человек и человеческий разум неизбежно терпят поражения и ошибки, но остановить их движение вперед невозможно, ибо оно неотъемлемая черта «живой жизни», глубоко укоренено в самой внутренней природе вещей.

Характеризуя центральных персонажей Достоевского и противопоставляя их излюбленным героям западноевропейского реалистического романа XIX в., Стефан Цвейг заметил, что для главных героев Диккенса «цель всех стремлений — миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой детей», а для героев Бальзака — «замок с титулом пэров и миллионами». И если в буржуазной Европе XX в. «мы оглянемся вокруг, — писал Цвейг, — на улицах и лавках, в низких комнатах и светлых залах — чего хотят там люди? Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? Никто. Ни один. Они нигде не хотят остановиться — даже в счастье. Они всегда стремятся дальше...»<sup>4</sup>

Так же как Тургенев и Лев Толстой, Достоевский отверг характерный для буржуазных стран Запада в XIX в. жанр семейного романа или «романа карьеры». Герои Достоевского — мученики мысли, люди, которым нужно прежде всего «мысль разрешить» (14, 76). Любые вопросы личного бытия неразрывно сплетаются для них воедино с всеобщими, универсальными по своему смыслу, «вечными» вопросами бытия России и человечества. Поэтому прежде чем решить, какой путь избрать для самих себя, они должны проникнуть в глубокую, сложную диалектику «мировых» вопросов и «мировых противоречий» (25, 149).

Широкое распространение на Западе во второй половине XIX в. натуралистической теории романа имело своим следствием «депсихологизацию» романтического героя. Руководствуясь вульгарно-материалистическим пониманием взаимоотношения физиологии и психологии, романисты-натуралисты настойчиво стремились освободить своего героя от внутренней сложности путем сведения всей его душевной жизни к элементарным, простейшим влияниям физиологической организации, «среды» и наследственности. В противоположность писателям-натуралистам Достоевский поставил в центр своего внимания человека не с бедной и элементарной, а с богатой и напряженной душевной жизнью; причем он сумел благодаря своему гуманизму обнаружить наличие богатого, сложного и изменчивого внутреннего мира у самого простого, незаметного, рядового человека «толпы».

Центральный герой романов Достоевского — человек большого интеллектуального мужества и чуткой совести. Он требователен

<sup>4</sup> Цвейг С. Собр. соч., т. VII. Л., 1929, с. 121—122.

к самому себе и к другим, презирает компромиссы с собой, лицемерие лживой морали, господствующей в окружающем обществе. Независимо от того, происходят ли герои Достоевского из разночинной в собственном смысле слова или из дворянской среды, они с детских лет обычно оказываются свидетелями и жертвами социального «неблагообразия», рано узнают изнанку жизни. А обнаружив «неблагообразия» окружающих их социальных отношений, они делают эти отношения, связанные с ними философские идеи и нравственные нормы предметом напряженного размышления и анализа. Они не удовлетворяются чисто теоретическим анализом существующих отношений, а с самого начала смотрят на этот анализ как на средство для жизненно-практических решений и выводов. Поэтому, дойдя в ходе своих размышлений над жизнью до определенных конечных результатов, они сейчас же хотят подвергнуть их практической проверке на своем собственном, личном опыте, хотят немедленно убедиться в осуществимости и результативности своей «идеи».

Достоевский заметил, что персонажи многих из русских писателей предшествующего периода, в частности герои, принадлежавшие к галерее «лишних людей» (а также герои молодого Толстого), «могли лишь мечтать», но им не хватало энергии и сил для того, чтобы «довести <...> мечту до дела» (25, 35). Персонажи Достоевского же настойчиво стремятся перейти рубеж, отделяющий замысел от исполнения, слово от дела. Перед каждым из них «неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы», без решения которых им «жить нельзя» (24, 48), и это не дает им покоя, толкает из сферы отвлеченного мышления к практическому действию.

Но как сохранить те блага, которые несет обществу мыслящая «свободная» личность, и в то же время избавить ее саму и человечество от антиобщественных, отрицательных начал и задатков, порождаемых в ней буржуазной цивилизацией? Вот вопрос, который постоянно вставал перед автором «Преступления и наказания». При всей своей гениальности Достоевский ни здесь, ни в других своих романах не смог нащупать исторически верного пути к его решению. Этим обусловлены апелляции Достоевского к страданию и смирению, призванных, по мысли романиста, обуздать дремлющие на дне ума и сердца «свободной» личности разрушительные задатки, способствовать ее духовному возрождению, воссоединению с народной правдой. Самому романисту нередко представлялось, что в призывах к внутреннему просветлению, очищению личности страданием состоит тот последний, главный вывод, который вытекает из его художественного анализа трагической нескладицы современного ему бытия. Но уже наиболее проникательные современники Достоевского прекрасно поняли то, что в наши дни очевидно для всякого читателя: Достоевский был слишком могучей, титанической личностью, чтобы поэзия душевной кротости, смирения и страдания могла сделать его глухим к грозным и мятежным порывам человеческого духа.

«Идея» Раскольникова о двух разных разрядах людей, из которых одни рождены для того, чтобы повиноваться и терпеть, а другие имеют право «преступить» любые законы — божеские и человеческие, глубоко безнравственна и бесчеловечна. Но это не значит, что Раскольников — «отрицательный» персонаж, традиционный «злодей». Раскольников — трагическое лицо, в его сердце и в сердцах других героев-«отрицателей» Достоевского разворачивается на наших глазах борьба добра и зла. Без острой мысли Раскольникова, без его диалектики, «отточенной, как бритва», фигура его потеряла бы для читателя свое обаяние. Более того, нельзя не признать, что совершенное Раскольниковым необычное, «идейное» преступление также придает его образу особый, демонический интерес. То же самое можно сказать и о других его трагических героях-«отрицателях».

Отсюда вовсе не следует, что Достоевский в своих романах поэтизирует зло подобно писателям «модерна». Дело совсем в другом: он ценит в своих героях-«отрицателях» непримиримость к историческому застою, нравственную неуспокоенность, способность жить не одними узкими вопросами своего личного существования, но большими, тревожными вопросами жизни всех людей, остро ощущать необходимость коренных исторических перемен, которые бы помогли сдвинуть человечество с мертвой точки.

Центральные персонажи романов Достоевского «идут к истине ценою преступления», если воспользоваться старым выражением Шиллера (стихотворение «Истукан в Саисе»). В этом — трагическая вина, за которую им приходится расплачиваться поражением, а часто и жизнью. Но было бы наивно думать, что, осуждая их индивидуалистические блуждания, Достоевский осуждает и движущую ими всепоглощающую жажду истины, их трудное, страдальческое устремление к неведомой им правде. Вот почему герои-«отрицатели» в его романах, искания которых (какой бы парадоксальный характер они ни принимали) питаются искренним, бескорыстным стремлением разобраться в сложных загадках жизни, мучительно выстрадав свою личную правду, сохраняют большое драматическое обаяние, не уступая в этом отношении противопоставленным им автором персонажам, в которых воплощены поэзия душевной кротости, чистоты сердца, тихого, радостного приятия мира. В обоих этих противоположных и в то же время взаимосвязанных, не отделимых друг от друга полюсах национальной жизни Достоевский ощущал биение живого пульса России. Именно диалектика борьбы и столкновения характеров, воплощающих противоположные силы и тенденции жизни, а не изображение царства мирного покоя и завершенности составляет живую основу его великого и требовательного реалистического искусства.

Апеллируя к религии, к христианской любви и милосердию как к наиболее надежным будто бы средствам преобразования мира, Достоевский мучительно сознавал, что никакие самые возвышен-

ные религиозные идеалы не в силах победить социальное зло. «Христос проповедовал свое учение только как идеал, сам предрек, что до конца мира будут борьба и развитие», — с глубокой скорбью писал он (20, 173). Поэтому трагичен и финал жизненного пути любимого героя Достоевского, нового «Дон-Кихота» и «Рыцаря бедного» — князя Мышкина. А между тем жажда осуществления «мировой гармонии» — и притом здесь, на земле, а не в потустороннем мире, — никогда не оставляла Достоевского.

Русский роман XIX в. развивался в атмосфере переходной эпохи — эпохи, отмеченной страстными поисками мыслящей частью общества социальной и нравственной истины, постоянным духовным горением и неуспокоенностью. Неудовлетворенность дворянским и буржуазным строем жизни побуждала лучшие, передовые умы в России снова и снова творчески пересматривать все основные вопросы общественного и личного бытия с целью найти новые пути преобразования жизни. Эта обстановка определила особые черты русского реалистического романа и повести — выдвигание в них на первый план образа мыслящего человека, живущего сложной и напряженной духовной жизнью, как и стремление соединить в каждом произведении — большом или малом — анализ исторически изменяющихся и общих, наиболее постоянных, основных, «вечных» вопросов жизни людей. И обе эти особенности русского реализма XIX в. получили в романах Достоевского исключительное по яркости и мощи художественное выражение.

Для западноевропейских литератур второй половины XIX в. было характерно стремление не столько к воссозданию единой, цельной картины мира, сколько к разработке ряда отдельных, более дробных художественных сцен. Роман и повесть становятся в это время на Западе для художника все чаще зеркалом не общей картины общественной жизни, но отдельного ее «куска». Напомню, что уже Бальзак пытался реализовать грандиозный замысел «Человеческой комедии» в серии романов, каждый из которых был предназначен изображать определенную, локальную сферу жизни (Париж или провинцию, жизнь дворянства или буржуазии, «частную» или политическую сферу) или особый аспект человеческого бытия (как «философские» повести и романы, обобщенно-символический образный мир которых отличен от образного мира других частей его эпопеи). В этом отношении жанр романа, созданного Достоевским, — также антипод западноевропейского романа его эпохи, ибо что бы ни ставил в нем в центр своего внимания романист — историю необычного и сложного преступления, «историю одной семейки» или любое другое жизненное явление, — конечной целью его всегда остается «перерыть» в романе «все» вопросы (7, 148), осветить — через призму истории единичных лиц и событий — весь сложный комплекс философских, социальных и нравственных проблем, в которых сфокусировано прошлое, настоящее и будущее человечества, его вчерашний, сегодняшний и завтрашний день.



Другие писатели «натуральной школы» 40-х годов, изображавшие жизнь бедного чиновника и вообще рядового бедняка столицы, склонны были делать акцент в первую очередь на материальной нищете, забитости, юридическом бесправии героев. Молодой Достоевский же особенно остро почувствовал и выразил другую сторону их социальной драмы — каждодневное оскорбление в условиях дворянско-крепостнического общества личного человеческого достоинства. Мысль о том, что самое страшное унижение для человека — пренебрежение его личностью, заставляющее его чувствовать себя ничтожной, затертой грязными ногами «ветошкой» (1, 79), выражена с огромной силой уже в ранних повестях Достоевского.

Но человек с ущемленным чувством личности, как почувствовал уже в эти годы Достоевский, — существо далеко не простое, весьма противоречивое. Ибо едкое, жгучее чувство личного унижения, испытанное им, может перерасти в душе «маленького человека» большого города не только в ненависть к своим угнетателям, но и породить в его душе склонность к социальному юродству, властолюбивые «наполеоновские» или «ротшильдовские» мечты, мстительный дикий порыв злобы, все сметающий на своем пути. И тогда, казалось бы, внешне мирный, незлобивый «маленький человек» может превратиться в тирана и деспота, в грозную опасность для общества и для самого себя.

Вопросом, который стоял в центре внимания русских революционных демократов и всех главных представителей передовой русской литературы 40—60-х годов, был вопрос о борьбе с крепостным правом, его проявлениями в политической, социальной и культурной жизни страны. Внимание Достоевского же — и это определило с самого момента его вступления в литературу особое, исключительное положение его произведений среди произведений писателей середины XIX в. — было отдано в первую очередь вопросу о том, каковы потенциальные силы и возможности, скрытые в груди того «маленького человека», за освобождение которого искренно и горячо ратовала передовая литература 40-х годов. Не таится ли опасность для светлого будущего людей не в одних лишь опутывающих их сословно-крепостнических путах, но и в том формально «свободном», по существу же своему буржуазном человеке, который в результате Великой французской революции XVIII в. освободился на Западе от средневековых стеснений и борьба за освобождение которого встала на повестку дня в XIX в. также и в России? Таков вопрос, к размышлению над которым жизненный опыт Достоевского подвел его уже в молодые годы.

И на Западе, и в России развитие капитализма несло с собой подъем чувства личности. Но подъем чувства личности при капитализме не мог не принимать часто самые противоречивые формы. Освобожденная личность могла стать в этих условиях

в равной степени и созидательной, и отрицательной, разрушительной силой. И именно эту вторую, деструктивную тенденцию, свойственную буржуазной свободе личности, никто в мировой литературе не выразил с такой трагической глубиной и силой, как Достоевский.

Достоевский рано понял, что повседневная будничная жизнь дворянского и буржуазного общества рождает не только материальную нищету и несправедливость. Она может поднять со дна души «маленького человека» весь веками накопленный там исторический шлам, вызвать к жизни нередко фантастические «идеи» и идеологические иллюзии, — «идеалы содомские» в мозгу людей, — не менее гнетущие, давящие и кошмарные, чем внешняя обстановка жизни. Внимание Достоевского — художника и мыслителя к этой сложной, «фантастической» стороне бытия большого города позволило ему соединить в своих повестях и романах скупые и точные картины повседневной, «прозаической», будничной действительности с таким глубоким ощущением ее социального трагизма, такой философской масштабностью образов и силой проникновения в «глубины души человеческой», какие редко встречаются в мировой литературе.

Исследователи Достоевского в прошлом не раз были склонны упрекать его в том, что в своем исследовании болезненной раздвоенности души мелкого чиновника или петербургского «мечтателя» он зашел слишком далеко, преувеличив эту раздвоенность и придав ей в своем творчестве некое извечное, метафизическое значение. С этим обвинением сегодня нельзя согласиться без существенных оговорок. Достаточно вспомнить о ленинском анализе психологии мелкого крестьянства или об оценке Марксом и Лениным противоречивых черт, присущих различным течениям и типам мелкобуржуазной, мещанской революционности, чтобы понять реальное историческое значение художественно-психологического анализа души петербургского чиновника или интеллигентного разночинца в произведениях Достоевского, какие бы ложные и ошибочные выводы ни делал из этого анализа порою сам писатель.

Если мстительность, злоба, мрачные «наполеоновские» (или «ротшильдовские») мечты, никем не замеченные, могут существовать до поры до времени на дне души мещанина, обывателя, «маленького человека» большого города, то насколько большую социальную опасность представляет для человечества то же мрачное и уродливое «подполье», если оно гнездится на дне души не «маленького», забитого и робкого, а развитого, интеллигентного, мыслящего буржуазного человека! Этот вопрос Достоевский решает в каждом из своих больших романов и повестей. И писатель приходит к выводу, что буржуазная свобода, индивидуализм и аморализм несут человечеству не меньшую опасность, чем самое страшное стеснение и угнетение личности. Ибо нет такого зла, которого не могло бы породить своеволие «свободной» личности: часто ей свойственны не только дикие, бессмысленные,

капризные фантазии, вспышки раздраженного самолюбия, — она способна на самый жестокий, разнузданный деспотизм по отношению к другим людям. Будучи доведенной до предела, искусственно преувеличенная идея свободы личности превращается в свою противоположность. И в этом уродливом виде она приводит не только к тому, что рвутся все нормальные, естественные связи личности с обществом, нацией, мирозданием, но и к неизбежному нравственному разрушению и деградации самой же «свободной» буржуазной личности.

Трагизм положения мыслящих героев писателя в том, что, переживая разлад с окружающим обществом, отрицая страстно его несправедливость и зло, они несут в себе сами груз порожденных им ложных идей и иллюзий. Яд буржуазного индивидуализма и анархизма проник в их сознание, отравил их кровь, а потому самым страшным своим врагом являются они же сами. Болезнь и раздвоенность окружающего общества рождает у них столь же болезненное и разорванное сознание, вызывает к жизни в их голове глубоко антиобщественные, аморальные идеи, зловещие и разрушительные по своему характеру.

Одним из первых Достоевский верно почувствовал, что восстание против старой, буржуазной морали посредством простого ее выворачивания наизнанку не ведет и не может привести ни к чему хорошему. Лозунги «убей», «укради», «всё дозволено» и т. д. могут быть субъективно, в устах тех, кто их проповедует, направлены против лицемерия буржуазного общества и буржуазной морали. Ибо, провозглашая в теории «не убий» и «не укради», последние на практике возводят убийство и грабеж в повседневный «нормальный» закон общественного бытия. Но объективно лозунги эти представляют собой апологию зла, т. е. более агрессивную, злобную форму той же буржуазности.

Беда Достоевского была в том, что в борьбе с индивидуалистическим своеволием буржуазной личности он и сам нередко вынужден был всего лишь выворачивать наизнанку ее жизненную философию. Насилию он противопоставлял культ страдания, «гордости» — «смирение». В результате реальная история человеческого общества со свойственными ей сложностью и драматическими конфликтами превращалась под пером Достоевского зачастую в бесплотную схему, в отвлеченное столкновение добра и зла, бога и дьявола, «идеала Мадонны» и «идеала Содомского», Христа и Великого инквизитора. Ибо, сознавая верно бесперспективность и разрушительность «бунта» интеллигента-одиночки, сжигаемого огнем скрытого честолюбия, писатель до конца жизни так и не сумел провести водораздел между анархо-индивидуалистическими блужданиями интеллигентной богемы больших городов и самоотверженной, ясной и последовательной по своим целям революционной мыслью.

В этой связи следует особо остановиться на романе «Бесы». Роман этот, отразивший острую полемику Достоевского с освободительным движением 60-х годов, долгое время воспринимался

критикой и в России, и на Западе однозначно — как произведение антиреволюционное. История нашего века показала, что дело обстоит значительно сложнее. Достоевский в «Бесах» выразил также и ту мысль, что революционное движение не развивается в безвоздушном пространстве, оно не отгорожено непроницаемой, глухой стеной от окружающего общества и его идей. А это означает, что в среду участников революционного движения могут проникать — и на деле проникали уже в XIX в. — наряду с самоотверженными и честными борцами за революцию и социализм, готовыми пожертвовать жизнью за счастье народа, также представители деклассированной мелкобуржуазной богемы — Петры Верховенские и Шигалева, скрывающиеся под маской ультралевых, мнимореволюционных или псевдосоциалистических фраз свое истинное лицо честолюбивых и нечистоплотных псевдореволюционеров, для которых призыв к «прямому действию» означал всего лишь призыв к удовлетворению собственного тщеславия и аморализма. Наш век подтвердил, что Достоевский в этом отношении не ошибся. Достаточно вспомнить, что Муссолини в молодости был близок к социалистическому движению, что одним из идеологов «прямого действия» во Франции был анархист Ж. Сорель, что гитлеровцы именовали себя «национал-социалистами», не говоря уже о тех деструктивных, разрушительных, опасных для судьбы человеческой культуры началах, которые обнаружили в наши дни как правые, так и левозэкстремистские течения различного рода, глубоко враждебные гуманизму и подлинному, реальному социализму. Недаром Маркс и Энгельс сошлись с Достоевским в непримиримо резкой оценке нечаевщины, хотя они и подходили к ее оценке с иных, пролетарских позиций. Однако заслуга писателя, художника, как заметил еще Чехов, состоит прежде всего в том, чтобы поставить вопрос, а не в том, чтобы всегда верно его решить. И в этом отношении заслуга Достоевского в «Бесах» — при всех глубоких противоречиях, свойственных этому роману, — не может быть оспорена. Исследуя критически духовно-нравственный облик современных потомков Ставрогина, Петра Верховенского, капитана Лебядкина, Шигалева, прогрессивная мировая литература XX в. в борьбе с реакцией уже не раз обращалась и еще не раз будет обращаться к опыту Достоевского-художника.

Нечаев не был заурядным обманщиком или бесчестным честолюбцем. Но отвергая дворянскую и буржуазную мораль, он вместе с тем был готов утверждать, что для умной и энергичной личности любые нравственные законы и нормы — не более чем предрассудок, через который она свободно может перепахнуть. Ложь, провокация, доносы, убийство, элементарная нечестность, создание искусственного ореола вокруг собственной личности, желание связать членов организации круговой порукой, чтобы добиться их слепого повиновения, не противоречат, по утверждению Нечаева, задачам революционной борьбы, оправданы ее конечной целью. Об этом говорится в составленном им «Катехизисе»,

вдохновленном идеями Бакунина. Вот почему в свете большой истории критика нечаевщины Достоевским была полезна прежде всего для самого освободительного движения. Ибо святое дело революции не терпит грязных рук Верховенских и Шигалевых, не имело и не имеет с деятелями подобного рода ничего общего. И не случайно К. Маркс еще в 70-х годах XIX в. раз и навсегда провел ясную и четкую разделительную черту между мелкобуржуазным анархизмом Бакунина и Нечаева, их релятивизмом в политике, этике и эстетике, программой мелочного казарменного коммунизма и чуждой какой бы то ни было тени этического релятивизма, глубоко чистой и благородной по своим целям, по политическим методам и средствам борьбы программой революционной марксистской партии.

В том, что Достоевский не мог разобраться в явлении нечаевщины с той степенью научной объективности, с какой анализировали нечаевщину на Западе Маркс, а в России Герцен, виновато было не только его предубеждение против революции. Порфирий Петрович узнает в мыслях Раскольникова тревожившие в молодости и его самого, но навсегда изжитые и оставленные им идеи. Точно так же Мышкин узнает самого себя (или, вернее, пережитую им в прошлом и духовно преодоленную стадию развития) в Ипполите, а Зосима — в Иване Карамазове. Создатель этих образов, разделяя народный взгляд на преступников как на «несчастных», считал «несчастливыми» также и своих трагических героев-«отрицателей». И более того: вероятно, Достоевскому нужно было в молодые годы самому пережить «изнутри» и близко узнать на примере знакомых ему людей хотя бы часть тех духовных соблазнов, которые смущают Раскольникова, Ипполита, Кириллова, Ивана Карамазова, и с болью вырвать их из себя, одержав над этими соблазнами внутреннюю победу, чтобы получить право нравственно осудить «идеи», смущающие этих его героев, выступить в качестве неподкупного судьи буржуазного индивидуализма и буржуазной морали со всеми ее мнимыми, призрачными ценностями.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> «Das ist ein schon überwundener Standpunkt» («Это уже преодоленная и отвергнутая точка зрения»), — так сказал сам Достоевский В. В. Тимофеевой-Починковой о своем отношении к философским сарказмам и парадоксам героя «Записок из подполья» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1964, с. 176). И эти слова верно характеризуют отношение Достоевского не только к человеку из подполья, но и к идеям, высказываемым другими его трагическими героями. Достоевский полагал, что, пройдя через подобные духовные искусы, человек должен уметь мужественно их отвергнуть. Но он отнюдь не испытывал притяжения к философии жизни подпольного человека: психологическое «двойничество», вопреки широко распространенному представлению, было ему чуждо. Достоевский ценил в своих трагических героях масштаб их личности, моральную требовательность и неуспокоенность, максимализм мысли, отражение духовного «скитальчества» как черты национального характера, но антиобщественные идеи их он строго и беспощадно осуждал, глубоко сознавая гибельность этих идей для человеческой личности и человечества в целом.

Подлинный смысл и уроки «Бесов» по-настоящему раскрылись для человечества в условиях нашего, XX столетия. Достоевский еще в XIX в. сумел зорко разглядеть в «Бесах» и подвергнуть художественно-патологическому исследованию зачаточные, утробные формы такого явления, получившего особое распространение в условиях общественно-политической жизни XX в., как политическая реакция, выступающая под флагом революции, — какими бы лозунгами, правыми или «левыми», она ни прикрывалась. Художественно-психологический анализ «Бесов» явился важным уроком для человечества в годы борьбы с фашистской чумой. И сегодня этот роман остается ценным оружием в борьбе передового человечества с экстремизмом как правового, так и «левого» типа, с политическим авантюризмом, казарменным коммунизмом, с эстетизацией зла и насилия в политике и культуре.

Стоит вспомнить о том, что в то время как героическая революционная молодежь 70—80-х годов XIX в. и ее идейные руководители гневно отказались признать в героях «Бесов» хотя бы отдаленное сходство с нею, уже многие представители русских модернистских кругов начала XX в. — Д. С. Мережковский, А. Л. Волынский, Л. Шестов — наоборот, не без восхищения узнали в героях романа самих себя, ощутили свое тесное психологическое родство с ними. И позднее жизненная философия героев «Бесов» и их идейные блуждания вызвали пристальное сочувственное внимание всей буржуазной интеллигентной «богемы» XX в.

#### 4

Один из распространенных тезисов западных литературоведов — отрицание реалистической природы творчества Достоевского. Достоевский шел к сюжетам и образам своих романов не от жизни, а от прочитанных им книг, утверждает американский литературовед В. Террас. Эта общая особенность творческого метода русского романиста проявилась, по его словам, уже в ранние годы: в «Бедных людях» молодой Достоевский отталкивался от традиционной схемы сентиментальной повести, а в «Двойнике» своеобразно переосмыслил романтические литературные образы и клише. И в дальнейшем для творческого воображения Достоевского, в отличие от других русских писателей его времени, исходной точкой служили книги его предшественников, а не реальная русская общественная жизнь. Обосновывая свой тезис, В. Террас опирается на утверждение А. Мальро, выдвинутое в книге «Воображаемый музей», о том, что подлинное искусство не имеет ничего общего с жизнью и что представление об искусстве как отражении действительности — иллюзия.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Terras V. The young Dostoevsky (1846—1849). A critical study. The Hague—Paris, 1969, p. 167, 277 и др. См. о книге В. Терраса подробную мою статью: Фридлиндер Г. М. Наука о Достоевском сегодня. — Русская литература, 1971, № 3, с. 21—22.

Подчеркивая особую роль сюжетов и образов предшествующей литературы для творческого воображения Достоевского, В. Террас ссылается на работы А. Л. Бема, В. В. Виноградова, Л. П. Гроссмана и других исследователей, дореволюционных и советских. Однако он совершенно ошибочно интерпретирует смысл их наблюдений.

Как не раз писал Достоевский и в молодые годы и позднее, исходной точкой его художественных наблюдений и философских размышлений всегда оставались «текущая действительность», социальные, психологические и нравственные конфликты русской и всей европейской жизни его эпохи. Именно упрек в неумении видеть реальные факты жизни, понять их сокровенный смысл, их значение для литературы Достоевский адресовал своим современникам. И не случайно Достоевский явился в конце своей жизни создателем такого своеобразного, синтетического художественно-публицистического жанра, каким явился «Дневник писателя»: его творчество с самого начала было своеобразным социальным, нравственным, художественно-психологическим анализом «текущей действительности» и ее проблем. Отсюда его постоянное внимание к газете как к неисчерпаемому кладезю обиденного вниманием литературы, «сырого» жизненного материала.

Другими словами, Достоевский — независимо от того, нравится это или не нравится его западным почитателям, — был и навсегда остался в своем творчестве великим реалистом. Его творчество служит одним из наиболее совершенных достижений русского классического реализма XIX в. Любая попытка отрицать эту неоспоримую истину не может и не сможет никогда приобрести хотя бы видимости научной убедительности.

Вопрос состоит не в том, принадлежат ли романы Достоевского к шедеврам мирового реалистического искусства (это бесспорно), а в другом, ибо реалистическое искусство, как все на свете, подвержено развитию. И для Пушкина, и для Достоевского, и для Толстого исходным моментом художественного творчества служила объективная действительность, ее реальные формы. И однако произведения каждого из этих великих русских писателей-реалистов обладают своими особыми, индивидуальными, исторически неповторимыми чертами. Верно понять эти особые черты, охарактеризовать индивидуальное своеобразие великого писателя-реалиста, его вклад в историю русского и мирового реалистического искусства слова — такова важнейшая задача научного изучения Достоевского.

Да, Достоевский обладал особой, исключительной, поистине «гениальной», по определению одного из своих исследователей,<sup>7</sup> чуткостью по отношению к ситуациям и образам предшествующей русской и мировой литературы. Но это отнюдь не означает, что к своим художественным шедеврам он шел не от жизни, а от

---

<sup>7</sup> См.: Бем А. Л. Достоевский — гениальный читатель. — В кн.: О Достоевском, сб. II. Прага, 1933, с. 7—24.

книг, как полагает В. Террас. Дело совсем в другом: в гениальной интуиции Достоевского — художника и мыслителя, в его способности охватить мыслью «текущее», «сиюминутное» и более общее, непреходящее, уловить связь между сегодняшним днем жизни человечества и всеми предшествующими веками его истории.

Достоевский был в высшей степени русский писатель. Его мысль и его творчество были неразрывно спаяны с родной страной, ее людьми, их сложными индивидуальными и общими историческими судьбами. И вместе с тем русский народ и русская культура, их прошлое, настоящее и будущее неизменно представляли перед мысленным взором Достоевского в их взаимосвязи с прошлым, настоящим и будущим вселенной, мира и человечества.

Синтетичность художественного мышления Достоевского получила яркое выражение в присутствии ему понимании исторических судеб русской литературы. Все русские писатели от Пушкина до Толстого в его понимании, как он заявил в речи о Пушкине, — единый живой и подвижный океан, единая историческая цепь, связанная сквозной линией творческой преемственности.

В этом смысле Пушкин оставался для Достоевского общим учителем всех последующих русских писателей, как бы велико ни было различие их общественных и эстетических идеалов и творческих индивидуальностей. Поэтому, признавая себя учеником Пушкина, Достоевский не был склонен умалять значение для русской литературы в целом (как и для своего личного писательского развития) творчества Лермонтова и Гоголя, а полемически противопоставляя себя Толстому, он продолжал считать Толстого, так же как Тургенева, Гончарова, Некрасова, Щедрина, Островского и других крупнейших русских писателей своего времени, при всех его идеологических и художественских расхождениях с ними, представителями одной и той же школы русского национального реалистического искусства, основоположником которой был Пушкин.

В известном смысле можно сказать, что творчество Достоевского впитало в себя всю мировую литературу. Оно уходит своими глубочайшими корнями и в русскую культуру прошлого, начиная с древней литературы и фольклора, и в культуру мировую, начиная с греческой и римской древности. И в то же время оно тесно связано со всей современной ему культурой, философией, литературой и искусством. Писатели всех стран и веков были его литературными собеседниками. Ибо он понимал, что это были не просто люди, писавшие книги, но люди, отразившие великую драму человеческой истории, ту драму, последующие акты которой продолжали разыгрываться на его глазах. Поэтому Достоевский относился к творчеству писателей и прошлых веков, и своего времени страстно-заинтересованно. Достоевский умел воспринимать созданные ими образы, умел видеть смысл их творения в широкой всемирно-исторической перспективе. Так, любимая им



картина Клода Лоррена из Дрезденской галереи «Асиз и Галатя», которую он истолковал как изображение «золотого века», была для него не обычным идеализированным ландшафтом в духе классицизма, а тесно связывалась в его сознании с вопросами о прошлом и будущем человечества, — тем искомым его гармоническим будущим, к которому оно движется сложным путем в своем историческом развитии. И такой же глубокий всемирно-исторический смысл обретали в его понимании «Божественная комедия» Данте или образ Дон-Кихота. Алексей божий человек или Мария Египетская, так же как Клеопатра или Наполеон, оказывались для писателя символами судеб и переживаний людей его эпохи, с их муками, борениями и исканиями. И так же он смотрел на Книгу Иова или на Евангелие, в которых видел отражение борений и духовных исканий человека не только прошлых, но и своей эпохи. Даже в маленьком стихотворении Фета Достоевский стремился раскрыть выражение глубокой тоски человечества по идеалу, его стремления к будущей гармонии. Вот почему у Достоевского так много цитат и упоминаний «вечных образов»: с точки зрения романиста, поэты и мыслители все время были его союзниками в борьбе за овладение истиной, в его стремлении глубоко проникнуть в смысл человеческой истории, нащупать в ней путь движения к будущему. Все это делает творчество Достоевского особенно значительным, глубоким и масштабным для нас сегодня. Он умел увидеть в мировой литературе ее глубочайшую современность, смог эту современность творчески прочувствовать и пережить. И сам он, изображая самую текущую, злободневную современность, умел поднять ее до высот трагедии. Как равный с равным Достоевский вступил в состязание с Шекспиром.

Сопрягая в своем творчестве сегодняшний и вчерашний день человечества, заставляя Раскольникова размышлять о Магомете и Наполеоне, проводя параллель между героями «Братьев Карамазовых» и персонажами шиллеровских «Разбойников», Достоевский достигал той художественности, масштабности и напряженности, которая отличает его искусство от искусства реалистов иного, более спокойного, «эпического» склада. Но и в этих и других аналогичных случаях обращение к образам и ситуациям предшествующей литературы отнюдь не вело к ослаблению связи образов русского романиста с реальной жизнью. Авторы и книги, которые привлекали внимание Достоевского, не уводили его от жизни, — самый интерес его к этим авторам и книгам был рожден ею. Те историко-культурные и литературно-художественные ассоциации, которыми переполнены романы Достоевского, расширяют реальную — социально-историческую и психологическую — емкость его образов, пронизывают их бесконечными ответами «живой жизни», а отнюдь не выдают их литературное, книжное происхождение, как полагают В. Террас и его единомышленники.

Как на другой — наряду с книгой В. Терраса — яркий пример той сознательной и очевидной тенденциозности, какой проник-

нуты попытки современных, модернистски настроенных ученых и писателей Запада «присвоить» себе Достоевского, оторвав его творчество от развития реалистического искусства, можно указать на известное эссе французской писательницы Н. Саррот «От Достоевского до Кафки», вошедшее в ее книгу «Эра недоверия».<sup>8</sup> Представительнице течения так называемого «нового романа» Н. Саррот, как и многим другим писателям-модернистам, хотелось бы объявить Достоевского одним из тех, кто внес свой вклад в подготовку этого течения.

Достоевский-художник был одним из самых сильных в мировой литературе обличителей индивидуализма. Но он был и одним из величайших поэтов человеческой личности. Раздвоение человека, его «обособление» от общества, низведение человеческого существа, одаренного сознанием и волей, до роли грязной «веточки» или управляемой чужой рукой, фортепьянной «клавиши» — это, по Достоевскому, самое страшное зло эпохи цивилизации, зло, с которым человек не может и не должен примириться. Н. Саррот же, А. Роб-Грийе и другие представители «нового романа» призывают современного романиста не только признать «ликвидацию» человеческой личности непреложным законом истории, но именно из нее извлечь новые, неизвестные литературе XIX в. эстетические эффекты. Они видят в освобождении современного буржуазного человека от «закона личности», в распадении его жизни на ряд смутных, зыбких, иррациональных психологических «состояний» источник обогащения палитры художника наших дней.

Любимый герой Н. Саррот, А. Роб-Грийе и других представителей «нового романа» — человек, который низведен обществом до роли «пассивного приемника ощущений, впечатлений, реминисценций».<sup>9</sup> Лишенный нравственного и психологического центра, герой подобного душевного склада, в сущности, не только не сознает себя, но и реально уже не может быть назван личностью: он распадается на ряд смутных, иррациональных психологических состояний, связь между которыми неясна ни для него самого, ни для автора, в то время как для Достоевского потеря героем личности хотя и представляла собой реальную опасность, но вместе с тем была величайшей жизненной трагедией, против которой он предостерегал своих современников и потомков.

Приведенные нами примеры ложного истолкования творчества Достоевского и его традиций еще раз напоминают о том, что наследие писателя и сегодня, как это было всегда, находится

---

<sup>8</sup> Sarraute N. L'ère de soupçon. Essais. Paris, 1956. Ср. об истолковании творчества Достоевского Н. Саррот: Вегнер М. Литературный модернизм и творчество Достоевского. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 2. Л., 1976, с. 230—234.

<sup>9</sup> Удачное определение П. М. Бицилли. См.: Бицилли П. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского. — Годичник на Софийския университет. Историко-филологически факултет, 1945—1946, т. 42, с. 63.

в центре острой идеологической борьбы. Едва ли не каждое из философских и литературно-эстетических течений, возникших после смерти великого романиста в предреволюционной России, а позднее также на Западе, испытывало соблазн «присвоить» Достоевского себе или хотя бы представить его в качестве своего исторического предтечи. В многочисленных монографиях и статьях конца XIX—начала XX в. Достоевский изображался как писатель-натуралист или предшественник символизма. Позднее великого русского писателя не раз рисовали экспрессионистом, ницшеанцем до Ницше, христианским философом, фрейдистом, экзистенциалистом, предтечей литературы «абсурда». Потомки Петра Верховенского и Шигалева на Западе охотно используют наследие Достоевского в наше время для борьбы с коммунизмом, а современные либеральные профессора, «торгующие гуманностью» (если воспользоваться выражением Достоевского), хотели бы представить его в качестве представителя того сладкого гуманизма, который больше всего на свете ненавидит подлинную свободу. Успешно бороться со всеми этими тенденциозными, ложными, внеисторическими интерпретациями творчества Достоевского, со стремлением истолковать наследие великого русского писателя в грязных целях современного антикоммунизма—одна из важных задач литературы, критики, публицистики, филологической науки в СССР и других социалистических странах.

Ленин писал в 1923 г., что значение наследия социалистов-утопистов для трудящихся в условиях строительства социализма, после завоевания государственной власти пролетариатом, изменилось по сравнению с периодом до Октябрьской революции, когда коренным вопросом политической борьбы рабочего класса был вопрос о свержении господства эксплуататоров, — вопрос, «коренного значения» которого не признавали утописты.<sup>10</sup>

Это замечание Ленина нельзя не учитывать сегодня, при оценке Толстого и Достоевского — великих русских писателей, которые дали в своих произведениях глубокую критику собственного мира и вместе с тем, подобно другим утопистам, отвергали политическую борьбу и насильственные, революционные методы завоевания власти трудящимися.

Достоевский полагал, что гармонической и справедливой общественной жизни русский народ и человечество смогут достигнуть мирным путем, в результате моральной перестройки каждой отдельной личности. История человечества развеяла и перечеркнула эту реакционную утопию. Но многие из выдвинутых в произведениях Достоевского, как и Толстого, моральных проблем — глубокие размышления обоих писателей над значением в жизни общества морального примера, нравственной чистоты и ответственности личности, ее спаянности с народом — приобретают новое, более глубокое, чем раньше, значение как раз в условиях сегод-

<sup>10</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 369.

нятного дня. Ибо в обстановке победившего социализма коренным образом изменилось, выросло по сравнению с прошлым значение в жизни общества именно нравственного, морального фактора.

Марксизм иначе, чем Достоевский, смотрит на пути созидания общества, в котором свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. К. Маркс и В. И. Ленин впервые в истории человечества указали научно проверенные, истинные пути, которые ведут к практическому построению этого общества. Но и в наши дни всем советским людям, сплоченным могучими чувствами интернационализма и братства народов, остаются близки свойственные творчеству Достоевского атмосфера высокой нравственной требовательности, глубокой совестливости, постоянного вдохновенного горения ума и сердца, отрицание бездуховности, эгоизма и жестокости в отношениях между людьми, горячая любовь писателя к России и русскому народу, вера в его великое историческое будущее, соединенные с искренней и глубокой озабоченностью судьбой всех народов мира, уверенность в том, что люди, живущие на земле, неразрывно спаяны между собой и ни один человек не может быть счастлив, пока где бы то ни было в мире существуют боль и страдания. Эти идеи великого русского писателя дороги и близки советским людям, как и всему передовому человечеству. Они сообщают наследнику Достоевского историческое бессмертие, способность трогать сердца людей всего мира, будить ум и совесть не только современного, но и будущих поколений.

Достоевский был прав, утверждая, что для каждой честной, мыслящей личности, жаждущей социальной справедливости, нет и не может быть иной исторической программы действия, кроме пути духовного воссоединения с широкими массами, с народом. Но, как поняли Маркс и Ленин, воссоединение это может реально осуществиться без ущерба и для интеллигенции, и для трудящихся масс лишь в процессе их совместного участия в борьбе рабочего класса против власти капитала, в практической работе построения и развития социалистического общества и социалистической культуры.

26 декабря 1918 г., в год окончания первой мировой войны, один из самых выдающихся писателей нашего века Томас Манн записал в своем недавно опубликованном дневнике: «Что эта война будет означать конец буржуазного общества, предвидел Достоевский. По-видимому, все зависит от того, сможет ли пролетариат выдвинуть людей, которым удастся добиться стабилизации нового общественного порядка. Если они не найдутся, возможна самая ожесточенная реакция».<sup>11</sup>

В словах этих соединены многие из тех главных вопросов, над которыми Достоевский побуждал размышлять своих преемников — великих писателей XX в. и над которыми он постоянно по-

---

<sup>11</sup> Mann T. Tagebücher 1918—1921 Frankfurt a. M., 1979, S. 116.

буждает думать нас сегодня. Конец буржуазного общества, социализм как та единственная историческая реальность, которая способна положить конец войне, предотвратить новые разрушения культурных ценностей, создать прочные гарантии для дальнейшего творческого развития материальной и духовной культуры всего человечества. И глубокое осознание того, что если силы капитализма, порождающего насилие, классовое угнетение и жестокость, не будут побеждены, то возможна самая ожесточенная реакция.

Томас Манн был прав: Достоевский предвидел конец буржуазного общества как глубочайшую историческую неизбежность для человечества, как единственную гарантию его мирного и гармонического развития. И в этом состоит немалая историческая заслуга великого русского романиста. Достоевский в своем художественном творчестве, в своих статьях и в речи о Пушкине поставил эти вопросы на обсуждение перед мыслящими своими современниками и потомством. И сегодня человечество своей жизнью и работой решает труднейшую, но и величайшую задачу построения того нового общества «мировой гармонии» и братства людей, о котором мечтал и к осуществлению которого призывал великий русский писатель, хотя он и не обладал знанием тех реальных путей, которые вели и которые только и могли привести к его созданию.

## 5

С первых лет существования Советского государства деятели нашей культуры, руководствуясь ленинским учением о культурном наследстве, уделяли творчеству Достоевского серьезное внимание. В принятом в 1918 г. по указанию В. И. Ленина постановлении Совета Народных Комиссаров о сооружении в Москве и других городах РСФСР памятников видным революционерам и выдающимся деятелям русской культуры имя Достоевского стоит на втором месте (после имени Толстого), в ряду писателей, имена которых, учитывая их заслуги перед русской культурой, Советское правительство считало необходимым навсегда увековечить в народной памяти. В 1921 г. в Москве и Петрограде было широко отмечено столетие со дня рождения Достоевского. В то время как Н. А. Бердяев и другие деятели эмиграции в 1920-е годы доказывали, что творчество Достоевского (и в частности, роман «Бесы») враждебно русской революции, А. В. Луначарский в своих докладах и статьях о Достоевском стремился показать, что при всех противоречиях писателя он никогда не мог заставить себя до конца согнуться, заглушить в себе голос обличителя, бунтаря против социальной неправды.

Наши идеологические противники часто упрекают советскую литературу и советскую науку в том, что истолкование и оценка творчества Достоевского не оставались у нас неизменными, существенно эволюционировали в ходе истории советского общества. На деле в этом нет ничего удивительного. Ибо каждый шаг впе-

ред исторического развития человечества по-новому освещает значение классических ценностей старой культуры, обогащает их понимание современным человеком, раскрывает в созданных в прошлом культурных ценностях новые важные аспекты. Это всецело относится и к вопросу о научном понимании творчества Достоевского и значении его для современности.

Развитие советской науки показало, что любые попытки истолковать творчество Достоевского в духе отвлеченной, внеисторической философской антропологии, абстрактного гуманизма несостоятельны в наши дни, как несостоятельны и попытки перевести его творчество на туманный язык мифологии XX в. Независимо от того, изображается ли при этом великий русский писатель в образе певца современных апокалиптических настроений, пророка хаоса и разрушения, или борца за отвлеченную, метафизическую свободу духа, подобные толкования одинаково уводят в сторону от ясной и простой истины ленинизма, закрывают путь к живому, исторически конкретному пониманию творчества великого русского писателя, и при том не только свойственных ему исторических противоречий, но и того громадного заряда положительной духовной энергии, который оно содержит для человека сегодняшнего дня. Способствовать дальнейшему, еще более глубокому и объективному освещению реального исторического места Достоевского в истории русской и мировой культуры, раскрытию непреходящей ценности его наследия, всего того ценного, что оно в себе содержит и что делает это наследие живым и необходимым для участника современной борьбы за мир, за демократию и социализм, так же как трезвый критический анализ противоречий Достоевского, вопросов современной идейно-художественной борьбы вокруг оценки и восприятия наследия великого русского писателя — важнейшая, ответственная задача советской литературы и литературной науки.

Б. И. БУРСОВ

## К СПОРАМ О ДОСТОЕВСКОМ

Советская наука о Достоевском имеет ряд достижений. Но в ней, к сожалению, на мой взгляд, зачастую мало споров, творческих дискуссий. Подчас учеными, особенно молодыми, варьируются, в сущности, одни и те же положения, прежде всего такие: Достоевский принадлежит «большому времени», творчество Достоевского представляет собой совершенно новый этап в развитии всемирной литературы после Данте и Рабле, будто между ними и им был какой-то застой в мировом литературном процессе. Откровенно скажу: эти утверждения меня несколько озадачивают, пожалуй, даже настораживают. Я постараюсь высказать свою точку зрения.

Начну с понятия о «большом времени». Что оно означает? И зачем требуется нам? Ведь сколько существует искусство, столько пишут о неувядаемости художественных шедевров. Разве не писали об этом Маркс и Энгельс, в частности когда касались проблем древнегреческого искусства? Разве не присутствует сходная мысль в статье Гете «Шекспир и несть ему конца»? Разве не приходят на память нам изумительные, проникающие в душу слова Пушкина о вечной молодости поэзии в сравнении с великими научными открытиями? Можно было бы без труда назвать десятки работ о «жизни в веках» Гомера или Данте, Шекспира или Сервантеса.

Я задаю вопрос: чем же хуже «века» или «столетия» так называемого «большого времени»? Кому и зачем потребовалось оно? Какие бы там ни были намерения его авторов, на деле получилось, что они прибегают к произвольному размежеванию гениев на немногих избранных и остальную массу неизбранных. Среди великих русских писателей к «большому времени» отнесен один лишь Достоевский, а вот Пушкин, Гоголь и Лев Толстой не удостоены этой чести. Предпочтение, оказанное Достоевскому, в действительности наносит ущерб толкованию его творчества, так как отрывает его от русской национальной традиции. Воображаю, как бы отнесся он к своим толкователям, произведшим над ним такую вивисекцию.

Понятие о «большом времени» ввел у нас наш ныне знаменитый литературовед М. М. Бахтин. Разделяя общее мнение о его выдающемся таланте и редчайшей эрудиции, я не раз выражал несогласие с некоторыми его теоретическими построениями,

в особенности с тезисом о полифоничности романов Достоевского. Я убеждал, что полифоничен вообще всякий реалистический роман, но на свой лад. Другое дело, что Бахтин дал блистательный анализ поэтики романов Достоевского. В этом и заключается огромная ценность его книги о Достоевском. Она была четырежды издана у нас; лично я предпочитаю первое издание, когда книга называлась «Проблемы творчества Достоевского».

Оговорюсь: я здесь спорю не с Бахтиным, а с его адептами, упростившими и огрубившими сложные ходы мысли своего мэтра. Я даже скажу, что они допускают некоторую неразборчивость в средствах во имя доказательства справедливости своих весьма спорных концепций.

Полифонизм, примененный к одному только Достоевскому, сказал я, отрывает Достоевского от русской национальной традиции. Добавляю: более того, Достоевский оказывается противопоставленным ей. В результате бросается на нее какая-то тень, как на недостаточно полноценную, поскольку она не овладела «моделью мира», выработанной Достоевским. Между тем с каким уважением писал Достоевский о своих великих современниках, которых считал, как и самого себя, принадлежащими к племени наследников и продолжателей Пушкина!

Бахтин не заявлял по крайней мере, что поскольку Достоевский числится по штату «большого времени», выходящему за всякие национальные рамки, то и не содержит в себе каких-либо специфических признаков русского национального писателя. Нынешние его адепты покушаются вообще на отрицание национального своеобразия всякой национальной литературы, в том числе, разумеется, русской.

Кто из нас не помнит знаменитого изречения, принадлежащего, уж не знаю, какому «большому времени»: *все мы расточаем достояние отцов наших*. Но вот что странно: сколько бы ни расточали, оно существует, что называется, как ни крути. Страдают только расточители от своего расточительства, обедняя себя.

Пушкин возмущался, когда Ломоносова называли русским Бэконом, он говорил: не достаточно ли того, что он есть русский Ломоносов. Можно представить, как его коробило, когда его самого называли северным Байроном. Рассуждая о Пушкине как о поэте, не имеющем себе равного в мировой литературе, Гоголь говорил о нем как о чрезвычайном явлении русского духа. Для Достоевского Пушкин, как воплощение всемирности и всечеловечности, предстает перед нами носителем именно «русской мысли». Толстой, имея в виду всех русских романистов, от Пушкина и Гоголя до Достоевского и самого себя, утверждал, что они не умеют писать романов в том смысле, как понимают этот род сочинений на Западе. И это он утверждал не где-либо, а в предисловии к «Войне и миру», величайшему роману во всей всемирной литературе. Иначе сказать, Толстой решительно настаивал на принципиальном отличии русского романа от западноевропейского, возводя это отличие к глубочайшему своеобразию рус-



ской мысли. Лишь как таковая она представляет собою вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры.

У нас весьма популярна тема о мировом значении русской литературы. Взять хотя бы книги Т. Л. Мотылевой «О мировом значении Толстого» и Г. М. Фридендера «Достоевский и мировая литература». Запад, разумеется, интересуется нашими толкованиями всемирного значения русской литературы. Но у него на этот счет своя точка зрения. Я в этом особенно убедился, беседуя о Достоевском с Джоном Чивером и Альберто Моравиа. Очень запомнился мне разговор с Моравиа. Для него Достоевский — преимущественно общечеловеческий, а Толстой — главным образом русский национальный писатель. Я же утверждал и утверждаю, что общечеловеческое значение того и другого определяется тем, насколько глубоко и своеобразно в творчестве каждого поставлены русские национальные проблемы.

Поучительна полемика по некоторым проблемам между нами и западными исследователями русской литературы на международном симпозиуме, посвященном 150-летию со дня рождения Толстого, проходившем в Венеции в сентябре 1978 г. Нам говорили: если Толстой — зеркало русской революции, то и Достоевский тоже, потому что оба они, дескать, гениально изображали одну и ту же эпоху, уловили в ней признаки назревавшего революционного переворота. Наши западные коллеги упускали из виду, что, говоря о Толстом как зеркале русской революции, Ленин имел в виду крестьянскую революцию, которая была призвана разрешить крестьянский вопрос. Толстой сам называл себя адвокатом 100-миллионного русского крестьянства. Для Достоевского же крестьянская проблема отнюдь не была главной.

Каждый гениальный писатель гениален на свой лад. Следовательно, для каждого из них должна быть своя мера. Для Толстого одна, для Достоевского другая.

А как отличаются герои одного из них от героев другого: Раскольников от Андрея Болконского или Пьера Безухова, Версиков от Левина! Герой Толстого говорит: я виноват перед всем миром и потому считаю необходимым заниматься самосовершенствованием. Это понятно: как помещик, он осознает свою вину перед крестьянством, а тем самым и перед всем миром. Герой Достоевского, напротив, считает, что весь мир виноват перед ним, сломав его судьбу, сделал его несчастным. Помните того же Раскольникова или Аркадия Долгорукого («Подросток»). Он жаждет не самосовершенствования, а самоутверждения. Достоевский сам сформулировал, в чем, по его мнению, его главное художественное открытие: он открыл «подпольного человека». Не принимая во внимание этой самооценки Достоевского, забывая о ней, даже отодвигая ее в сторону, нам не разобраться в национальном и общечеловеческом значении его творчества. Что же такое «подпольный человек»? Он загнан в угол. На весь мир смотрит из своего угла. В мире ему видится прежде всего враждебность по отношению к человеку. Если так, то вина за это не на

ком-либо другом, а на самом же человеке, на людях вообще. Герой «Записок из подполья» винит всех других за то, что они мешают ему делать добро. Потому вместо добра он делает зло. Вот откуда вообще у героев Достоевского тяга к злу, и они тем больше к нему тянутся, чем больше мечтают о добре, о «золотом веке». Отсюда ход к реализму Достоевского, по его собственному определению, одновременно и «фантастическому» и «в высшем смысле». Я бы назвал его еще полемическим реализмом. Толстой утверждал искомые истины прямо и непосредственно, потому что в каждый период своего развития у него была своя собственная программа, в которую он беспредельно верил, хотя бы только в течение этого периода. Достоевский столько же верил в то, к чему стремился, сколько и сомневался в этом, а по этой причине находился в постоянном споре с самим собой, но, разумеется, в неизмеримо большей степени со всеми другими — с Тургеневым, с Чернышевским, да и с Толстым, которого ставил выше всех из своих современников.

Одна из решающих отличительных черт Достоевского, таким образом, — непрестанная борьба между верой в человека и мир и сомнением в человеке и мире. Отсюда — размах творчества Достоевского, постановка им проблем столь мучительных для него, для всех нас, не только русских, а людей всей нашей земли, на материале всемирной истории, с неизменным отправлением от современного ему состояния русской действительности.

Каждый из наших великих писателей является русским из русских. Только потому и только в этом повороте и общечеловеческим. Так пишет Достоевский о Пушкине, так же — и о Толстом. Замечателен его анализ «Анны Карениной». Он гордо заявляет, что в европейских литературах нет ничего равного этому толстовскому роману. Пожалуй, главным достоинством его он считает подход Толстого к общественно-историческому процессу с нравственной точки зрения. Пишет о Толстом как принадлежащем «плеяде» наследников Пушкина, о том, что Толстой сказал больше всего своего после Пушкина.

В Пушкине Достоевский особенно дорожил идеей всечеловечности и всемирности, проникающей его творчество, способностью Пушкина, как он говорил, ко «всеотклику». Это же есть в самом Достоевском. Но идея всемирности и всечеловечности, пронзающая все романы Достоевского, уже другого качества. Она полна беспокойства, тревоги за дальнейшие судьбы мира. Достоевский более склонен представлять человечество и человека в неприглядном и неблагообразном виде. В его романах звучит и нота отчаяния, совершенно чуждая Пушкину. Потому Достоевскому так необходим был Пушкин. Но, с другой стороны, потому Достоевский так и созвучен современному миру.

Выходит, чтобы правильно понять Достоевского как этап в национальном и всемирном литературном развитии, надо отнести его и с его предшественниками, прежде всего с Пушкиным и Гоголем, и с его современниками, т. е. с Толстым, Тургене-

вым, Чернышевским и так далее. Иначе будет перекосяк. Пушкин и после Достоевского остался недосыгаемым художественным образцом, а Толстой и рядом с Достоевским внес не меньший, чем он, вклад в художественное развитие человечества.

Мы говорим о мировом значении Достоевского, как и всякого другого великого нашего писателя, учитывая всю сложность его положения прежде всего в рамках национального литературного процесса, а потом уже и всемирного. Это необходимо для всесторонней и объективной оценки его литературного наследия. Убежден, в подобных случаях решающее слово за нами. Но, поскольку великий национальный писатель делает достоянием всей человеческой культуры, другие народы также приобретают право выносить свои суждения о нем. Они, как правило, в чем-то неизменно будут расходиться с нашими. И в двух смыслах. Во-первых, так как Достоевский и Толстой стали общечеловеческими писателями, оказывающими влияние на литературы разных народов, то эти народы, не обладая нашей полнотой знания их и проникновения в них, тем не менее откроют в каждом нечто такое, что не было уловлено и замечено нами. С другой стороны, подходя к этим писателям под углом зрения развития своих собственных национальных культур, зарубежные исследователи могут навязывать неприсущие им свойства, ставить на место главного менее существенное и т. д. Например, не раз писалось об одностороннем понимании Андре Жидом Достоевского. По-моему, есть односторонность и в суждениях Томаса Манна о Толстом или Достоевском.

Мы и сами по-разному пишем о Достоевском. Спорим, порой ожесточенно, друг с другом. Я не вижу в этом ничего плохого. Но как бы мы ни расходились в понимании Достоевского, он для всех нас — колоссальное явление прежде всего нашей национальной культуры, несущее в себе решающие признаки исканий национального духа.

Восприятие за рубежом русской литературы, как входящей составной частью в мировую литературу, не является адекватным нашему. О том же Достоевском зарубежные исследователи пишут преимущественно, а то и только как о литературном явлении. Для них он лишь в малой степени заземлен в русской национальной почве. Их интересует в первую очередь поэтика Достоевского как таковая, а структура духовного содержания его романов ставится от нее в зависимость. Что же касается современной литературы западных народов, она тянется к Достоевскому нередко более, чем к какому-либо другому великому писателю прошлого, но все-таки часто видит в нем поэта распада, искривления, извращения человеческого ума и души. Об этом говорит с достаточной убедительностью и наглядностью уже и опыт Томаса Манна, а ведь Томас Манн сам великий писатель. Однако уже тронутый декадансом. Это можно найти также у Стейнбека, у Грэхема Грина, даже, по-моему, и у Апдайка.

Но, возможно, я вторгаюсь в чужой огород, а потому ставлю точку.

П. В. БЕКЕДИН

## ШОЛОХОВ И ДОСТОЕВСКИЙ

(О преемственности гуманистического пафоса)

Влияние Достоевского на русскую и мировую культуру так велико и имеет столь разнообразные формы, что его, в сущности, невозможно предсказать и предвидеть. Всякий раз оно появляется в новом для себя и для литературы обличье и именно там, где его меньше всего ожидают.

Творчество двух соотечественников — Достоевского и Шолохова никогда не сопоставлялось и не соотносилось. И это понятно: художественные миры этих прозаиков внешне (а во многом и внутренне) не похожи друг на друга. К тому же в своих выступлениях по различным вопросам литературы и эстетики советский писатель как-то миновал Достоевского и его произведения. Вот почему в работах, рассматривающих влияние великого реалиста XIX в. на развитие русской литературы послеоктябрьского периода (они, кстати, пока единичны), имя автора «Тихого Дона» не упоминается.<sup>1</sup> Главным преемником Достоевского принято считать Л. М. Леонова, и это в общем справедливо.<sup>2</sup>

Совершенно ясно, однако, что проблема «Достоевский и советская литература» широка, многогранна и не сводится к вопросу «Достоевский и Леонов», который изучается наиболее интенсивно и успешно. Л. М. Леонов, М. А. Шолохов, А. Н. Толстой, М. Горький, К. А. Федин, М. А. Булгаков, А. П. Платонов, А. Г. Малышкин, В. М. Шукшин, Ю. В. Бондарев, В. Г. Распутин, С. П. Залыгин, В. П. Астафьев — вот далеко не полный перечень имен тех русских писателей, в творчестве которых по-своему преломляются традиции Ф. М. Достоевского.

Самое развернутое и, пожалуй, самое ценное суждение на тему «Достоевский и Шолохов» принадлежит не критику, а писателю — выдающемуся литовскому прозаику Й. К. Авижюсу.

---

<sup>1</sup> См.: Старикова Е. В. Достоевский и советская литература (к постановке вопроса). — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. Сборник статей. М., 1972, с. 603—677; Кашина Н. В. Наследие Ф. М. Достоевского и советская литература. — В кн.: Русская литература XX в. Советская литература. М., 1972, с. 48—62; Сердюченко В. Надежность традиции. — Новый мир, 1980, № 9, с. 237—244.

<sup>2</sup> См. исследования В. А. Ковалева, Н. А. Грозновой и других леонковедов.

Однако в интересных наблюдениях современного художника главный упор сделан не на то, что роднит Шолохова с Достоевским, а на то, что их отличает.<sup>3</sup> В нашей же статье основное внимание будет обращено на то, что сближает создателей «Братьев Карамазовых» и «Тихого Дона» (это не столь явственно и бесспорно).

Первая попытка привлечь внимание литературоведов к проблеме «Достоевский и Шолохов» была предпринята нами.<sup>4</sup> Цель настоящей статьи — установить несколько новых параллелей между художественными мирами Достоевского и Шолохова, между двумя различными творческими индивидуальностями, между разными типами реалистического искусства.

## 1

«Суровый», «бесстрашный», «неистовый», «строгий», «беспощадный» — этими эпитетами обычно определяют самое характерное в реализме Шолохова, кое-кто не прочь назвать талант великого советского писателя-гуманиста «свирепым» или «жестоким» (последнее особенно распространено на Западе).

В своих воспоминаниях об А. С. Серафимовиче Р. И. Хигерович так передает первое впечатление автора «Железного потока» от шолоховских «Донских рассказов»: «Бросилась в глаза страшная своей спокойной лаконичностью фраза... Подумал: „Жестокый писатель“».<sup>5</sup> Однако ощущение от первоначального знакомства с ранними произведениями «молодого орлика» было обманчивым и преходящим. Вскоре в своем знаменитом предисловии к «Донским рассказам» А. С. Серафимович напишет: «Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказывает. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбрать из многих признаков наиболее характернейшие».<sup>6</sup>

И все же тень «жестокости таланта» неутомимо преследовала Шолохова. О «жестокости» автора «Тихого Дона» неустанно говорили английские критики после выхода первых изданий эпопеи в Великобритании. В статье одного из них, озаглавленной «История неистовой жестокости казаков», например, утверждалось: «Если бы одно описание жестокостей могло бы сделать роман великим, то длинное повествование М. Шолохова о жизни казаков „Тихий Дон“ было бы шедевром из шедевров».<sup>7</sup> Отвечая на уп-

<sup>3</sup> Авижюс И. Урок Шолохова. — Дружба народов, 1975, № 4, с. 280—281. См. также в кн.: Мировое значение творчества Михаила Шолохова. Материалы и исследования. М., 1976, с. 117—118.

<sup>4</sup> См.: Бекедин П. В. Об одной жанровой особенности «Тихого Дона». — В кн.: Творчество Михаила Шолохова. Статьи, сообщения, библиография. Л., 1975, с. 114—124. См. также: Бекедин П. В. М. А. Шолохов и национальные традиции. (К проблеме жанра эпопеи в русской литературе). Автореф. канд. дис. Л., 1979, с. 21—24.

<sup>5</sup> Хигерович Р. Путь писателя. Повесть о Серафимовиче. Изд. 3-е, дополн. М., 1963, с. 271.

<sup>6</sup> См.: Шолохов М. Донские рассказы. М., 1926, с. 3.

<sup>7</sup> Цит. по: Прийма К. «Тихий Дон» сражается. Изд. 2-е, испр. и дополн. М., 1975, с. 188.

реки зарубежных рецензентов, Шолохов в обращении к английским читателям (1934) вынужден был специально остановиться на этом обильном для художника-гуманиста мнении: «... в отзывах английской прессы я часто слышу упрек в „жестокое“ показе действительности. Некоторые критики говорили и вообще о „жестокости русских нравов“. Что касается первого, то, принимая этот упрек, я думаю, что плох был бы тот писатель, который прикрашивал бы действительность в прямой ущерб правде и шадил бы чувствительность читателя из ложного желания приспособиться к нему. Книга моя не принадлежит к тому разряду книг, которые читают после обеда и единственная задача которых состоит в способствовании мирному пищеварению.

А жестокость русских нравов едва ли превосходит жестокость нравов любой другой нации... И не более ли жестоки и бесчеловечны были те культурные нации, которые в 1918—1920 годах посылали свои войска на мою измученную родину и пытались вооруженной рукой навязать свою волю русскому народу?»<sup>8</sup>

И по сей день буржуазная критика, нередко смыкающаяся с советологией, продолжает запугивать читающую публику «жестокостью», «свирепостью» и «неэстетичностью» шолоховского реализма. Сравнительно недавно американский профессор М. Клименко выпустил монографию о раннем творчестве советского писателя, имеющую весьма показательное название — «Мир молодого Шолохова. Зрелище жестокости». Ее автор тенденциозно истолковывает идейно-художественное своеобразие «Донских рассказов» и «Тихого Дона», находит в них «апокалипсическую картину» революционной действительности, разгул в шолоховских героях темной, слепой силы инстинкта, грубости и плотоядности.<sup>9</sup> Варьирование мысли о якобы прирожденном «жестокосердии» Шолохова, о будто бы свойственной ему чуть ли не упоительной приверженности ко всякого рода бесчеловечным ситуациям и коллизиям отчасти объясняется тем, что произведение писателя несут в себе большой заряд трагического. Но только — отчасти, ибо многочисленные суждения о «жестокоем таланте» Шолохова, встречающиеся в ряде работ современных зарубежных исследователей, вызваны чаще всего непониманием или неприятием сущности революционного гуманизма.

М. Горький заметил как-то: «... вы думаете, что единственное жизнеутверждающее чувство есть радость? Жизнеутверждающих чувств много: горе и преодоление горя, страдание и преодоление страдания, преодоление трагедии, преодоление смерти».<sup>10</sup> Каждым своим словом автор «Тихого Дона» отстаивает жизнь, справедливость, истину, человечность. Теплоту шолоховского сердца

<sup>8</sup> Шолохов М. Собр. соч. в 9-ти т., т. 8. М., 1969, с. 83—84 (далее ссылки на это издание даются в тексте: III, том, страница).

<sup>9</sup> Klimentko M. The World of Young Sholochow. Vision of Violence. North Quincy (Massachusetts), 1972, p. 63.

<sup>10</sup> См.: Луговской Вл. Поэзия — душа народа. — Литературная газета, 1957, № 55, 9 мая.

уже давно ощутили читатели всей планеты. Сборщик кузовов на заводе «Рено» в Париже Жак Мулье признавался на встрече с советскими писателями: «Ваш Михаил Шолохов очень суровый, беспощадный поэт, беспощаден, говорю, ибо он глубоко народен. Но он и очень нежный, если хотите, как цветок ландыша. Я читаю его прозу и не перестаю восхищаться его поэзией!». <sup>11</sup> Шолохов — великий гуманист, он имел полное право сказать о себе: «Я ценитель красоты и мужества». <sup>12</sup>

Тут напрашивается параллель между Достоевским и Шолоховым: Достоевский ведь тоже долгое время слыл «жестоким талантом». Пожалуй, первым об этом во всеуслышание заявил критик-народник второй половины XIX в. Н. К. Михайловский. Справедливо выступая против попыток реакционных кругов России присвоить себе Достоевского, Михайловский задался целью всевозможными средствами ослабить искусственно разжигаемый нездоровый интерес к личности писателя и его противоречивому художественному и публицистическому наследию, точнее, выбить почву из-под ног у тех, кто, по словам критика, изо всех сил хотел «раздуть значение талантливого художника до размеров духовного вождя своей страны». <sup>13</sup> Необходимо, однако, учитывать, что точка зрения Михайловского на творческую индивидуальность одного из гениальных представителей «совестливой русской литературы» (Томас Манн), помимо всего прочего, была концентрированным выражением его философских, социальных, политических и, наконец, эстетических взглядов и устремлений как видного идеолога народничества. Кроме того, она была полемична по отношению к мнению Н. А. Добролюбова о произведениях Достоевского 40-х—начала 60-х годов, что особенно обнаружилось в статье Михайловского «Жестокый талант» (1882).

«К тому страстному возвеличению страдания, которым кончил Достоевский, его влекли три причины: уважение к существующему общему порядку, жажда личной проповеди и жестокость таланта», <sup>14</sup> — полагает Михайловский в этой работе. Приблизительно к таким же выводам пришел критик и в другой своей статье — «О Писемском и Достоевском», которая была написана в феврале 1881 г., т. е. месяц спустя после смерти автора «Братьев Карамазовых». Правда, в ней пока отсутствовала полемика с Н. А. Добролюбовым по важнейшим проблемам творчества романиста.

Нет нужды оспаривать глубоко ошибочные, умозрительные суждения Михайловского о художественной индивидуальности

---

<sup>11</sup> Цит. по: Крученюк П. Слово о Шолохове. — Советская Молдавия, 1975, 6 июня. Симптоматично, что сборник шолоховских новелл, изданный в Нью-Йорке в 1967 г. (в него включены рассказы «Жеребенок», «Нахаленск» и «Судьба человека»), вышел под названием «Свирипы и везные войны».

<sup>12</sup> См.: Андриасов М. Вешенские были. М., 1975, с. 166.

<sup>13</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 5. СПб., 1897, стб. 3.

<sup>14</sup> Там же, стб. 4.

Достоевского, о направленности его дарования — время все поставило на свои места. Заметим лишь, что в своих взглядах на творчество великого русского прозаика автор статей «О Писемском и Достоевском» и «Жестокий талант» не был одинок. Так, например, Д. С. Мережковский находил в романе «Братья Карамазовы» преступную пытливость; отдельные его суждения о тех или иных сторонах мировоззрения и поэтики писателя перекликались с наблюдениями Михайловского.

Вернемся, однако, к Шолохову, чей талант некоторые критики также поспешили окрестить как «свирепый» и «жестокий». Выдвигаемые претензии к шолоховскому реализму очень напоминают упреки, адресованные когда-то автору «Братьев Карамазовых», почти дословно воскрешают их. Сошлемся еще на один типичный пример, содержащийся в фундаментальном исследовании К. И. Приймы «„Тихий Дон“ сражается»: «... в „Ежемесячном бюллетене“ к 43-му тому „Полного собрания мировой литературы“ издательства „Кавадэ сэбо синся“ за 1960 год критики Ара Масато и Сасаки Киити в статье „Отображение жестокостей“ тенденциозно утверждают, что Шолохов в „Тихом Доне“ и „Судьбе человека“ „питает особый интерес к жестокости“ и что „жестокость — это одна из черт славян“».<sup>15</sup> Таким образом, советский писатель провозглашается вторым после Достоевского «жестоким талантом» в отечественной литературе. Симптоматично, что история восприятия творчества Достоевского и Шолохова таит в себе немало созвучного, хотя в то же время и далеко не справедливого (в частности, отождествление предмета изображения, нередко страшного и ужасного, и авторского отношения к нему, продиктованного всегда человеколюбием и озабоченностью судьбами людей).

Действительно, в шолоховской трагической эпопее, как и в романах-трагедиях Достоевского, можно найти много жутких сцен и событий. Уже ее начальные страницы, где рассказывается о пленной турчанке и Прокофии Мелехове, об их чудной любви, изуверски оборванной разъяренными хуторянами, обжигают нас, настраивая на соответствующий лад. Нельзя без горечи и содрогания читать и те главы «Тихого Дона», в которых повествуется о фронтах первой мировой войны (см., например, описание одного из эпизодов кровавой бойни 1914—1918 гг.: Ш., т. 3, с. 32—33). Но разве можно делать заключение о присущей писателю перу хронической падкости на все, пахнущее кровью, о склонности его к разного рода натуралистическим зарисовкам и т. п.? Конечно же, нет. Ибо то, что понимается под «жестоким талантом» Шолохова, есть на самом деле неподкупная верность художника правде жизни, самоотверженное служение истине. То же самое следует сказать и о Достоевском.

Надуманность и убогость версии о будто бы свойственной автору «Тихого Дона» «жестокости» мировосприятия была рас-

<sup>15</sup> Прийма К. «Тихий Дон» сражается, с. 381.



крыта П. В. Палиевским в его во многих отношениях блистательной статье «Мировое значение М. Шолохова».<sup>16</sup> К сожалению, многочисленные оппоненты критика (шолоховеда Л. Г. Якименко, В. М. Пискунов и др.) не заметили ее специфического внутреннего задания. Но один из участников обсуждения книги Палиевского «Пути реализма. Литература и теория» (М., 1974), в которую вошел и указанный этюд о Шолохове, не случайно заметил: «Многие видят в этой статье утверждение разрыва между Шолоховым и русской классикой XIX века. Откровенно говоря, я вижу ее смысл в прямо противоположном: критик полемизирует с теми из зарубежных авторов, кто в оценке реализма Шолохова близок к позициям, на которых стоял в конце XIX века Михайловский, упрекавший Достоевского за его будто бы „жестокый талант“. В действительности, как подчеркивает П. Палиевский, пафос „Тихого Дона“ как произведения литературы социалистического реализма состоит отнюдь не в утверждении „жестокого“ подхода к человеку, а в реалистическом бесстрашии при исследовании жизни, не ослабляющем и не колеблющем гуманистической веры в человека. Именно она помогла автору „Тихого Дона“ (так же как в XIX веке Толстому и Достоевскому!), по утверждению П. Палиевского, „при полном реализме“ показать „в человеке человека“, сохранить — при всем сознании сложности и противоречивости путей к революции разных героев и при стремлении ничего не сглаживать и не упрощать в их трудной судьбе — и утвердить общую широкую перспективу повествования, которая соответствует „поэтической справедливости“ самой истории».<sup>17</sup>

Легенда о «жестокосердии» двух корифеев отечественной и мировой литературы, почти сызмала обремененных судьбами человечества и современной цивилизации, — не что иное, как заблуждение или вымысел. Как и его великий предшественник, советский эпик верен гуманистическим заветам русского искусства. Трагическое в произведениях Достоевского и Шолохова есть отражение трагического в жизни, никогда и нигде страшное и ужасное для них не было самоцелью.

## 2

Непримиримые противники сугубо индивидуалистических, эгоцентристских устремлений личности (независимо от того, какое социальное положение занимает она, независимо от того, на каком уровне интеллектуального развития она находится), Достоевский и Шолохов являются великими гуманистами, проповедниками добра и справедливости. Именно человеколюбие, которое всегда защи-

<sup>16</sup> Палиевский П. Мировое значение М. Шолохова. — Наш современник, 1973, № 12, с. 167—173. См. также: Палиевский П. «Тихий Дон». К 75-летию М. А. Шолохова. — Москва, 1980, № 5, с. 201—206.

<sup>17</sup> Фридлендер Г. С опорой на факты. — Вопросы литературы, 1975, № 8, с. 95.

щается ими, не позволяло этим мастерам слова смириться с живучим типом героя, характеризующегося невероятной силой желаний «подняться» над нормальным существованием, над обыкновенным человеком и возмнившего себя вершителем людских судеб, «которому более разрешено, чем другому» (6, 417); именно поэтому для них противоестественна философия, согласно которой «все можно». Писатели беспощадны к своим «вседозволенцам» (Раскольников, Ставрогин, Кириллов, Иван Карамазов у Достоевского, Евгений Листницкий, Митька Коршунов у Шолохова), пытающимся оправдаться;<sup>18</sup> они позволяют им высказаться сполна, самораскрыться и в мыслях, и в поступках, часто безрассудных и оскверняющих человеческую природу, чтобы затем дать этим новоявленным наполеонам настоящий бой.

Гуманизм художников окрашивает собой все их мировоззрение, он всепроникающ и не знает компромиссов. Конечно, гуманистическая концепция Достоевского, как уже говорилось, существенно отличается от гуманистической концепции Шолохова, и это естественно, ведь меняется историческая действительность, на смену одному творческому методу приходит другой, совершается прогресс в литературе, главным критерием и показателем которого является обогащение гуманистического потенциала искусства.<sup>19</sup> Тем не менее в отношении к человеку у Достоевского и Шолохова, как мы вскоре увидим, много общего, что может служить надежным основанием для сравнения и сближения разных типов гуманизма. В области морально-гуманистических ценностей действует не столько закон отрицания, сколько закон постепенного накопления, непрерывного совершенствования; не случайно поэтому человечество располагает таким большим количеством нетленных духовных сокровищ вековой давности, не случайно поэтому нравственные нормы не отличаются особой динамичностью, они весьма консервативны. То, что было злым, бесчеловечным вчера, крайне редко становится добрым, гуманным сегодня и наверняка не будет таковым завтра.

Есть много путей исследования проблемы, связанной с характером гуманизма того или иного писателя, ибо гуманистический пафос творчества имеет очень различные формы проявления, призывает собой все мировосприятие автора. Применительно к Достоевскому и Шолохову самым подходящим способом, позволяющим наиболее рельефно, осязаемо показать специфику гуманистической концепции, по всей вероятности, будет тот, который предполагает анализ «детской темы» в произведениях этих корифеев реализма. Образы детей сделались неотъемлемой, чуть ли не обязательной частью художественного мира обоих «взрослых» писателей, которые, пожалуй, чаще других русских классиков

<sup>18</sup> «Чем, чем, — думал он. (Раскольников, — П. Б.), — моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит?» (6, 417).

<sup>19</sup> См. подробнее об этом: Бушмин А. С. О специфике прогресса в литературе. — В кн.: О прогрессе в литературе. Л., 1977, с. 29—36.

обращаются к маленьким представителям рода человеческого. Для Достоевского и Шолохова бесспорен, если так можно выразиться, приоритет ребенка во всем, несомненно его абсолютная ценность. При изображении детей — а эти прозаики очень любят рисовать их, не жалеют ни самых ярких и запоминающихся красок, ни высоких, сокровенных слов — они не боятся прослыть сентиментальными, не стесняются слез, необычных приливов нежности, тепла, света и даже не пренебрегают мелодраматическими элементами (последнее в большей мере свойственно автору «Братьев Карамазовых», Шолохов — сдержаннее, мужественнее).

Почему детям, которым, впрочем, всегда везло в отечественном искусстве (не только в литературе), отводится так много места в книгах Достоевского и Шолохова? Почему они появляются едва ли не в самых горячих точках сюжетного развития? Чем можно объяснить, к примеру, тот факт, что шолоховские «Донские рассказы», в центре которых стоит проблема революционного гуманизма, буквально переполнены образами детей? Зачем Достоевский заставляет, скажем, Дмитрия Карамазова «мигом заснуть» и увидеть «хороший сон», от которого у героя радостью озарилось лицо и сделалось «новым» (14, 456, 457) и о котором нам еще предстоит говорить подробно? Вряд ли это все может быть объявлено игрой случая и отнесено к разряду чисто внешних совпадений.

В художественном мире романистов ребенок наделен исключительными полномочиями: он словно выступает в роли универсального и неподкупно-беспристрастного судьи (ведь дети, по мысли Достоевского и Шолохова, — это люди с самой чистой душой), является эпицентром вселенной, беззащитной и потому легко ранимой совестью человечества, служит как бы лакмусовой бумажкой для безошибочной проверки, что есть добро и что есть зло, где живет правда и где таится ложь, для надежного определения состояния здоровья общества, для установления правильного диагноза, если последнее больно или если в нем что-то не совсем ладно. Достоевский и Шолохов убеждены, что по тому, как чувствуют себя дети — завтрашний день человечества, можно с полным правом судить об общественно-социальной формации в целом, о степени справедливости существующего миропорядка. Судьбы всех основных взрослых героев этих писателей неразрывно связаны с судьбами молодых побегов на древе человечества. Обилие детских образов, разноликих, неповторимых и незабываемых, придает книгам Достоевского и Шолохова особый колорит, особую атмосферу: на их обжигающих страницах много щемящей тоски и грусти, много пронзительного света, прорывающегося сквозь плотину трагических коллизий, резких конфликтов, страданий и страстей людских, много обнадеживающего тепла и нежности, много веры в лучшее будущее. Решение проблемы гуманизма, всякий раз остро встающей на изломе эпох, испытание всего и вся на человечность для этих писателей не-

разрывно связаны с изображением детворы, подростков и кажутся почти невыносимыми без прямого и честного ответа на вопрос, каково в данный исторический момент тем, кто только начинает жить, — плачут ли они или веселятся, уютно ли им или холодно и одиноко, заботятся ли о них или позабыли совсем, успели ли они полюбить жизнь или уже никогда не любят ее, является ли по отношению к ним окружающее общество матерью или мачехой? Своей испепеляющей любовью к детям Достоевский и Шолохов выделяются среди всех мастеров прошлого и настоящего; сердце маленького человека, взывающего о помощи, жаждущего добра, красоты, справедливости, страдающего от несовершенства мира и зовущего всем видом, существом своим к отмщению, к искоренению зла и насилия, не дает им успокоиться ни на минуту. Слезы ребенка требуют возмездия, с этим, кажется, не спорил и Достоевский, который, как известно, нередко призывал к смирению (дети для него — исключение, ради них он готов был отодвинуть в сторону любую философию или теорию).

Гуманизм Достоевского, который определяют то как христианский, то как христианско-демократический, то как абстрактный, то как абстрактно-морализаторский, то как общечеловеческий (во всех этих определениях есть смысл, хотя они не в равной мере отражают истину), можно назвать — условно, конечно, — гуманизмом надрыва, крайним гуманизмом. Художник XIX в. ставил этот всегда волновавший его вопрос, так сказать, ребром, что особенно явственно проступило в последнем, быть может самом великом, создании писателя — в «Братьях Карамазовых».

Иван Карамазов (да, да, именно тот Иван Федорович, который считал, что «именно ближних-то... и невозможно любить, а разве лишь дальних» (14, 215), и которого романист избрал носителем теории «все позволено», — так неоднозначен, многоцветен и противоречив художественный мир, сотворенный Достоевским!) в откровенном, испытывающе-провоцирующем разговоре с братом Алексеем произносит слова, являющиеся квинт-эссенцией взглядов самого автора. Видимо, не случайно Достоевский вложил целый трактат о детях в уста героя, который незадолго до этого рассуждал о вседозволенности. Остановимся поподробнее на этой страстной, жгучей исповеди Ивана, так как каждый элемент ее заслуживает тщательного анализа, высвечивает все основные грани гуманизма Достоевского.

Как будто незначай (в главе «Бунт», одной из кульминационных в романе) Иван Федорович заводит речь о детях, которые, по его мнению, «пока еще ни в чем не виновны» (14, 216). Выясняется, что «вседозволенец» на протяжении продолжительного времени собирает материал о детках, и не только русских, что он по-своему идеализирует маленьких крошек: «...деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне, однако же, кажется, что детки никогда

не бывают дурны лицом)» (14, 216). «Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек, — говорит Иван, добавляя при этом: — И заметь себе, жестокие люди (к ним, вероятно, он относил и самого себя, — П. Б.), страстные, плотоядные, карамазовцы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другой природой» (14, 217). Отнюдь не горячее сердце Ивана Федоровича разрывается от слез ребенка, причем этот герой Достоевского сразу думает о всех страждущих детях земли. С гневом и отчаянием он, например, напоминает Алеше о злодеяниях и изуверстве турок в порабощенной Болгарии: «Эти турки, между прочим, с сладострастием мучили и детей, начиная с вырезания их кинжалом из чрева матери до бросания вверх грудных младенцев и подхватывания их на штык в глазах матерей. На глазах-то матерей и составляло главную сладость» (14, 217).

Свой душераздирающий рассказ о том, как псы — на глазах у родной матери — растерзали ребенка в клочки, Иван Федорович начал издали, предварив его целым рядом историй, повергающих в уныние и вызывающих чувство протеста. Разнообразные, разноразнонациональные «картинки» эти (у Ивана их много, «есть ... и еще получше», похлеще — 14, 220) навсегда запечатлелись в сознании человека, который отстаивал тезис о вседозволенности, пробуждают у него стыд за род человеческий и буквально потрясают Алешу, непосредственного служителя бога. «Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уж про одних детей. Тем не выгоднее для меня, разумеется» (14, 216), — мимоходом замечает Иван Карамазов и пускается в психологическую атаку на младшего брата, желая услышать от него заветное слово «расстрелять», пытаюсь проверить свои взгляды и некоторые жизненные итоги. Исповедь героя, любящего детей до истеричности, до самоистязания, то и дело перемежается аккордами гнева и проклятия, вопросами, требующими немедленного ответа, разрешения: «Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к „боженьке“. Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними...» (14, 220—221); «Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию?» (14, 222) и т. д. и т. п.

Из-за того, что где-то рядом или вдалеке плачет ребенок, из-за того, что униженная жертва братается со своим злодеем и тираном, из-за того, что цель достигается такой дорогой и жестокой ценой, Иван Федорович готов сию минуту отказаться и от высшей гармонии, и от всемирного счастья людей, и от истины.

Все эти высокие, завораживающие понятия скомпрометировали себя слезой, которая течет по щекам невинных созданий. «Не стоит она (мировая гармония, — П. Б.) слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к „боженьке“! Не стоит потому, что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии» (14, 223), — решительно заявляет Иван. И далее: «... если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены» (там же). Герой Достоевского не хочет гармонии, построенной на крови и слезах, не хочет, как он выражается, из-за любви к человечеству, он желает лучше оставаться с неотомщенными страданиями, требующими возмездия, всегда напоминающими о язвах общества, о необходимости дальнейшего совершенствования человеческой природы. Дети для Ивана, как, впрочем, и для автора «Братьев Карамазовых», — мерило всего, именно поэтому Карамазов-средний и копит старательно материал о детях, обличающий мир людей.

И вот громоподобный итог разговора двух братьев:

«— Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, — проникновенно сказал Иван. — Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бывшего себя кулачком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!

— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.

— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?

— Нет, не могу допустить» (14, 223—224).

От божьего послушника Алеши Карамазова, не могущего даже в мыслях допустить, что на свете «все позволено», Ивану Федоровичу удалось услышать то, что казалось ему его личной собственностью, — мысль о возмущении, об отрицании гармонии и истины, достигнутых ценою детоубийства. Вдохновитель формулы «все позволено», с одной стороны, и защитник униженных и оскорбленных деточек, с другой, Иван устанавливает прямую связь между такими на первый взгляд несоединимыми понятиями, как «ребенок», «бунт», «высшая гармония» и т. д. Он, а вслед за ним и сам романист, которого — ирония судьбы! — отдельные критики умудрялись называть «жестоким талантом», предельно заостряют постановку вопроса о гуманизме: одна сле-

зинка страдающего ребенка или красивое здание мировой гармонии? Писателя и его героя не устраивает счастье, которое зиждется на фундаменте из детских слез и мучений. Крайность и уязвимость гуманистической концепции Достоевского заключается в том, что он, постоянно констатируя наличие зла в современном ему обществе и справедливо утверждая, что маленькие существа не должны плакать и нести ответственность за грехи взрослых, не давал ясного ответа, как же быть тогда, когда страдание уже разлилось по земле, когда дети уже погибают, есть ли какой-либо выход из создавшегося положения, возникшего по вине «проморгавшего» человечества.

А между тем вопрос, терзавший Ивана Карамазова, оставался открытым. Детей надо было как-то спасать, защищать. Над этим бьются почти все совестливые герои Достоевского.<sup>20</sup> Однако одного внутреннего негодования недостаточно для того, чтобы вытереть ребенку слезы и чтобы тот навсегда перестал горько рыдать. Не всякий бунт способен привести к желанному результату, очень часто он оказывался бессмысленным, преждевременным и оборачивался новыми невинными жертвами. В своем порыве человеколюбия персонажи Достоевского (а во многом он и сам) основывались не столько на реальности, на том, что было на самом деле, сколько на идеале, высоком и пока недостижимом. Здесь они показывали себя не то социальными романтиками, не то добрыми экстремистами, не то сторонниками отчаянного гуманизма. Но мечта их, искренняя, самозабвенная, была порывом в послезавтрашний день...

О детях не мог не думать и Дмитрий Федорович Карамазов, который сам похож на ребенка — наивен, доверчив, совестлив. Гуманистическая программа-максимум (чтобы не было ни одного обиженного и ущемленного!), выдвинутая Достоевским и обсуждаемая многими его героями, не миновала и Митю, человека горячего сердца и необузданных страстей. Чудный сон, о котором мы уже упоминали вскользь, приснился ему, казалось бы, в самый неподходящий момент: его обвиняют в убийстве отца, разлучают с любимой Грушенькой, кончилось его счастье-забыть в Мокром, сорван пир души его. Но нет, не о себе заботится в эту мрачную минуту Митенька, которому вроде следовало бы ломать голову над тем, как отвести подозрение. «Приснился ему какой-то странный сон, как-то совсем не к месту и не ко времени» (14, 456), — пишет автор. Что ж это за сон, от которого «загорелось все сердце его и устремилось к какому-то свету, и хочется ему жить и жить, идти и идти в какой-то путь, к новому зовущему свету, и скорее, скорее, теперь же, сейчас»

---

<sup>20</sup> Это лишь человек из подполья, у которого «являлась истерическая жажда противоречий, контрастов», мог в состоянии аффекта заявить: «Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (5, 127, 174).

(14, 457)? Что же это за сон, который похож на очищение и которому так благодарен Дмитрий Федорович, готовый подписать любой протокол?

«Вот он будто бы где-то едет в степи, там, где служил давно, еще прежде, и везет его в слякоть на телеге, на паре, мужик. Только холодно будто бы Мите, в начале ноябрь, и снег валит крупными мокрыми хлопьями, а падая на землю, тотчас тает. И бойко везет его мужик, славно помахивает, русая, длинная такая у него борода, и не то что старик, а так лет будет пятидесяти, серый мужичий на нем зипунишко. И вот недалеко селение, виднеются избы черные-пречерные, а половина изб погорела, торчат только одни обгорелые бревна. А при выезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд, все худые, испытые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется ей лет сорок, а может, и всего только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках у нее плачет ребенок, и груди-то, должно быть, у ней такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками, от холоду совсем какие-то сизые.

— Что они плачут? Чего они плачут? — спрашивает, лихо пролетая мимо них, Митя.

— Дитё, — отвечает ему ямщик, — дитё плачет. — И поражает Митю то, что он сказал по-своему, по-мужицки: „дитё“, а не „дитя“. И ему нравится, что мужик сказал „дитё“: жалости будто больше.

— Да отчего оно плачет? — домогается, как глупый, Митя. — Почему ручки голенькие, почему его не закутают?

— А иззябло дитё, промерзла одежонка, вот и не греет.

— Да почему это так? Почему? — все не отстаёт глупый Митя.

— А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на погорелое место просят.

— Нет, нет, — все будто еще не понимает Митя, — ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дитё?

И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает и без толку, но непременно хочется ему именно так спросить и что именно так и надо спросить. И чувствует он еще, что подымается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная иссохшая мать дитя, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержем карамазовским» (14, 456—457).

Да, это — вещий сон, сон-напоминание, сон-прозрение, сон-



призыв, сон человека, душа которого распахнута в мир, открыта навстречу человеческому горю. Митя сам очутился в большой беде — его считают преступником, посягают на его свободу, ломают всю его жизнь, однако на фоне людских несчастий (сторевающие избы крестьянок, у которых нет ни куска хлеба, ни капли молока в грудях, тяжелая доля русского мужика, пустая степь и, главное, плачущие от холода и голода дети) его собственные муки кажутся ему не такими и страшными, он даже как будто забывает о них. Равное сердце, которому выпадет еще столько мытарств и тяжелых испытаний, обеспокоено прежде всего тем, чтобы никогда больше не было слез у ребенка. О всемирном братстве людей, о справедливой и красивой жизни на земле — вот о чем мечтает Митенька, обвиняемый в кровопролитии. Плачущее дитё, образ которого всегда жил в подсознании Дмитрия Карамазова, является для него символом человеческого страдания, знаком того, что общество, основанное на несправедливых законах, должно быть в корне изменено, иначе честному, совестливому человеку не остается ничего другого, как уповать на бога, сойти с ума или удариться в карамазовщину. А быть может, лучше встать на путь борьбы? Но как это сделать? Каким способом уничтожить все источники зла? Герои Достоевского, через страдания идущие к воскресению, как правило, бессильны перед этими естественно вытекающими вопросами. И потому их прекрасный гуманистический призыв (программа-максимум), не подкрепленный практикой, повисает в воздухе, оставаясь их личным завоеванием. . .

Протест против социального насилия, приводящего к тому, что неутешно горюют дети, является краеугольным камнем гуманистической концепции классика XIX в. Образ плачущего ребенка, созданный писателем и почти постоянно — прямо или в опосредованной форме — присутствующий в его произведениях, ранних и поздних, необходимо рассматривать как персонификацию, материализацию гуманизма Достоевского. Такое эмблематическое изображение нравственной, морально-духовной категории, бросающей ответ на весь миропорядок, сродни призывно-отчаянному стону души человека, задыхающегося в тенетах буржуазного общества, это — словно роковое предзнаменование, неутомимый укор, главное обвинение существующему строю. Слезы малышей — как наваждение, как плач всего человечества — преследовали Достоевского всю жизнь, отданную на то, чтобы уменьшить, если не ликвидировать полностью, зло, расплодившееся на грешной земле.

Нужно заметить, что детская тема, пульсирующая во всем творчестве художника, решается им преимущественно в символическом, предельно обобщенном плане,<sup>21</sup> определяемом как спе-

---

<sup>21</sup> Особенно это характерно для позднего Достоевского. В его раннем творчестве образы детей отличаются несравненно большим жизнеподобием, в них еще не было той «недетскости», которой писатель станет

цифкой философской прозы, так и тем, что идеал, пестуемый Достоевским, слишком далеко отстоял от российской действительности той поры. У автора «Братьев Карамазовых» «дитё» — всеобщий символ; для критического реалиста важно только то, что это — сыновья униженных и оскорбленных, обиженных и обделенных. По убеждению Достоевского, небарский ребенок (дети богатых не проливают слез отчаяния и горя, не знают беспощадных ударов судьбы) должен быть мерилom окружающей жизни, своеобразной шкалой отсчета при оценке исторического прогресса. Несмотря на известную отвлеченность своего символа, продиктованного самыми высокими гуманистическими соображениями, романист постоянно варьирует, обновляет его путем внесения каких-либо отличительных примет, броских деталей, частных, посредством всевозможной конкретизации (вспомним в связи с этим обличительные истории о детях, рассказанные Иваном, дивный сон Дмитрия, ассоциирующийся у нас с полотном большой трагической силы, созданным кистью какого-нибудь великого народного художника минувших эпох). Однако символ остается символом, к тому же в нем налицо религиозный оттенок. Характерна и та интонация, в которой выдержаны почти все сюжеты о плачущем ребенке, — исповедально-правоучительная, проникновенно-скорбная, — умиленно-речитативная, — наверное, для того, чтобы жалостливости было больше, чтобы вызвать у читателя прилив сострадания и сочувствия, чтобы привести в волнение его черствеющее сердце.

### 3

У Михаила Шолохова детская тема разрабатывается в несколько ином ключе: советский писатель стремится к предельной конкретности, объективированности изображения, к воссозданию всей атмосферы, окружающей ребенка, к полному выяснению причин (социальных, нравственных и т. д.), почему тот плачет; поэтому его повествование менее символично, менее условно, хотя и не уступает по степени обобщения, типизации повествованию Достоевского, произведения которого являются вершиной отечественной философской прозы. Маленьких граждан своей страны, бросившей вызов старому миру и задавшей целью построить такое общество, где ни одно дитя не будет плакать, автор «Тихого Дона» рисует с нескрываемой любовью и восхищением, ведь они разделяют трудную судьбу взрослых людей — преданных защитников революционных завоеваний. Детей, родившихся в XX в., коснулось все: и холод, и голод, и разруха, вызванные войнами; однако они знали, что родина, отстаивающая свою свободу и независимость, истекающая кровью, никогда

---

потом наделять своих маленьких героев. У зрелого же Достоевского дети — свидетели и судьи, они все знают и все понимают, в них много от взрослых людей. У Шолохова, как мы вскоре увидим, дети всегда и всюду остаются детьми.

не предавала, не забывала их. Дети войны — это незаживающие раны России, ее боль и надежда. Вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами дети Страны Советов вынесли все, что испослала им жестокая судьба. И родина, выдержавшая с честью все испытания истории, не обманула их светлых надежд.

Гуманизм мастера социалистического реализма лишен тех крайностей и надрывов, которые свойственны классику минувшего столетия. На страницах шолоховских произведений тоже часто плачут дети, столкнувшиеся с ужасами жизни — с сиротством, обездоленностью и т. п., однако их слезы, вызванные всенародным горем, не имеют того оттенка безысходности и беспросветности, который всегда соучаствует маленьким героям Достоевского. Если у писателя XIX в. ребенок страдает от зла, существующего внутри самодержавно-крепостнического государства, чинимого своими же соотечественниками — представителями эксплуататорских классов, то у современного художника ребенок плачет от бед, пришедших извне, принесенных врагами нашей страны. «Дитё плачет» Достоевского — это символ старого мира, раздираемого классовыми противоречиями, это обвинительный документ буржуазному обществу. Плачущий ребенок в книгах Шолохова олицетворяет собой слезы России разгневанной, борющейся и в конце концов побеждающей. Советский прозаик на собственном опыте в годы гражданской и Великой Отечественной войн убедился в том, что в истории есть жестокие, мучительные моменты, когда без революционного насилия невозможно достигнуть заветной цели. Иногда погибают даже дети, с этим невозможно смириться, но это так: силы зла, обуреваемые слепой ненавистью, стремящиеся к мировому господству, способны на любую жестокость, на любой античеловеческий поступок. Путь к справедливости, к торжеству добра и гуманности нередко сопряжен со слезами невинных. Шолохов всем творчеством своим призывает к благородству, к сохранению человечности, ему близка гуманистическая боль Достоевского — этого безоглядного защитника плачущего ребенка.

Великий гуманизм русской классической литературы (гуманизм Достоевского, бесспорно, один из ее пиков) получил в творчестве Шолохова дальнейшее развитие и обогащение.<sup>22</sup> Традиция, идущая непосредственно от автора «Братьев Карамазовых», на наш взгляд, особенно явственно дает о себе знать в рассказе

---

<sup>22</sup> Всестороннее освещение шолоховской гуманистической концепции (нас интересует лишь один ее аспект) читатель может найти в книге В. В. Петелина, которая так и называется — «Гуманизм Шолохова» (М., 1965). О гуманизме Достоевского такой обобщающей монографии, насколько нам известно, пока еще нет, зато мы располагаем большим количеством специальных статей. См., например: Стребков Ю. С. Проблема нравственной ответственности личности в мировоззрении Ф. М. Достоевского. — Философские науки, 1971, № 5, с. 82—89; Кашина Н. В. Гуманизм Достоевского. — Там же, с. 90—97, и др.

«Судьба человека». В этом шолоховском шедевре, покорившем мир предельной обнаженностью гуманистического чувства, не один, как принято почему-то считать, а два равновеликих между собой главных героя — Андрей Соколов и Ванюшка. Перед нами проходят две трагические судьбы, слившиеся в одну — в судьбу Человека.

К Андрею Соколову подошли бы слова, сказанные как-то Достоевским: «...самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли» (5, 79).<sup>23</sup> Шолоховский герой, безусловно, принадлежит к этому типу личности. Соколов, которому довелось, по его собственному признанию, «хлебнуть горюшка по поздри и выше» и у которого «глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть» (Ш., т. 8, с. 28), потерял все: и родимый дом, и жену, и детей. Осталось ли хоть что-нибудь у этого многострадального русского человека? Да, осталось. Никто и ничто не смогло отнять у него любовь к родине и умертвить его живую, отзывчивую душу. Андрею оказалось достаточно двух этих незыблемых, неистребимых духовно-нравственных координат для того, чтобы продолжить жизнь, чтобы не озлобиться на весь мир, чтобы не приходить в ярость при виде чужого счастья.

И все же без встречи с маленьким Ванюшкой осиротевшему солдату было бы гораздо труднее, горше; эта сколь случайная, столь и закономерная встреча нужна была недавнему участнику войны, нужна была как спасение, как исцеление, как надежда на будущее, как источник, дающий силы идти дальше. Ведь сердце героя, испившего до дна горькую чашу, не раз ощущавшего дыхание смерти, в течение какого-то периода, как он сам говорит своему собеседнику, «закаменело от горя» (Ш., т. 8, с. 55). Где было найти ту живую воду, способную растопить душу, заледеневшую от мук и страданий, собственных и общенародных, заставить с новой силой биться сердце, окаменевшее от пережитых трагедий? Такой сказочной живой водой оказался мальчуган «со светлыми, как небушко, глазами» (Ш., т. 8, с. 27). «И вот один раз, — рассказывает Андрей Соколов о своем новом сынке, с которым он встретился в Урюпинске, — вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этаким маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытым пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звез-

---

<sup>23</sup> Ср. с другим суждением Достоевского: «„Лучший человек“ по представлению народному, — отмечал он в «Дневнике писателя» за 1876 г., — это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело божие, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью» (23, 161).

дочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, — кто что даст». И далее: «Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело?» (Ш., т. 8, с. 53). Мысль об усыновлении одинокого птенца, выброшенного из гнезда, разоренного войной, пришла как-то неожиданно, вдруг, непроизвольно, она тут же окрылила, согрела Андрея, которому уже начинало иногда казаться, что его жизнь кончена, что впереди лишь завеса скорби и тоски: «Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: „Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети“. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло» (Ш., т. 8, с. 54).

Мы не видим всего процесса оттаивания души Соколова: герой-то ведь сам рассказывает о себе, к тому же он не отличается многословностью. Однако отдельные выразительные штрихи, подчеркнутые писателем, позволяют нам составить весьма цельное впечатление о том просветлении, воскресении, которое переживал шолоховский герой, нашедший «нового своего сынишку». Когда Андрея Соколова оглушил радостно-пронзительный крик: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» (Ш., т. 8, с. 54), у него словно туманом заволочло глаза, затряслись руки, все тело пронизала дрожь. Отцовское чувство, наполнившее жизнь особым смыслом, было острым и пленительным, оно переворачивало все существо Соколова, врачуя его. «Проснусь, — признается Андрей, — а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любишься на него... <...> И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче...» (Ш., т. 8, с. 55). Сколько сладких материнских слов слетает с уст этого в высшей степени мужественного человека! Маленький Ванюшка чаще всего уподобляется им птице, «птахе»: парнишка сравнивается то со свиристелью («как свиристель, так звонко и тоненько кричит»), то с воробьем («щебечет, как воробушек») и т. д. (Ш., т. 8, с. 54, 56); один раз он ласково называет своего сына козленком: «... слезает с меня и бегаёт сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок» (там же, с. 57).

Соколов нежно заботится о мальчике, старается сделать все для того, чтобы тот как можно скорее забыл о недавней бездомности, о слезах сиротства. Повествователь не случайно обращает внимание на одно странное обстоятельство во внешнем виде своих встречаемых «путешественников»: сынишка «был одет просто, но

добротню», более того, «все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки», а вот папаша «выглядел иначе» (Ш., т. 8, с. 29).

С тех пор как в его безрадостную жизнь ворвался вихрастый парнишка, Андрей Соколов внутренне преобразился и окреп, приемный малыш стал для него той дополнительной опорой, которой так не хватало ему в первые мирные дни. Взяв на себя ответственность за судьбу другого человека, многострадальный герой Шолохова постепенно выходит из трагического оцепенения, понемногу освобождается от непосильного, парализующего груза прошлого. Однако мы покривили бы душой, если бы сказали, что Ванюшка, поставивший на ноги своего «папку», полностью нейтрализовал пережитое Соколовым. Да разве можно забыть те круги фашистского ада, которые довелось пройти советскому солдату? Тяжелые воспоминания только притупились, настоящее, связанное с Ванюшкой, лишь потеснило прошлое, которое никогда не рассосется совсем. «Госка мне не дает на одном месте долго засиживаться, — говорит Андрей. — Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле» (Ш., т. 8, с. 57). Путешествовать по родной стороне отнюдь не просто. У Ванюшкиного отца «сердце... раскчалось, поршня надо менять»; удары, нанесенные войной, оставили глубокий след в его душе, они постоянно напоминают о себе. Даже во сне не отпускает боль. «Днем я всегда крепко себя держу, из меня ни „оха“, ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...» (там же), — раскрывается Андрей Соколов. Но несмотря на властность воспоминаний, он думает о завтрашнем дне: со своим веселым парнишкой, радующимся весне, он, вернувшийся с того света, потерявший родных и близких, шагает по русской земле. Это уже немало, это почти счастье, вернее сказать, это подступы к счастью...

Мужчина-сирота и ребенок-сирота нашли друг друга. Им повезло. Пути этих двух страждущих людей могли бы не пересечься; прошло бы совсем немного времени, и одинокий Ванюшка оказался бы в детдоме или в какой-либо семье: русский человек очень жалостлив, он не может спокойно взирать на ребенка, не знающего материнской и отцовской ласки. В любом случае мальчик не остался бы без приюта. К счастью, «папка» объявился быстро, и детское сердце узнало тепло ближнего. Андрею Соколову, которому тоже вряд ли бы дали пропасть, сынишка нужен был не только для того, чтобы спасти свою душу, побороть собственную неприкаянность и одиночество, утолить нерастратенный отцовский инстинкт, но и для того, чтобы еще больше укрепить основу, поддерживавшую его в самую критическую минуту, — связь с родиной, обретенной вновь. Как известно, патристическое чувство всегда конкретно и боится всякой отвлеченности: любовь к «большой» Родине питается любовью к «малой»

родине. Домашний очаг — вот та главная нить, соединяющая человека-песчинку с народом, страной. У шолоховского героя не осталось ничего — ни своего дома, ни жены, ни детей, поэтому-то Ванюшка и явился тем целительным средством, которое способно и облегчить сердце, и усилить веру в будущее, и превозмочь неотступную печаль, и обновить чувство родины, и внушить мысль, что жизнь индивидуума принадлежит не только ему одному, что он несет ответственность за этот дар природы и потому не вправе безрассудно распоряжаться ею, поступать так, как ему вздумается, — искусственно прерывать свое существование, преждевременно выходить из игры и т. п.

В период полного отчаяния Андрей Соколов отыскивал беззащитное существо, которому еще больше, еще страшнее, чем ему. «„Судьба человека“, — тонко заметил один из зарубежных литераторов, — это действительно судьба Человека, способного даже в самые тяжелые дни признать судьбу другого более сложной и трагической и найти в себе силы помочь ему».<sup>24</sup> В последовательном утверждении, что цель каждого — всегда и везде оставаться человеком, стремиться к тому, чтобы скрасить кому-либо — постигнутому бедой — жизнь, нельзя не усматривать один из ведущих принципов шолоховского гуманизма, который генетически связан с гуманизмом Достоевского, настаивающего на том, что дети не должны плакать и отвечать за «грехи» взрослых.

Взывающий о пощаде и помощи ребенок в книгах Достоевского и маленький герой из рассказа «Судьба человека» — отнюдь не одно и то же. О мальчике, который не встретил еще своего «папку», можно сказать: пока еще плачущее дитя. Композиция шолоховского произведения такова, что собственное восприятие Ванюшки остается как бы за кадром; о том, что чувствовал этот вихрастый мальчонка во время своих скитаний, мы можем лишь догадываться, судя по тем деталям, которые проскальзывают в воспоминаниях Андрея.<sup>25</sup> Понятно, что Ванюшка было не сладко, свидетельство тому — та восторженная реакция, с которой он отнесся к признанию шофера. Истрадавшийся мальчонка даже не мог допустить и мысли о том, что перед ним — не его доподлинный отец. Святой обман фронтовика не случайно не вызвал никаких подозрений: детское сердце, столь чуткое к малейшей фальши, сразу же потянулось к доброму сердцу чужого человека. Ванюшка счастлив — его нашел «папка» (впрочем, трудно сказать, кто кого нашел — отец сына или сын отца). Вот только некоторые из штрихов, ярко показывающих степень вчерашнего горя и безмерную радость сегодня: «Прижался ко мне

<sup>24</sup> Васкес Педро Корреа. Писатель-гуманист. — Знамя, 1980, № 5, с. 229.

<sup>25</sup> Несомненно, введение в повествование «взгляда» Ванюшки Соколова сделало рассказ Шолохова стереоскопичнее, но тогда это было бы другое произведение и по внутренней структуре, и по жанровой принадлежности (скорее всего — повесть о двух человеческих судьбах).

и весь дрожит, будто травинка под ветром»; «... а сынок мой все жметя ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает»; «... взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою щеку ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип»; «А я никак сына от себя не оторву»; «Обнял он меня и так на руках моих и уснул» (Ш., т. 8, с. 54, 55). Совсем не по-детски вздыхает приемный сынишка, его тревожат воспоминания. «А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста, — уточняет Андрей Соколов. — Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает» (Ш., т. 8, с. 56). Ваня знает, что отец его погиб на фронте, он смутно помнит, что мать его убило в поезде во время бомбежки, когда они куда-то откуда-то ехали; он уже смирился с тем, что у него нет никаких родных, хотя тайная надежда на возвращение отца всегда жила в нем. И вот «папка» объявился. Как же тут было не поверить, что это тот самый, который ходил когда-то в кожаном пальто?!

Соотнося две человеческие трагедии, Шолохов дает понять читателю, что они соизмеримы, что они во многом созвучны. Не потому ли эти люди, судьбы которых искалечены только что отгремевшей войной, так быстро признали друг друга? Андрей Соколов буквально потрясен историей бездомного парнишки, на фоне детского горя его собственная участь не кажется ему уже исключительно трагической.

Финал рассказа полифоничен. В нем есть все: и щемящая грусть, и гордость за человека, и скорбь, и надежда. «Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие нереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек негибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...» (Ш., т. 8, с. 57—58). Заключительные строки произведения, обладающие сверхвысоким эмоциональным зарядом, достойно венчают шолоховский шедевр, который можно с полным правом назвать манифестом гуманизма XX в.



В призыве автора «Судьбы человека» — не ранить сердце ребенка — ощутима нота Достоевского. Этот рассказ — пожалуй, единственное произведение Шолохова, где так явственно прослеживается традиция создателя «Братьев Карамазовых» (будучи связанной прежде всего с решением детской темы, она наложила особый отпечаток на многие сюжетно-композиционные звенья шолоховского повествования, на всю его образную систему, на весь его колорит и интонационный строй). В других творениях советского писателя его связь с художественным миром классика XIX столетия обнаруживает себя не столько в целом, сколько в отдельных деталях, мотивах, сценах, эпизодах.

Типично «достоевский» образ мы обнаруживаем, например, в одной из глав незавершенного романа «Они сражались за родину». Полк покидает хутор, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся недалеко от селения, на скрещении дорог. Предстоит сражение с немцами. Наши бойцы хорошо понимают, что дальше отступать нельзя, что надо теснить врага на запад. Каждый из защитников русской земли настраивает себя только на победу, на сопротивление до конца и думает о своем родном, самом близком, молящем об освобождении и возмездии. И вот в такой напряженный момент в эпическое повествование как-то бесшумно и неожиданно врывается небольшой эпизод, отличающийся редкой силой эмоционального воздействия. Искусство Шолохова-баталиста, Шолохова-психолога достигает здесь своего апогея. «Около ветряной мельницы, — пишет автор, — босой белоголовый мальчик, лет семи, пас гусей, он подбежал поближе к дороге, остановился, чуть шевеля румяными губами, восхищенно рассматривая проходивших мимо красноармейцев. Николай пристально посмотрел на него и в изумлении широко раскрыл глаза: до чего же похож! Такие же, как у старшего сынишки, широко поставленные голубые глаза, такие же льняные волосы... Неуловимое сходство было и в чертах лица и во всей небольшой, плотно сбитой фигурке. Где-то он теперь, его маленький, бесконечно родной Николенька Стрельцов? Захотелось еще раз взглянуть на мальчика, так разительно похожего на сына, но Николай сдержался: перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце». И далее: «Некоторое время взволнованный Николай шел, глядя прямо перед собой невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в вещевом мешке патронов, но потом все же не выдержал искушения, оглянулся: мальчик, пропустив колонну, все еще стоял у дороги, смотрел красноармейцам вслед и робко, прощально помахивал поднятой над головой загорелой ручонкой. И снова, так же как и утром, неожиданно и больно сжалось у Николая сердце, а к горлу подкатил трепещущий горячий клубок».<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Шолохов М. Наука ненависти. Они сражались за родину. Судьба человека. М., 1971, с. 120—121.

То, что предстало перед взором Николая Стрельцова, адресовывалось всем, кто сражался за родину. Босой белоголовый мальчик, нуждавшийся в защите, — это как будто благословение в путь советским воинам, как будто надежда всей России, поднявшейся на борьбу с фашистскими захватчиками. Став напоминанием солдату о его священном долге, образ ребенка, прощально машущего своей маленькой ручонкой вслед уходящим на битву красноармейцам, воспринимается в более широком контексте — как символ плача народного, скорби народной, совести народной.

Шолохов — и в этом принципиальное отличие его гуманизма от гуманизма Достоевского — неустанно и последовательно проводит мысль, что подлинным гуманистом можно называть лишь того, кто борется с социальным злом. Одно из публицистических выступлений современного художника так и озаглавлено: «Гуманист тот, кто борется». В нем, в частности, есть такие строки, имеющие для Шолохова программное значение: «Гуманизм, любовь к человеку, к человечеству... Как по-разному склонны разные люди толковать это понятие, применительно к тому, какие силы человеческого общества они представляют! Мы, советские писатели, согласно своим коммунистическим убеждениям, считаем: если убийца, грабитель занес руку над жертвой, не тот гуманист, кто только жалеет бедную жертву и сокрушается по поводу того, что убийство существует на земле (с этим мы очень часто сталкиваемся в произведениях Достоевского, — П. Б.). Гуманист — тот, кто борется, кто помогает отвести руку убийцы, обезвредить ее злую волю» (Ш., т. 8, с. 427).

Видимо, есть своя логика в том, что художники слова, которые очень остро ставят гуманистические проблемы, особенно часто в своем творчестве обращаются к образам детей и являются, по сути дела, законодателями детской темы в искусстве, предлагая глубокое, философское ее освещение. Книги Достоевского и Шолохова подтверждают этот вывод. Даже в народно-героической эпопее-трагедии «Тихий Дон» (как известно, жанр эпопеи оперирует в первую очередь такими широкими понятиями, как «нация», «народ», «война», «мир», «революция» и т. п.) детские образы играют весьма существенную роль; временами вообще создается впечатление, что «голоса» ребят нужны Шолохову (как, впрочем, и Достоевскому) для решения самых сложных социально-нравственных задач, не до конца еще разгаданных и прочувствованных человечеством, которое склонно за общим прогрессом не замечать ничем не возместимых утрат.

В высшей степени знаменательно, что автор «Тихого Дона» дарует напоследок своему прозревшему герою — Григорию Мелехову, навсегда покончившему с заблуждениями, сделавшему твердый шаг к будущему и сохранившему в себе «очарование человека», долгожданную встречу с сыном. К своим детям — Полюшке и Мишатке — шолоховский правдоискатель тянулся с изнурительной силой; исстрадавшееся сердце его съедала «ядовитая тоска». «Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все осталь-

ные близкие, кого уже не было в живых, — замечает писатель. — Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном. „Походить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать“, — часто думал он» (Ш., т. 5, с. 484). Свидание с сыном — это награда за все те муки, которые выпали на долю Григория, это исполнение его последнего, самого заветного, желания, это прощение и прощание:

«Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька!.. Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил: — Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От глоточной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром» (Ш., т. 5, с. 485—486).

В шолоховском варианте легенды о возвращении блудного сына все переименовано: Григорий Мелехов, этот блудный сын революционного века, опускается на колени перед своим дитятей (ведь больше у него никого нет) и целует его розовые холодные ручонки. Повинная ли это? Видимо, да. Однако содержание заключительной сцены трагической эпопеи не сводится к этому. Гораздо важнее другое: будущее принадлежит Мишатке,<sup>27</sup> Гри-

---

<sup>27</sup> Дети и будущее человечества... Об этом недавно хорошо сказал Л. М. Леонов: «... именно дети по характеру их кровных интересов имеют преимущественное перед взрослыми первенство на свое мнение о будущем

горию же Мелехову, которому открылась истина и который уже твердо знает, откуда исходит свет правды, суждено только прикоснуться к этому будущему...

Книга столетия, как часто величают у нас и за рубежом «Тихий Дон» Шолохова, завершается трогательным образом ребенка, к которому наконец-то прибилась родной отец. Финал произведения, несмотря на трагический фон его, выражает веру художника в завтрашний день, в победу добра, гуманизма и справедливости и в то же время таит в себе предчувствие новых испытаний, которые еще предстоит выдержать строителям нового мира — первопроходцам истории.

В творчестве Достоевского, как, впрочем, и в творчестве Л. Толстого, завершилась целая эпоха в истории человечества: старому гуманизму, испытывающему кризис, становилось тесно в привычных рамках, он готов был вот-вот взорваться и перейти в новое качество. Реалистическое искусство Шолохова — это уже одно из самых ярких выражений нового, революционного гуманизма, новой, революционной нравственности и этики.

\* \*  
\*

Тема «Ф. М. Достоевский и М. А. Шолохов», как мы стремились показать, выходит за рамки обычного сравнительно-типологического анализа: есть все основания говорить о том, что советский писатель в целом ряде случаев развивает традиции великого реалиста XIX в. Параллели между двумя художниками (здесь мы прочертили только те из них, которые лежат на поверхности) можно продолжить, к этому предрасполагает весьма обширный текстовой (т. е. объективный) материал: перекличка отдельных образов, сюжетных линий, созвучие некоторых элементов поэтики, жанровых пристрастий, точки соприкосновения в сфере мировосприятия и др. Было бы интересно, например, соотнести такие образы, как Дмитрий Карамазов и Грушенька, с одной стороны, и Григорий Мелехов и Аксинья — с другой. В результате оказалось бы, что характерология Шолохова имеет немало общего с характерологией Достоевского. Оба они в своем творчестве — хотя и по-разному — слили воедино эпическое и трагическое начала.

До сих пор считается, что, ставя вопрос о традициях русской классической литературы в искусстве создателя «Тихого Дона», необходимо в первую очередь говорить о толстовском начале в эпическом даре Шолохова. С этим, конечно, трудно спорить: для Шолохова толстовская традиция стала основной, ведущей. Однако на него влияли и другие отечественные мастера слова — Пушкин, Гоголь, Чехов, Бунина, М. Горький. В этот список должно

---

мира» (см.: Разговор о теме дня. Встреча с Леонидом Леоновым. Записала В. Помазинева. — Литературная газета, 1980, 27 августа, № 35, с. 5).

быть включено и имя автора «Братьев Карамазовых», оказавшего заметное воздействие на формирование некоторых узловых особенностей шолоховской эпопеи-трагедии.

Освещение темы «Достоевский и Шолохов», являющейся составной частью такой большой проблемы, как «Ф. М. Достоевский и литература XX века», позволит обнаружить какие-то неизвестные закономерности в эволюции русского реализма, точнее установить родословную великого советского писателя, полнее понять непреходящее значение классика минувшего столетия для развития всей последующей культуры, сказать новое, свежее слово не только о Шолохове, но и о Достоевском.

ПИСЬМО М. ГОРЬКОГО К НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ  
О ТОЛСТОМ И ДОСТОЕВСКОМ  
(Публикация Л. Н. Смирновой)

«1910—1913. Капри».

Уважаемый Сергей Павлович!<sup>1</sup>

Для меня лично — несомненно, что всякая идея может быть облечена в художественную форму, это дело таланта. В бытие «чистого» искусства, кое было бы совершенно свободно от социально-педагогических тенденций, — не верю, такового не вижу и возможным его не считаю.<sup>2</sup> Гениальнейшие наши писатели Достоевский и Толстой [насквозь] тенденциозны [и оба яростные проповедники] и там, где они стоят пред нами как художники<sup>3</sup> [в «Преступлении и наказании», «Бесах», в «Войне и мире», «Анне Карениной»].

Не представляю, как можно явления жизни делить на два ряда, из коих один подлежит [только] ведению публицистики, другой — «чистого» искусства. Любовь [и], голод, смерть, насилие над личностью, пошлость и невежество, — темы, как Вы знаете, лежащие в основе величайших произведений литературы и в то же время это ежедневные темы публицистики. [Дело таланта, дело художника взять тему так или иначе] «Германия» Гейне — разве не художественна? А «Сказка о золотом петушке» — не тенденциозна?<sup>4</sup>

А наиболее тенденциозным является «чистое» искусство, которое [в существе] в смысле своем всегда [есть] [было и есть] было проповедью индивидуализма и [само] донныне посвящается защите абсолютной свободы личности [доказательством ее самочинности].

Переходя к Вашей рукописи,<sup>5</sup> могу только согласиться с Вашим мнением о ней: действительно, она «напыщена» и «ходульна» вся с начала до конца, [вся] насквозь.

Ваш язык [невозмо<жно>] [безвкусен] риторичен и, как всякая риторика, — холоден. Множество безвкусных слов, сопоставлений, сравнений, все нагромождено в хаос, бесформенно и раздражает. Вы отчаянно умничаете, это излишне.

Писать надо просто, [точно] — вот в чем искусство. Всякая сила — проста.<sup>6</sup>

Достоевский [даже] сказал однажды: «гений всегда немножко глуп»<sup>7</sup> — этими словами он повторил превосходную мысль более

здорового человека: «Гений должен быть наивен<sup>8</sup> [он должен говорить обо всем так, как будто он впервые увидел то, что все знают]». А всякий писатель должен быть прост.

Печатается впервые по черновому автографу, хранящемуся в Архиве А. М. Горького Института мировой литературы АН СССР (Иг-ИЛ-1-23-1). Датировается по сопоставлению оценок и мнений о художественной литературе и писателях с аналогичными оценками в письмах к другим корреспондентам и в критико-публицистических статьях.

<sup>1</sup> Личность адресата установить не удалось. По характеру обращения, по тону письма и по значению поднимаемых в нем вопросов можно думать, что письмо адресовано человеку, близкому к литературным кругам, хорошо знакомому с русской и западной литературой, но, вероятно, впервые выступающему в качестве автора. Возможно, что им мог быть Сергей Павлович Бобров (1889—1964) — с 1912 г. участник группы молодых писателей «Лирика» (вместе с Н. Н. Асеевым и Б. Л. Пастернаком), впоследствии примкнувший к футуристической группе «Центрифуга»; в советские годы — известный стиховед и переводчик. В 1913 г. в Москве вышла первая книга его стихов «Вертоград под лозами».

<sup>2</sup> Точка зрения Горького на «чистое» искусство повторена во многих статьях и письмах. Ср.: «... истинное чистое искусство всегда объективно» (из письма к Неизвестному, условно датированного 1913 г., см.: Горький. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1934, с. 339).

<sup>3</sup> Ср. оценку Достоевского и Толстого в статье «Разрушение личности» (1908): «После гибели сотен юных и прекрасных людей, после десятилетия героической борьбы величайшие гении рабьей земли в один голос сказали: — Терпи. — Не противься злу насильем» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 24. М., 1953, с. 53). В дальнейшем оценки этих двух писателей претерпели у Горького значительное изменение. В лекциях о русской литературе, прочитанных в каприйской партийной школе в 1909 г., остается высокая оценка Толстого как художника-романиста: «В этой области он воистину велик и заслуженно славен». «Войну и мир» Горький назвал гениальной книгой, «величайшим произведением мировой литературы XIX в.». Толстого Горький считает гением, обличительные книги которого останутся в веках. «60 лет звучал суровый и правдивый голос, обличавший всех и все, он рассказал нам о русской жизни почти столько же, как вся остальная наша литература». Вместе с тем Горький выступает здесь против «грубо-тенденциозной проповеди пассивизма», считая эту проповедь реакционным явлением. Закljučая лекцию, Горький сказал: «Не зная Толстого, нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком» (Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 286—296; лекция о Толстом прочитана 31 октября (13 ноября) 1909 г.). Высокая оценка творчества Толстого дана во многих письмах Горького к разным корреспондентам в ноябре 1910 г. (отклики на смерть Толстого). 19 ноября (2 декабря) 1909 г. Горький выступил перед слушателями каприйской партийной школы с лекцией о Достоевском. Не называя его ни гениальным, ни великим, Горький начал с утверждения: социализм — учение, органически враждебное Достоевскому, «стремление оспорить, опровергнуть социализм — наполняет „Дневник писателя“». «Болезненные идеи — вернее, ощущения (...) составляют главное содержание произведений Достоевского». По мнению Горького, Достоевский любит копаться в сфере бессознательного, он «глашатай темных, враждебных человеку сил», его творчество «мучительное и бесплодное, ибо оно ничего не уясняет, не увеличивает в жизни положительное, всегда рисует человека беспомощным в хаосе темных сил» (там же, с. 192, 248—250). И позднее, в письмах (например, к И. Д. Сургучеву 19—20 декабря ст. ст. 1911 г.) и статьях («О „карамазовщине“», «Еще о „карамазовщине“», 1913 г.), если Горький и называл Достоевского гением, то только «злым нашим гением». 29 июня (11 июля) 1911 г. К. П. Пят-

ницкий записал в дневнике слова Горького: «Чем скорее русский народ забудет Толстого и Достоевского, тем лучше» (Архив А. М. Горького, ФКП Д-Пят, 5-1-18). Несомненно, сказано это в запальчивости, возможно в полемике с Пятницким, с которым уже тогда у Горького были принципиальные расхождения во взглядах. Но и в августе 1911 г. в письме к В. В. Розанову Горький пишет столь же полемично: «Порою мне кажется, что Вас родил искаженный и злой человек Федор Достоевский <...> Не люблю я „великого инквизитора“ Достоевского и восточного философа Льва Толстого — не люблю» (Контекст. 1978. М., 1978, с. 304).

<sup>4</sup> Ср. в лекциях о русской литературе: «Возьмите сказку „О попе и работнике Балде“, о „Золотом“ петушке“, „О царе Салтане“ и т. п. Во всех этих сказках насмешливое, отрицательное отношение народа к попам и царям Пушкин не скрывал, не затушевывал, а, напротив, оттенял еще более резко» (Горький М. История русской литературы, с. 99).

<sup>5</sup> О какой рукописи идет речь, не установлено.

<sup>6</sup> Тезис, постоянно утверждаемый Горьким. «Правда проста, все великое — просто, народ — прост, как небо, с ним нужно говорить хорошими, твердыми словами...» (письмо к В. В. Розанову от 4 ноября ст. ст. 1905 г., см.: Контекст. 1978, с. 301); «В сравнении с „Тайболой“ — лучше, ибо — проще. Но нужно еще проще. Будет сильней, внушительнее» (письмо к В. И. Язвицкому, июнь 1910 г., см.: Архив А. М. Горького, т. VII. М., 1959, с. 89).

<sup>7</sup> В записных книжках Достоевского есть такая фраза: «Гоголь — гений исполинский, но ведь он и туп, как гений» (20, 153). Горький не мог знать этого высказывания, так как в 1900—1910-х годах оно не было опубликовано. Возможно, аналогичное мнение Достоевского бытовало в устной традиции и могло быть известно Горькому через какой-то печатный источник, в котором была приведена эта фраза.

<sup>8</sup> Возможно, имеется в виду фраза Ф. Шиллера из статьи «О наивной и сентиментальной поэзии» (1796): «Гением его делает только наивность...» (Шиллер Ф. Собр. соч., т. 6. М., 1957, с. 396).



## ДЕЯТЕЛИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ О ДОСТОЕВСКОМ

В сборнике «Достоевский и его время» (Л., 1974) были помещены размышления советских и зарубежных писателей и деятелей искусства об их отношении к Достоевскому (с. 5—16). В настоящем томе редакция помещает ряд новых размышлений, построенных в форме ответов на те же вопросы:

1. В каком возрасте и при каких обстоятельствах Вы познакомились с произведениями Достоевского? Какое впечатление они произвели на Вас при первом знакомстве?

2. Оказал ли Достоевский влияние на Ваше духовное развитие и на Ваше творчество?

3. Ваше любимое произведение (произведения) Достоевского?

4. Как Вы оцениваете место Достоевского в русской и мировой литературе?

5. Какие стороны творчества Достоевского Вы считаете наиболее ценными и важными для нашего времени?

Публикуя ответы на эту анкету, редакция выражает свою благодарность всем, кто откликнулся на ее просьбу и предоставил ей право публикации своих размышлений.

**Г. Я. Горбовский**

(поэт; Ленинград)

1. Не помню, кто первым извлек из себя кочующую в умах фразу: «Достоевского нужно читать с седыми волосами», т. е. в зрелом состоянии души. Лично я приобщился к миру Достоевского в неполные восемнадцать лет и ничуть о том не сожалею сегодня, обретая неизбежную седину. Правильнее будет выразиться не менее расхожими словами: «Достоевского нужно не читать, а перечитывать», т. е. читать постоянно. На протяжении судьбы. Ибо истины, проповедуемые Достоевским, — это цепь постепенно возрастающих вершин, которые покоряются не сразу, а в определенной последовательности. И покоряются далеко не все и не всем.

Обстоятельства, при которых произошло мое знакомство с гением русской прозы, способствовали восприятию внешне сложных, а по сути своей — столь человеческих произведений писателя. Это были так называемые послевоенные годы. Еще ребенком настрадавшийся, не единожды униженный и оскорбленный в скитаниях по оккупированной территории родины, проживавший затем то в детских домах, то в детской трудоволонии, я, может быть, бессознательно ощутил в Достоевском писателя-друга, писателя-покровителя, писателя-сомученика...

Конкретным же человеком, на столе которого я впервые увидел книги Достоевского, был мой отец. И произошло это в глухих

заволжских лесах, в бревенчатой сельской школе. В 1947 г. Но в Достоевского я тогда не проник. Осилит «Войну и мир», «Обломова», утонул в стихах Пушкина, Никитина, Блока... И только через год, уже в Ленинграде, обретя доступ к прекрасному, соприкоснулся, наконец, с Достоевским. Огромная книга с кожаным корешком и золотыми буквами на коже. Великолепная бумага, крупный, манящий шрифт... И что примечательно — первым из романов Достоевского, с которым свел меня случай, был «Идиот». Не «Униженные и оскорбленные», не «Бедные люди» или «Неточка Незванова», а именно история о непрактичном, добром, наивном чуде — князе Мышкине.

2. Отсюда и влияние. Свою первую, ученическую книжечку стихов навряд ли бессознательно назвал я «Поиски тепла», иными словами — поиски добра, справедливости, человечности, всего того, что олицетворяли в своих поисках великий писатель и его удивительные герои: князь Мышкин, Алеша Карамазов, Соня Мармеладова, старец Зосима...

3. На всю жизнь пронес любовь к «Идиоту». Люблю его перечитывать, как стихи Пушкина, Тютчева, Державина. Не расстаюсь с «Дневником писателя». Люблю читать самое имя писателя, где бы оно ни возникло в свете и сумерках жизни — сразу душа оживает, ободряется разом.

4. Достоевский в своих произведениях поднимал вопросы вечного звучания: добро и зло, правда и ложь, бог и дьявол. Поднятие сих вопросов, а также проникновение в души людские, в их самые глухие закоулки и затаенные глушины — все это и многое другое в произведениях Федора Михайловича Достоевского позволило занять ему в мировой литературе одно из самых вершинных мест. И причиной тому не только его гениальные писательские возможности, но и обнаженное сердце гуманиста, человеколюбца, незапятнанная совесть радетеля за победу в человеке добрых начал, за совершенствование душ людских. Достоевский сам страдал не единожды, а, может, и на протяжении всей своей жизни. Страдания воспитали в нем подвижника, проповедника добра, — каким сам он склонен был считать христианина в повседневном, а не в церковном и даже не в философском толковании этого понятия. Отсюда он как личность — цельнее даже такого великого художника, как Лев Толстой, христианинствовавшего мимо, т. е. вне личных страданий.

5. Во времена глобального оскудения нравственных запасов (этот благополучный Запад с его гласной и негласной философией выживания, накопительства в ущерб духовным кладовым), во времена технократизации образа жизни людей и экологических судорог мысли и образы Достоевского, т. е. его книги, должны стать настольными для всех людей доброй воли, т. е. для всех совестливых людей, на коих и держится все живое на земле. Книги Достоевского призывают к жизни духовной. А живая, постоянно совершенствующаяся душа — не она ли способна и все материальные ценности от беспощадного разрушения, насилия оградить?

1. Я познакомился с Достоевским в школе по «Преступлению и наказанию». Но одолеть этого романа до конца я тогда не смог; слишком был он тяжким. Впоследствии несколько раз я снова брался за него, но прочел его полностью только тридцатилетним, после войны. И после этого я принялся читать Достоевского. Так что это — мой самый «поздний» писатель, и он оказался для меня одним из самых важных.

2. Оказал ли Достоевский на меня влияние? Наверно, только не знаю какое, в какую сторону. А то, что оно было, так об этом сужу по интересу, многолетнему интересу к Достоевскому. Наверное в каких-то вещах влияние было самым прямым. Например, в повести «Кто-то должен» он помог мне забраться в душу одного из героев, найти совершенно непредвиденную правду его поведения. Это было сделано как бы «по Достоевскому». Больше я себе никогда не позволял такого подражания. Но осталось стремление понять идею человека, забраться глубже за пределы видимых мотивов поведения, туда, к неожиданному, к непонятному.

3. Вначале моим любимым произведением было «Преступление и наказание», потом «Идиот» и, наконец, теперь «Братья Карамазовы».

4. Место Достоевского в литературе нельзя, по-моему, оценивать как высокое или очень высокое, настолько оно отдельное. Считают, что он изображает, как никто, русский национальный характер. Думаю, что кроме того важно другое — и свидетельство тому постоянный всемирный интерес к Достоевскому. Он изображал человека с его всеми ведомыми психологическими лабиринтами, — так, как это умела делать мировая литература. И герои Достоевского в той же мере русские, в какой Гамлет — датчанин, парь Эдип — древний грек или Дон-Кихот — испанец. Романное мышление Достоевского для меня лично примечательно тем, как он умел ставить — именно в романной форме — проблемы, как умел разрабатывать идеи. Причем его проблемы, его идеи имеют не только всеобщее, всемирное значение, но и поразительно долгую жизнь. Ни одна из них не устарела, не отмерла, в ходе лет и событий они даже заостряются, становятся все насущнее, важнее.

5. Главным в Достоевском для меня нравственная сторона исканий — и его самого, и его героев. Мы, к сожалению, слишком увлекаемся преодолением страданий, считаем, что, преодолевая страдание, человек утверждает себя и служит примером другим. А в Достоевского страдания и непреодоленные — может быть, именно непреодоленные — имеют наибольшую ценность. Через них читатель обретает связь с людьми, он ощущает участие писателя в своей слабости, в своей печали, в своей порою безнадежной жизни. Достоевский сочувствует людям, притом часто вовсе не главным в жизни, зачастую как бы мало полезным, тем «униженным и оскорбленным», тем «бедным людям», которые вовсе

не герои своего времени. Эта гуманность Достоевского-художника оспаривает ныне торжество человека делового, культ красоты, силы, счастья.

Одна из сильных сторон Достоевского в многозначности его произведений: каждое из них на протяжении минувшего века становилось все более спорным, открывалось новое их понимание и непонимание. Секрет оставался неразгаданным. Тут есть какая-то тайна. Причем чем интереснее работы литературоведов (а их Достоевский породил немало), тем эта тайна значительнее. Она не уменьшается. Вот, например, я прочел последнюю работу Ю. Ф. Карякина о «Преступлении и наказании». Как он много нового открыл в поведении Раскольникова! А все же уверенности в полноте разгадки нет. Почему? Я не раз задумывался над этим, пытаюсь понять, в чем же тайна поведения героев Достоевского, почему никогда нельзя в точности однозначно мотивировать их поступки, почему всегда остается какая-то неясность в наших доказательствах, касается ли то Раскольникова, или Карамазова, или Мышкина? Можно и так, и этак понимать побудительные причины и смысл их действий. У меня на сей счет получилось странное соображение: а что как сам автор не знал, почему они так поступают? Т. е. для него они становились настолько живыми и отстраненными от него героями, что он уже не мог относиться к ним, как к своим созданиям. Он переставал их понимать. Он знал, о чем они думают, что говорят, хотят, но для него этого недостаточно, существует и подсознание, то, что неведомо бывает и самому человеку. Убеждение в неразгаданности человека сопутствовало Достоевскому в литературной работе. Если бы и нам можно было добиваться от собственных героев такой самостоятельной жизни, не поддающейся разгадке!

#### Н. М. Любимов

(переводчик, лауреат Государственной премии СССР; Москва)

1. Мое первое знакомство с творчеством Достоевского произошло, когда мне было восемь лет. Я получил в подарок хрестоматию «Живое слово», в которую входили отрывок из «Записок из Мертвого дома» (сокращенная глава «Каторжные животные») и «Мальчик у Христа на елке». При чтении «Мальчика» во мне пробудилось новое чувство, дотоле мной не испытанное, — сострадание. Впервые оно появилось у меня не при столкновении с действительностью, а при соприкосновении с художественным словом. Любимым писателем моей матери был Достоевский, и она исподволь подводила меня к нему, пересказывая то, что было более или менее доступно моему восприятию. Одиннадцати лет я прочитал «Братьев Карамазовых». И, как ни странно, читал не отрываясь. Мне не показалась скучной даже «Легенда о Великом инквизиторе», хотя, разумеется, она тогда проплыла мимо меня как в тумане. Тогда на меня наиболее сильное впечатление про-

извели история Илюшечки и размышления Ивана Карамазова о страданиях детей. Достоевский, подобно всякому большому явлению искусства, открывался мне все шире и шире при повторных чтениях.

2. Как переводчик художественной литературы, я с давних пор учусь у Достоевского. Вглядываюсь в его искусство психологического анализа, в его портретную живопись, в его пейзажи с их скупой выразительностью (достаточно вспомнить пейзажи из «Бесов»), вслушиваюсь в то, как говорят его герои: что ни человек, то особый речевой мир. На духовное мое развитие никто из писателей не оказал такого мощного и благотворного влияния, как Достоевский. Стараться разглядеть в каждом человеке умственные и душевные богатства — это свойство больше, чем кто-либо из писателей, развил во мне Достоевский. И если это свойство развито во мне далеко не так, как бы мне хотелось, то вина в этом всецело моя.

3. «Братья Карамазовы». Потом — в равной мере — «Идиот», «Преступление и наказание», «Бесы». Любовь к «Братьям Карамазовым» укрепили во мне артисты Московского Художественного театра. Если б я не видел Леонидова в роли Мити и Качалова в роли Ивана, я бы так отчетливо не представлял себе братьев, какие-то чрезвычайно важные смысловые и эмоциональные оттенки в их монологах пропали бы для меня навсегда. Теперь я смотрю на них уже не только как на героев хотя бы и любимого произведения, а и как на моих близких знакомых. Вся душевная многослойность адвоката Фетюковича так бы и не дошла до меня, если б я не слышал его речи на суде в исполнении Берсенева.

4. Для меня Достоевский занимает в мировой литературе первое место. Он мне представляется многогранней даже Сервантеса и Шекспира, при всем моем преклонении перед ними. В русской литературе я не знаю другого писателя, который совмещал бы в себе мыслителя, знатока души человеческой и мастера романтической композиции и сюжетосложения, владеющего секретом занимательности и увлекательности.

5. Наиболее важно и ценно для нашего времени человеколюбие Достоевского, его сочувственное и всепонимающее внимание к униженным и оскорбленным, его умение вызвать у читателя не дешевые слезы умиления, а стремление незамедлительно помочь ближнему, расшевелить в читателе действенную отзывчивость. Творчество Достоевского жизнеутверждающе. Это может показаться странным только на поверхностный взгляд. Достоевский ведет читателя трудными, порой мучительно трудными путями, меж провалов и круч, но сквозь зло к добру, сквозь кривду к правде, сквозь тьму к свету. Радость Достоевского — выстраданная радость, и тем она ценней и дороже.

1. Знакомство с Достоевским началось у меня, как и у многих, очевидно, людей моего поколения, достаточно поздно — лишь в студенческие годы (я поступил в университет в 1954 г.). Правда, была попытка читать Достоевского еще в школе, но попытка, надо признаться, слабая — потому, во-первых, что школьная программа, как известно, тогда не жаловала Достоевского хотя бы мало-мальским вниманием, а во-вторых, мне, как на грех, попалась и действительно трудная для начала книга, в старом издании, — «Записки из подполья». Помню, я почувствовал духоту, придавленность от непривычной прозы и бросил книгу. Так я ее в буквальном смысле, как «записки из подполья», пожалуй, и воспринял.

В университете я начал с «Преступления и наказания». Читал без самопринуждения, но и без удовольствия. Сказывалась моя тогдашняя неподготовленность к такой литературе, долгое отсутствие среди нас Достоевского, без которого мы сочли себя людьми простого положения и простой сути, признающими вокруг лишь простой, веромантический порядок вещей.

Понимание Достоевского началось у меня позднее. Думаю, что оно не стало полным и до сих пор. Достоевский — это целый мир, настолько сложный, богатый и живой, что открытия и откровения в нем даже для большого исследовательского ума, задавшегося целью расположить этот мир по правилам и законам, будут продолжаться постоянно вместе с продолжением внешней жизни.

2. Без сомнения. Особенно в последние десять лет. Вообще, надо сказать, что испытания Достоевским — очень трудное для писателя испытание. Я уверен, что были, есть и будут люди, причем далеко не бесталанные, но обостренно честные, которые бросают занятия литературой, соотнеся свои творческие и духовные возможности с могучей высшей правдой Достоевского. Он остается самой строгой, взыскующей совестью литературы. Он остается, кроме того, духовной наукой огромного нравственного и общественного действия, наукой, сознательное и серьезное приобщение к которой не проходит бесследно для любого человека, а для писателя тем более.

3. «Братья Карамазовы».

4. Достоевский стоит не в ряду самых великих имен мировой литературы, впереди или позади кого-то, а над ними, выше их. Это писатель другого горизонта, где ему нет равных. Были и есть таланты блестящие, яркие, сильные, смелые, мудрые и добрые, но не было и нет (и не будет, на мой взгляд) явления в литературе более глубокого, более центрального, необходимого, более человеконаправленного и вечного, чем Достоевский. Человеческая мысль дошла в нем, кажется, до предела и заглянула в мир запредельный... Похоже, что кто-то остановил руку великого пи-

сателя и не дал ему закончить последний роман, встревожившись его огромной провидческой силой. Это было больше того, что позволено человеку; благодаря Достоевскому человек в миру и без того узнал о себе слишком многое, к чему он, судя по всему, не был готов.

5. Духовность. Главное, основное содержание человеческого бытия, которое, как показало прошедшее после смерти Достоевского столетие, не признает даже самых красивых и удобных подмен и жестоко мстит за них.

**В. С. Розов**

(драматург; Москва)

1. С произведениями Достоевского я познакомился в возрасте 19—20 лет, когда жил в Костроме. В доме, что был напротив нашего, жил мой друг, отец которого был преподавателем русского языка и литературы. У них была порядочная библиотека, к которой я имел доступ. Тома Достоевского были в прекрасных переплетках, поблескивающих золотом. Я перенес к себе один том и прочел «Маленького героя». Вещь понравилась, видимо оттого, что была внутренне близка мне. И я начал читать все подряд. При чтении «Братьев Карамазовых» я прерывал чтение, кладя книгу на стол, и скакал по комнате от восторга. Позднее я понял, что восторг этот был от соприкосновения с гением. И снова почти все было «про меня». «Зосиму» осиливал с трудом и, кажется, пропускал. А «Великого инквизитора» не понял. Да и сейчас не все в нем понимаю.

2. Конечно, если так поразил в юности. Он же зовет на те высоты духа, где дух захватывает.

3. «Братья Карамазовы» — там есть все.

4. Не люблю расставлять по ранжирам, особенно гениев — это бессовестно.

5. Духовность, совесть, жертвенность. Чисто творческие: микельанджеловское ваение образов, языковой темперамент, авторское бесстрашие.

**С. М. Слонимский**

(композитор; Ленинград)

Достоевский оказал огромное влияние на современную музыку. Величайшие композиторы-симфонисты XX в. — Малер и Шостакович, несомненно, постигли психологические глубины этой необыкновенной литературы и по-своему преломили ее содержание и даже стилистику. В книгах Достоевского поражает непредсказуемость душевных движений героев, многомерность их психологии, сложнейшее развитие характеров (а развитие — одна из основ музыки, в особенности симфонической), органичное включение в художественную концепцию основных вопросов бытия, уникальное сплетение макро- и микромира человека и вселенной.

В молодости, естественно, я увлекался романтическими «Белыми ночами». Позже страшным в своей реальности фантомом предстали «Бесы», в которых так много предсказано искривлений человеческой души и опустошающих «теорий», ставших жестокой опасностью для мира в периоды фашизма и распространения за рубежом различного рода человеконенавистнических, левозкстремистских идей.

И все же самое ценное у Достоевского — это лейтмотив со-вести, упорный и неистребимый, звучащий глубоко внутри всей ткани каждого его произведения, в глубине души многих героев — страдающих, мятущихся, борющихся, ищущих правду. Эта высоко нравственная тема справедливости, неподдельного сочувствия и сострадания, но также и гордости за человека, за силу и широту его души — вот что особенно вдохновляет читателя его книг. В книгах этих нет «учительства», дидактики от автора, философский диалог ведется через прямую речь и внутренние монологи героев разных и отнюдь не «голубых». Так что и читателю приходится включаться в этот жгучий спор о самых животрепещущих проблемах человеческой жизни. Достоевский никогда не «вещает», не принимает позы пророка, его язык беспокоен и сложен, как сама жизнь, как сама истина.

Вот почему, как мне представляется, вникать в произведения Достоевского так трудно и так необходимо.



# НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ТЕКСТЫ ДОСТОЕВСКОГО



## «БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ». ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ (Публикация Т. И. Орнатской)

«1»

- Я сама хочу спать — того нужнее.
- Зачем писем не распечатываете.

Ив<ан> Фед<орови>ч. Вот мое мнение о христианстве.  
Алеша: И ты тоже.

Ложесна разверз.

Очень не буду тужить.  
Не хочу ни за что тужить

«2»

Души проклинающие бога  
Портрет вековечный  
Tu es un riche

«3»

Необыкновенное свойство не хотеть ждать

Он тоже с низкими целями приходил. О [все] они, все они таковы, все до единого

А коль никакого обмана не будет, то и еще 40 т<ысяч> донесу

Чрезвычайная важность каждой новой строки или наброска, отражающих ту или иную стадию работы над «Братьями Карамазовыми», объясняется незначительным (по сравнению с другими романами) количеством известных на сегодняшний день рукописных текстов этого романа. Публикуемые выше впервые наброски не меняют общей картины, предложенной в 15-м томе академического издания, творческой истории романа, а лишь в какой-то мере дополняют ее, подтверждая тот вывод, что почти все они нашли отражение в окончательном тексте романа и, как правило, предшествовали переходу к последовательному связному повествованию (15, 413, 605).

Первый набросок (<1>) состоит из четырех записей. Он относится ко второй части романа — к различным главам четвертой и пятой книг. Датируется концом ноября 1878 г. (он сделан на конверте письма В. С. Соловьева к Достоевскому от 26 ноября 1878 г. — ГБЛ, ф. 93, П.8.12 об.), что несколько расширяет ранее обозначенные рамки работы над этой частью романа (см.: 15, 421).

Первая строка отразилась в конце главы IV «У Хохлаковых» книги четвертой «Надрывы», в сцене Алеши, Лизы и госпожи Хохлаковой («А я спать хочу, я всю ночь не спала ∞ А ведь в самом деле она, может быть, при вас спать захотела» — 14, 168—169), вторая — в главе I «Сговор» книги пятой «Pro и contra», в сцене Лизы и Алеши («... и знайте еще, что я все письма ваши буду распечатывать...» — 14, 200). Две следующие строки — диалог Ивана и Алеши — реализовались в главе III «Братья знакомятся» той же книги (14, 213—241). Фраза «ложесна разверз» вложена в уста Смердякова, повторяющего «библиизм» Григория («П. Смердяков с гитарой» — 14, 204); в исполняемый Смердяковым «романс» вошли и несколько измененные заключительные фразы наброска (14, 206).

Следующий набросок (<2>) соотносится с книгой шестой «Русский иннок»; обнаруживается он в главе III «Из бесед и поучений старца Зосимы» и датируется концом апреля 1879 г. (по местонахождению на странице газеты «Новое время» за 21 апреля 1879 г. — ГБЛ, ф. 93.1.3.65), что также расширяет хронологические рамки работы над шестой книгой (ср.: 15, 425). Набросок состоит всего из трех фраз: «Души проклинающие бога», «Портрет вековечный» и «Tu es un riche».<sup>1</sup> Причем они, в отличие от приведенных выше, не являются «заготовками» будущих фраз или диалогов. Это скорее всего темы будущей главы. В самом деле, первая фраза переросла в целое «мистическое рассуждение» старца Зосимы «О аде и адском огне...» (15, 292—293); вторая отразилась лишь в первоначальных набросках к главе «Великий инквизитор» (15, 231: «А потому прими бога, тем более что это вековечный старый боженка и его не репишь...»).

Со второй частью романа соотносится и третий набросок (<3>) из трех записей, содержащийся на конверте письма В. Ф. Пуцыковича Достоевскому от 9 марта 1879 г. (ИРЛИ, ф. 100, № 29828).<sup>2</sup>

В отличие от предыдущих отрывков эти наброски не отразились в окончательном тексте романа, хотя и по времени написания (на ближайшем письме Пуцыковича от 23 мая (4 июля) 1879 г. есть еще набросок к «Братьям Карамазовым») и по тональности они явно связаны с ним (кстати, ведь и не все известные черновые рукописи романа нашли отражение в дефинитивном тексте). Лишь последняя фраза соотносится с одним из черновых отрывков (тоже не отразившимся в окончательном тексте), в котором речь идет «об 40 000 отцовских денег» (15, 230).

В заключение остановимся еще на двух набросках, являющихся непосредственными «заготовками» к роману.

Первый из них ошибочно опубликован в разделе «Наброски и планы 1874—1879» под номером <3> (17, 14). Он связан со второй книгой первой части романа и представляет собою единственный след работы над главой VII «Семьярист-карьерист».

Первая строка наброска: «Столкнулись трое лбами» — в несколько измененном виде вложена в уста Ракигина, объясняющего Алеше, что в его семье «может столкновение произойти уголовное»: «Состыкнулись

<sup>1</sup> «Ты богат» (франц.).

<sup>2</sup> Они воспроизведены в книге «Описание рукописей Достоевского» (М., 1957, с. 465) без разделения на выдержанные в автографе отдельные части и с неверным чтением последних слов: «40 <руб.> дохесу» вместо «40 <тысяч> дохесу».

трое лбами, а ты, пожалуй, четвертый» (14, 74 и 75). Забыл ли Достоевский, что уже употребил это выражение, или он придавал ему особое, ключевое значение — неясно, но он еще раз ввел его в роман. На этот раз Митя, убеждая купца Самсонова дать ему три тысячи, говорит: «... тут трое сестукнулись лбами...» (14, 335). Следы второй строчки наброска («Да я и не думал думать») обнаруживаются в этой же главе, несколько выше, в разговоре Ракитина с Алешей о том же ожидающем семью преступлении («Что ты? Да неужто и ты уж думал? — вскричал он. — Я... я не то чтобы думал, мне и показалось, что я про это сам думал» — 14, 73; ср. также: 15, 263: «Алеша»: Я и думать забыл»). И наконец, третья фраза — «Все это старая музыка» — буквально произнесена Ракиным на этих же страницах романа: «Все это, брат, старая музыка» (14, 74). К третьей части романа относятся еще два наброска, ошибочно включенные в тот же раздел «Наброски...» под номером «2» (см.: 17, 13).

Первый из них («Какова я собою, чтобы все устроилось») представляет собою часть монолога Грушеньки, обращенного к Ракину (глава III «Луковка» — 14, 322—323; ср. также: 15, 262). Второй («Поглядела на него и удивилась»<sup>3</sup> — Я ведь только для того, чтоб не вышел скандал, так как это дело, так сказать, семейное») является одной из ранних разработок главы V «Внезапное решение» книги восьмой «Митя» и главы I «Начало карьеры чиновника Перхотина», открывающей книгу девятую «Предварительное следствие» (подробно о работе над этой главой см.: 15, 433). В этих главах мечущийся по городу Петр Ильич Перхотин боится «надевать» скандала и, размышляя об этом, врывается в дом купчихи Морозовой к Фене (14, 369, 401—402).

---

<sup>3</sup> В 17-м томе ошибочно: «Поглядела на него с удивлением» (17, 13).

**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО  
К Ю. И. ВОЛЬФРАМУ  
(Публикация Г. М. Фридендера)**

Милостивейший государь!

Согласно Вашему желанию я распорядился высылкой на комиссию в Ваш магазин моих сочинений в следующем количестве:

Один экземпляр	«Дневника писателя» на 1876	—	2 р. 50
Один экземпляр	«Дневника писателя» на 1877	—	2 р. 50
Три экземпляра	романа «Бесы» по 3 р. 50 на		10 р. 50
Три экземпляра	романа «Идиот» по 3 р. 50 на		10 р. 50
Два экземпляра	«Записки из Мертвого» дома по 2 р. на		4 р.
Два экземпляра	«Преступления и наказания» по 3 р. 50	—	7 р.
1 <й>	№ «Дневника» на 1877		— 25

---

Всего на сумму

37 руб. 25

Уступка 25%

Я буду Вас покорнейше просить выслать мне комиссионную квитанцию Вашего магазина на эти книги по следующему летнему моему адресу: г. Старая Русса, Новгородской губернии, собственный дом, Федору Михайловичу Достоевскому.

С искренним почтением имею честь быть  
Вашим покорным слугой

Федор Достоевский

Расчет по Вашему усмотрению, но непременно раз в год по числу проданных экземпляров.

<Адрес:> Псковскому книгопродавцу Юлию Ивановичу Вольфраму в г. Пскове.

Печатается по ксерокопии с подлинника письма, хранящегося в Публичной библиотеке Базельского университета (Швейцария, г. Базель, собрание автографов Гейли-Хагенбах, № 1568). Пользуюсь случаем поблагодарить заведующего рукописным отделением названной библиотеки г. Г. Риндлисбахера за предоставление Редакции Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского и Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина ксерокопий с подлинника письма с приложением его архивного описания.

Датируется первой половиной 1878 г.

Письмо написано рукою А. Г. Достоевской. Подлинник — сложенный вдвое лист бумаги величиною 277×185 мм. На первой странице — текст письма, а на четвертой (т. е. на обороте второго полулиста) — адрес, написанный рукою Достоевского. В верхней части первой страницы — выше текста письма — цифровые расчеты суммы причитающегося книгопродавцу за комиссию процента (рукою Вольфрама) и архивные пометы.

Адресат письма Ю. И. Вольфрам — владелец книжного магазина в Пскове, у которого в 1876 г. возникли деловые отношения с Достоевским как издателем «Дневника писателя». В Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР хранится его письмо (открытка), отражающая характер этих отношений (ИРЛИ, № 29963). Вот его полный текст:

«Книжный магазин Ю. Вольфрама.

Псков. 4 мая 1877.

Прошу покорнейше выслать 15 экземпляров «Дневника писателя» за апрель на розничную продажу, говорят, что уже вышел. Затем не получал 2 «экземпляра» «Дневника писателя» за март для моих подписчиков

Ваш покорнейший слуга Ю. Вольфрам»

На обороте: «В редакцию „Дневника писателя“ в С.-Петербурге».

# СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ



В. П. ВЛАДИМИРЦЕВ

## ОПЫТ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ К РОМАНУ «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

Автор первой статьи на тему «Достоевский и фольклор» Н. К. Пиксанов опасался, что сближение творчества писателя с устной народной поэзией «покажется неожиданным и парадоксальным».<sup>1</sup> Опасение не было напрасным: минули десятилетия, прежде чем проблема, поставленная ученым, вошла в историко-литературную науку о Достоевском. Пока сделаны первые, хотя и обнадеживающие шаги.<sup>2</sup>

Представляется полезным составление фольклорно-этнографического комментария к произведениям Достоевского. Этот жанр литературоведения, распространенный за рубежом, не получил

---

<sup>1</sup> Пиксанов Н. К. Достоевский и фольклор. — Советская этнография, 1934, № 1—2, с. 152.

<sup>2</sup> Из литературы вопроса см.: Gibian G. Dostoevskij's Use of Russian Folklore. — Journal of American Folklore, 1956, vol. 69, p. 239—253 (см. рецензию: Владимирцев В. П. Journal of American Folklore (США) о поэтике фольклорных отражений в художественной литературе (1956—1970 гг.). — В кн.: Русский фольклор, т. XIV. Л., 1974, с. 291—295); Мисюрев А. Достоевский и народное творчество (в годы каторги). — Сибирские огни, 1971, № 11, с. 177—183; Ветловская В. Е. 1) Литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых» (Жизне Алексея человека божия и духовный стих о нем). — В кн.: Достоевский и русские писатели. М., 1971, с. 325—354; 2) Символика чисел в «Братьях Карамазовых». — ТОДРЛ, т. XXVI. Л., 1971, с. 139—150; 3) Достоевский и поэтический мир Древней Руси. (Литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых»). — ТОДРЛ, т. XXVIII. Л., 1974, с. 129—141; Лотман Л. М. Роман Достоевского и русская легенда. — Русская литература, 1972, № 2, с. 129—141; Владимирцев В. П. Пословичный фольклор в творчестве Достоевского 40-х годов («Бедные люди», «Двойник»). — В кн.: Проблемы идейно-эстетического анализа художественной литературы в вузовских курсах в свете решений XXIV съезда КПСС. М., 1972, с. 150—152; Топоров В. Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления («Преступление и наказание»). — В кн.: Structure of Texts and Semiotics of Culture. Hague—Paris, 1973, с. 225—302.

у нас развития, хотя его разумное использование было бы плодотворным.<sup>3</sup>

Сложность проблемы очевидна. Фольклорно-этнографические воздействия на художественный мир Достоевского были неравномерными, функционально неоднозначными и — при обязательной в каждом случае психологической мотивации — не имели самодовлеющего значения. Это затрудняет их выявление (с опорой на источники или соответствия) и поэтико-смысловую расшифровку. Отсюда дробность и непоследовательность в изучении фольклоризма писателя. Между тем ни мозаичным, ни «фрагментарным» художественный фольклоризм Достоевского не был. Как живое и внутренне целостное явление, он развивался в соответствии с общей идейно-эстетической эволюцией художника.

При должном внимании исследователей к этнографическим и фольклорным материалам так называемой Сибирской тетради и «Записок из Мертвого дома», а также к их использованию в последующих произведениях Достоевского остается незатронутым вопрос, мимо которого нельзя пройти, не нарушив принципа историзма: как предшествующее литературное развитие писателя подготавливало и предопределяло его занятия народным творчеством в омской каторжной тюрьме? Дают ли ранние произведения Достоевского основание утверждать, что в остроге он не начинал, а продолжал творческое общение с фольклором?

С этой точки зрения интересен уже литературный дебют Достоевского — «Бедные люди». Это, по словам Белинского, первая попытка у нас создания социального романа из жизни города.<sup>4</sup> Смысл этих определений будет полнее, если учесть «демографию» романа. Со страниц 55 писем Девушкина и Доброселовой встает панорама Петербурга, города с полумиллионным в ту пору населением, отличающимся этнографической пестротой. Современную Достоевскому Россию представляют здесь столичные и общерусские лица: «артель работников испачканных»; рабочие-артельщики и пьяные мужики на Фонтанке; мастеровой-сапожник («у него <...> дети пищат и жена голодная»); чахлый и испитой слесарский ученик «с замком в руке»; каретники; извозчики ломовые и лихачи; крестьяне, рыбаки и жнецы; девушки-крестьянки; старая няня; дети-сироты; дети-нищие, собирающие милостыню по «запискам»; «маленький», большой скарлатинной; ребята, которых секут в школах; «человек без должности»; разного рода бедные постояльцы и жильцы; нищие; старуха-пошлепница; вышивальщицы и белошвейки; вязальщица; прядильщица; слуги, служанки, кухарки, горничные, прачки; молочница; мещанки; бабы-чухонки; дворники; странница-богомолка; торговки «мокрыми пряниками» и «гнилыми яблоками», расположившиеся

---

<sup>3</sup> См. об этом: Владимирцев В. П. *Folklore of Shakespeare*. Ву Т. Е. Thiselton Dyer. — В кн.: *Русский фольклор*, т. XIX. Л., 1979, с. 212—214.

<sup>4</sup> См.: Анненков П. В. *Литературные воспоминания*. М., 1962, с. 282.

на мостах; департаментские сторожа; беспаспортный бродяга; отставной солдат; уличные мальчишки; шарманщик; бедный студент, живущий уроками; лакеи при эполегах и шпаге; камердинеры; гувернантки; учитель-англичанин; немецкие булочники с Гороховой; парфюмер-француз; доктор; «брильянщик»; «хорошие писцы»; писарь, просящий на водку; чиновники разных классов; сводница, соблазнитель, содержанки; отцы, матери и дети; бабушка и внучка; подставной муж; внебрачный сын; «актриска»; любитель чижиков; пьяницы, картежники; помещицы и купчихи; будочники; офицеры армии и флота; гостинодворские букинисты; литераторы; хозяйка домов, комнат, «углов»; держатели пансионов; владельцы модных магазинов; процентщики-ростовщики; купец, «который сплутовал подрядом с казною»; приказчики; управляющие; помещики; превосходительные начальники; «богатейшее лицо» из «позлащенных палат»; генералы, княжны, знатные дамы, графы... и т. д. (1, 20, 77, 80, 85, 88, 89, 90 и др.).

В романе присутствуют или упоминаются (как «внесценические») представители около ста пятидесяти сословно-классовых, всевозможных бытовых и профессионально-трудовых групп и прослоек: трудящиеся и эксплуатируемые массы города и деревни, «мужичье», всякого рода пролетаризованные и деклассированные горожане, ремесленники, мещане, разночинская интеллигенция, чиновники, расставленные по табели о рангах, захудалое и преуспевающее дворянство, помещики, торговцы и ростовщики, царская армия, полиция, сановная бюрократия. Многие из них повторяются и варьируются, еще более уплотняя «населенность» произведения.

Одновременно зафиксировано великое множество культурно-бытовых ситуаций и подробностей эпохи.<sup>5</sup> Можно выделить социально-этнографические ряды, которые влияют на внутритуристические связи романа, способствуют образованию основных и вспомогательных сюжетобразующих ходов и сцеплений: собственно фольклорный ряд (рассказывание и слушание сказок, театр уличного шарманщика, посиделки и др.), ритуально-бытовой (отдельные звенья обрядовых комплексов — погребального, поминального, свадебного, связанного с днем рождения, игры и т. п.), культовый, определяемый религиозно-бытовой традицией, и хозяйственно-культурный (вязание на спицах, прядение, вышивание, в том числе тамбуром и гладью, шитье, переписывание, цветоводство, ювелирное дело, пряничный промысел и т. д.). Среди этнографических реалий, вошедших в роман на правах художественного материала, есть и редкостные, например обычай собирать подавание по «записке», представляющей собой один из

---

<sup>5</sup> На этом основании «Бедные люди» приведены как этнографический источник в кн.: Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города. М., 1978, с. 49.



видов городского народного красноречия.<sup>6</sup> Характерен обычай встречаться (род свиданий) в церкви «по воскресеньям у обедни», на всенощной и т. п. (1, 55, 102).

Этнографизм в «Бедных людях» не щедрая дань литературной моде — «физиологическому» очерку 40-х годов<sup>7</sup> и не бытовое наполнение сюжета, но условие социально-психологического анализа. Двойственная сущность Петербурга, города бедности и роскоши, раскрыта в романе через собственную речь «бедных людей». Новшество было в том, что Достоевский поместил петербургский мир в сознание «маленького человека» (1, 17). «Очеловеченные» отклики (впечатления) на «вседневный, подлый быт» (1, 63) столицы помогают понять душевную жизнь Девушкина, сосредоточенную на самых «болевых точках» эпохи. В. Н. Майков, который поверял роман Достоевского жизнью, проникательно заметил, что для автора «Бедных людей» и «Двойника» «самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума».<sup>8</sup> Чем пестрей и противоречивей общественный быт, отражающийся в самосознании Макара Алексеевича и Вареньки, тем углубленнее и сложнее психологический анализ русской действительности в романе. Думается, нет оснований для того, чтобы расщеплять или даже противопоставлять «достоверность психологическую» и «бытовую, этнографическую»,<sup>9</sup> ибо одно явно вдохновляется и поддерживается другим.

Чем детерминированы фольклорные отражения в романе «Бедные люди»? Разумеется, не просто реалистически воспроизведенным бытом. Задача, которая особенно занимала Достоевского, сводилась к тому, чтобы «не показывать» «рожи сочинителя» и объективировать тот художественный факт, что в романе-эпистолярии «говорит Девушкин», а не автор, «и что Девушкин иначе и говорить не может» (П., I, 86). Добавим: «говорит» еще и его корреспондентка Варенька. На избыточную «говорливость» как на свойство стиливого рисунка «Бедных людей» указывал Гоголь.<sup>10</sup>

Существует внутренняя связь между «говорливостью» корреспондентов и фольклоризмом произведения. Уже современники заметили сделанный Достоевским упор на устную, живую речь, стилистику городского бытового просторечия, формы простонародного языка. Один из рецензентов писал со знанием дела, что «на-

<sup>6</sup> В 1846 г. авторы рассказа «Как опасно предаваться честолюбивым снам» воспользовались этим этнографическим материалом — правда, в ином художественном ключе (1, 323—324). См. также: Картинки русских нравов. СПб., 1842, с. 15, 17.

<sup>7</sup> В течение десятилетия (с 1839 по 1848 г.) вышло в свет не менее 700 физиологических очерков (см.: Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе (русский физиологический очерк). М., 1965, с. 98).

<sup>8</sup> Майков В. Н. Соч., т. I. Киев, 1901, с. 207.

<sup>9</sup> Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе. М., 1965, с. 223.

<sup>10</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. XIII. М., 1952, с. 66.

стоящая, неподражаемая, неподдельная простота» языка Доброселовой и Девушкина доходит «до патриархальности ежедневных сплетнических бесед Песков или Петербургской стороны».<sup>11</sup> Действительно, Макар Алексеевич и Варенька думают и говорят как истинные представители разночинского «пролетариата столицы»,<sup>12</sup> и фольклоризм эпохи отражается в их письмах примерно в той же степени, в какой он был свойствен этой социальной среде.

Не надо забывать, что венценосный Петербург и к середине XIX в. оставался в значительной мере «народным» городом. В 1832 г. на долю крестьян, дворовых людей, цеховых здесь приходилась половина населения; по переписи 1864 г., «главную массу населения составляют крестьяне, за ними следуют мещане <...> Грамотные жители столицы составляли 53% общего населения».<sup>13</sup> Этот низовой Петербург и был для автора «Бедных людей» главным этнографическим источником.

Достоевский отводит роль хранителей и продолжателей устно-поэтических традиций демократическим или близким к ним персонажам, даже если они сюжетно не вполне раскрыты. Такую художественную нагрузку несут бывшая квартирная хозяйка Девушкина, бродячий шарманщик, петербургские крестьяне и мещане, старая няня Ульяна, крестьяне деревни, где жила семья Доброселовых, наконец, сам Макар Алексеевич и Варенька.

В какие отношения к фольклору писатель ставит своих героев, живущих в крупнейшем городе России?

Те, кто изучал роман «Бедные люди», не обратили достаточного внимания на петербургскую сказочницу, у которой квартировал Девушкин. Между тем «старушка», как ее называет бывший постоялец, — лицо примечательное. Она промышляла ручным вязанием одеял на спицах, но в памяти Макара осталась прежде всего как мастерица сказки сказывать. «И какие сказки то были! Не то что дитя, и толковый и умный человек заслушается. Чего! сам я, бывало, закурю трубочку, да так заслушаюсь, что и про дело забуду. А дитя-то <...> призадумается <...> чуть страшная сказка, так и жметя к старушке» (1, 20). Старая вязальщица исторически и социально сродни тем петербургским старухам и торговкам, которых «брали с площадей» в императорские покои для рассказывания сказок царствующей особе.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Библиотека для чтения, 1846, т. 75, отд. V, с. 34. Имелось в виду, что Пески и Петербургская сторона — наиболее демократичные и «деревенские» районы столицы.

<sup>12</sup> См.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. I. М., 1964, с. 116.

<sup>13</sup> Башуцкий А. Панорама С.-Петербурга, ч. II. СПб., 1834, с. 84. См. также: Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской империи, т. VI. СПб., 1868, с. 451.

<sup>14</sup> См.: Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. Изд. 2-е. СПб., 1889, с. 78.

В обществе «старушки» Девушкин «хорошо» прожил «чуть ли не двадцать лет»: «...огонь-то мы с нею вместе держали, так за одним столом и работали». Надо полагать, столь длительное совместное житье-бытье отразилось на духовном облике Макара Алексеевича, обогатило и развило его «слог». Такие фольклорные иллюстрации в письме Девушкина от 5 сентября, как сказка об Иванушке-дурачке или народно-поэтический мотив вороны-судьбы, могли быть восприняты из рассказов хозяйки.

Не менее примечательно другое эпизодическое лицо — шарманщик, встреченный Макаром на Гороховой. Он «расположился перед чьими-то окнами», чтобы дать незамысловатое музыкально-кукольное представление (1, 86, 87). Тут же случайные зрители — сам Макар Алексеевич, извозчики, «девка какая-то», полунищие дети. Слушают музыку, смотрят, «как у немца куклы танцуют» — в «ящичке с огородочкой» «представлен француз, танцующий с дамами».

Весной 1842 г. на квартире Достоевского его товарищ по Инженерному училищу художник К. А. Трутовский нарисовал шарманщика, по всей видимости с натуры. Достоевские дорожили этим рисунком, хранили его у себя.<sup>15</sup> Осенью 1844 г. Д. В. Григорович читал Достоевскому, уже работавшему над «Бедными людьми», рукопись очерка «Петербургские шарманщики», после чего состоялось обсуждение прочитанного.<sup>16</sup> Эти факты, вероятно, определенным образом повлияли на творческую мысль молодого Достоевского. В 40-е годы он дважды обращался к теме шарманщика, не допустив самоповторений: в «Бедных людях» его внимание обращено на психологию восприятия эпизода с шарманщиком, в «Господине Прохарчине» набросана сжатая до одной фразы (сложное сравнение в духе поэтики Гоголя) характеристика развития сюжета и действующих лиц народной кукольной комедии, которая давалась оборванными артистами-шарманщиками Петербурга (1, 251—252). Спустя много лет, в «Преступлении и наказании», писатель еще раз вернется к этой фольклорно-этнографической теме, чтобы полнее раскрыть заложенные в ней драматические возможности.

Сначала в «записках», далее в письмах Вареньки троекратно появляется образ доброселовской «старушки няни» из крепостных крестьянок — Ульяны Фроловны.<sup>17</sup> Как ни скупы сведения о ней, это не мешает причислить ее к классическому типу народных рассказчиц, имевших большое нравственное и художественное влияние на окружающих (историко-типологическая линия

<sup>15</sup> См.: Достоевский А. М. Воспоминания. Л., 1930, с. 127.

<sup>16</sup> См.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961, с. 84—85.

<sup>17</sup> Этот образ не лишен автобиографизма. Няня и ключница в отчем доме Достоевских — Алена Фроловна была небесталанной сказочницей: «всегда как рассказывала такие славные сказки!» — вспоминал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 г. (22, 112).

в русской литературе — от няни Пушкина до горьковской Акулины Кашириной). «Няньны сказки» (1, 28) глубоко запали в душу Вареньки. Подобно сказкам петербургской «старушки» они рассказывались и слушались не днем, а вечерами, в темное время, как того требовали неписанные правила народной эстетики: «...раздадут нам, всем детям, работу: горох или мак шелушить. Сырые дрова трещат в печи <...> старая няня Ульяна рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом... чу! шум! как будто кто-то стучит! Ничего не бывало; это гудит самопрялка у старой Фроловны; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; находят такие страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета дрогнешь под одеялом» (1, 84).

Среди тех, кто олицетворяет собой устную повествовательную традицию городского (мещанского) простонародья, в романе названа Федора, квартирная хозяйка Доброселовой, прирабатывающая шитьем и вышиванием. Письма Вареньки полны указаний на «говорливость» Федоры. «Приходите ко мне <...> Федора о своих богомольных странствованиях рассказывать будет», — с таким «душеспасительным» предложением обращается Варенька к «пьянице» Макару Алексеичу (1, 80—81). Рассказы странников о подвижнических хождениях к «святым местам» были неотъемлемой частью фольклорной прозы. Читателю неизвестно, какой мерой таланта наделена рассказчица Федора, но ее причастность к этой группе «христовых людей» не вызывает сомнений. В рассказах Федоры о «богомольных странствованиях» Варенька нашла особые достоинства — иначе она не стала бы увлекать Девушкина возможностью послушать их. Тема странничества-богомольщины вошла в творчество Достоевского вместе с образом Федоры (не случайно это имя переводится с греческого как «божедар») и наиболее глубокое звучание получила в романе «Подросток», в образе Макара Долгорукого.

В демографическом списке романа есть петербургская крестьянка или мещанка, которая «причитает про нелегкое». На Выборгской стороне в доме ростовщика Маркова Девушкин впотьмах у порога «споткнулся об какую-то бабу, а баба молоко из подойника в кувшины цедила и все молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба, — дескать, куда ты, батюшка, лезешь, чего тебе надо? да и пошла причитать про нелегкое» (1, 77—78). Речитативное оплакивание беды, принесенной «нелегким»,<sup>18</sup> — женская плачеобразная импровизация, традиционное бытовое непохоронное причитание.

В первопечатном тексте имелась беглая деталь, касавшаяся песенного обихода русской деревни. Варенька вспоминает, как

<sup>18</sup> По Далю, «нелегкая сила» — нечистая, недобрая, нечистая, вражеская, бесовская (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка, т. II. М., 1955, с. 522).

крестьянин при окончании осенних работ «весело запевал свою бесконечную песню» (1, 444). Так Варенька, угнетенная петербургскими невзгодами, противопоставляет город деревне: обобщенная фигура весело поющего крестьянина не характерна для столичной «толпы новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых» (1, 27). Впоследствии, почти через 20 лет, готовя роман для Полного собрания сочинений в издании Ф. Стелловского, Достоевский снял эту деталь, по всей вероятности как пасторально-буколическую.

Сходным путем, через воспоминания Вареньки о деревенской жизни, роман дает и другую календарно-бытовую зарисовку: «Я так любила осень — позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки...» (1, 83). У В. И. Даля говорится: «*Посиделки* <...> сборище крестьянской молодежи, по осенним и зимним ночам, под видом рукоделья, пряжи, а более для рассказней, забав и песен <...> Вообще *посиделки* начинаются с летопроводца (с 1 сентяб<sup>р</sup>я), сменяя собою хороводы».<sup>19</sup>

Первоначально посиделки соотносились в том же письме от 3 сентября с такой этнографической подробностью: «...оттого (перед этим Варенька идилично писала о крестьянском благоденствии, — В. В.) по вечерам и не умолкают звонкие песни деvушек и хороводные игры» (1, 449).

Осенние (семянские, капустинские, покровские) хороводы, игры, посиделки и их песенное сопровождение — обычным по тем временам обстоятельством сельской жизни. И хотя они получили опосредованное отражение в романе, их роль несводима к формально-бытовому иллюстраторству. Героиня Достоевского идеализирует крепостную деревню не только по наивности, но главным образом потому, что испытывает ужас перед кошмарами большого европеизированного города. Наконец, она совершенно права в том, что мир народности, выражаемый сказкой, песней или хороводом, прекрасен. Это объясняет, почему ценны едва намеченные образы крестьян в «записках»-воспоминаниях и письмах Доброселовой: именно здесь, внизу, в гуще народа находятся животворные истоки исконной художественной и этической культуры, воздействие которой испытывает героиня. Здесь есть точки соприкосновения с характерологией Татьяны Лариной.

Своеобразным носителем и хранителем фольклорных традиций выведено в романе мелкое и беднейшее чиновничество, «труженики канцелярии, поденщики бюрократии».<sup>20</sup> В «говорливости» Девушкина, «величайшего болтуна из всех возможных титулярных советников на свете»,<sup>21</sup> дают о себе знать устнопоэтические навыки и интонации «петербургской России». Фольк-

<sup>19</sup> Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка, т. III, с. 328—329 («Посажать»).

<sup>20</sup> Герцен А. И. Собр. соч., т. II. М., 1955, с. 40.

<sup>21</sup> Библиотека для чтения, 1846, т. 75, отд. V, с. 31.

лорные отражения в его письмах очень разнообразны, но объединены тем, что передают содержание внутренней жизни Макара Алексеевича. Не утраченный с годами интерес к «старушке»-сказочнице, пытливый взгляд, остановленный на шарманщике и его зрителях, раздумья о судьбе, стремление постигнуть смысл образа Иванушки-дурачка, склонность к пословице и поговорке, народно-поэтическому слогу, обращение к стилю плачей — основные житейско-психологические формы, в которых воплощается бытовой фольклоризм Девушкина.

В ряду персонажей — носителей фольклора находится и Варенька. Она питает симпатии к фольклоризованному крестьянскому быту, его обрядам. Благодаря ее впечатлительности и «говорливости» в роман проникают данные о «страшных сказках» — быличках и психологии их восприятия, о песнях и пении, игрищах и хороводах, посиделках и страннических рассказах. Но связи Вареньки с народной поэзией все-таки глубже, чем могут показаться с первого взгляда. «Федора продает ковер, который я вышила; дают пятьдесят рублей ассигнациями» (1, 55). Судя по этому, Варенька владела искусством ручной вышивки. Творчество подобных ей мастериц-вышивальщиц «протекло в рамках выработанных народом художественно-декоративных традиций». <sup>22</sup> Чтобы в домашних условиях вышить на пальцах ковер стоимостью в пятьдесят рублей, Вареньке нужно было знать не только технику, но и «поэтику» русского народного художественного шитья.

Итак, в романе даны живые для той эпохи типы — лица, выступающие в той либо другой форме как выразители современной им народно-поэтической традиции. Чаще этой роли удостоиваются женщины. Лишь Макар Алексеевич и его корреспондентка действуют самостоятельно, остальные — только как персонажи их писем. Это наложило отпечаток на отбор и претворение фольклорно-этнографических материалов.

Для Достоевского фольклор — это еще один «голос» действительности, и он чутко прислушивался к нему. Воспользовавшись преимуществами эпистолярно-диалогического романа, писатель наделил главных героев правом независимо, из внутренней потребности откликаться на различные «сигналы» из мира устной народной поэзии. Важно, какую эмоционально-смысловую окраску приобретает фольклор в сознании Девушкина и Вареньки.

В их письмах так или иначе охарактеризованы многие жанры и виды народно-поэтического творчества. В области прозы — это традиционные сказки, некий сюжет об Иванушке-дурачке, бывальщины и былички, страннические рассказы о богомольных скитаниях, предания «про старое время». Несколько особняком стоят кукольно-музыкальный спектакль шарманщика, «хоровод-

---

<sup>22</sup> Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978, с. 7.

ные игры», текст «записки» с просьбой о подавании. Читателю — современнику «Бедных людей» были понятны немногословные ссылки на крестьянские песни, звучавшие осенью в деревне, равно как и на бытовые «песенники», ходившие в городе по рукам (1, 20, 28, 41, 80—81, 84, 86, 444, 449).

Подчеркнутое значение придано пословично-поговорочному фольклору и причитаниям.

Речевой стиль Макара Девушкина, умудренного годами, естественно опирается на пословицу и поговорку: «не радость старость», «слезами горю помочь нельзя», «кажется, муха меня крылом перешибет», «хоть по пословице и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник», «по русской пословице: кто, дескать, другому яму роет, так тот... и сам туда же», «как я учился? даже и не на медные деньги», «по пословице — вырос, а ума не вынес», «жить водой не замутя, по пословице», «мне так на роду было написано, уж это, верно, судьба, — а от судьбы не убежишь», «черт с младенцем связались», «и прежде мне не было масленицы», «на нет и суда нет», «что честь, когда нечего есть» и многое другое (1, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 51, 62, 67, 70, 75, 98). Пожалуй, речь Девушкина фразеологически богаче, чем у любого из героев Достоевского вообще.

К пословично-поговорочному слою романа относится поэтика имени Макар. Герой Достоевского, соименный фольклорному герою из персонажных пословиц о фатально-незадачливом «бедном Макаре», откровенно сближен с ним.

Жизнь «бедных людей», париев петербургского общества, бесчеловечно искажена. В слезах изливают они горемычную долю, сокрушаясь и плача от бессилия перед обстоятельствами своего забытого существования. На такой социально-психологической основе в письма Макара и Вареньки вошли народные причитания. В этом сказался не только личный фольклорный опыт героев, но и их сопричастность народному восприятию действительности.

На похоронные плачи по умершему как обязательное условие бытового уклада дважды ссылается Девушкин (1, 63, 107). В письмах Вареньки звучат нотки сиротских плачей по матери. Пишет она, например, как «ходила к матушке панихиду слушать», и сбивается на причитывание: «Ах, бедная, бедная моя матушка, если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мною сделали!» (1, 25). Громкое эхо народных причетов, связанных с обрядами выдачи замуж, расставания, проводов на гибель, слышится в последних письмах Вареньки и Девушкина. Здесь многое, особенно у Макара Алексеевича, идет от фольклора: патетика отчаяния, замедленное, скованное горем движение мысли и речи, жалобная «спотыкающаяся» интонация, обилие горестных вопросов и восклицаний, насыщенность обращениями и заклятиями, единоначатия, повторы, подхватывания, эпитеты и другие элементы народной лексики, фразеологии и синтаксиса. В эти письма

следует не только вчитываться, но и вслушиваться, чтобы вполне оценить их художественную силу.

В 30—40-е годы, эпоху романа, причитания были женским жанром русского фольклора, а причитывание — обрядно-бытовой привилегией женщин. Однако заключительное письмо Девушкина сильнее отражает поэзию женских плачей, чем соответствующее письмо Вареньки. Вспомним мнение В. Г. Белинского об этом эпистолярном сочинении Макара Алексеевича: «... это слезы, рыдание, вопль, раздирающие душу!».<sup>23</sup> На фольклоризм девушкинского письма прямо указывали А. И. Белецкий («это ритм причитания, это темп плача») и В. В. Виноградов («трагический взлет похоронных плачей»)<sup>24</sup>

Сводку фольклорных материалов романа можно заключить легендой об Ивиковых журавлях (1, 59). Она легла в основу шиллеровской баллады, которая стала известна русскому читателю в переводе В. А. Жуковского. Можно предположить, что легендарный сюжет о роковом преступлении и наказании<sup>25</sup> задел воображение Девушкина, поскольку он не преминул отметить балладу Ф. Шиллера как прочитанную им. Другое дело — сам Достоевский: введя «Ивиковых журавлей» в круг чтения Макара Алексеевича, он «проговорился» о своем небезразличии к народно-поэтической истории, обратившей на себя внимание немецкой и русской поэзии.

Как видно из обзора, формы использования фольклора в «Бедных людях» различны. Здесь и беглое, элементарное упоминание, и разветвленно-сложная бытовая картина, и психологическая обработка фольклорных впечатлений; фольклорные элементы и являются принадлежностью речевого стиля, и служат для выражения эмоционального состояния души. Каждый случай фольклоризации органично входит в повествование, художественно привязан и неповторим.

По внешней логике сюжета человек-«ветошка», обитающий в Петербурге, нечаянно избирает темой для разговоров-раздумий в письмах то сказки или былички, то встречу с шарманщиком или посиделки. Но не такова внутренняя логика романа. Город вдохновляет и толкает героев на строго определенные слова и поступки. Макар и Варенька в своих прикосновениях к народной поэзии как бы отталкиваются от петербургской действительности. Что бы они ни вспоминали — сказки или звонкие песни, о чем бы ни писали — о народных зрелищах или страннических рассказах, всюду угадывается неприязнь «маленького человека» к буржуазно-дворянскому городу, «питер-

<sup>23</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1955, с. 563.

<sup>24</sup> См.: Белецкий А. Достоевский и натуральная школа в 1846 году. — Наука на Украине, 1922, № 4, с. 340; Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 186.

<sup>25</sup> См.: Яневич Ор. М. Опыт объяснения легенды об «Ивиковых журавлях». Чернигов, 1908.



щине». Подспудные антипетербургские мотивы фольклорных отражений в целом закономерно обусловлены всем гуманистическим строем произведения Достоевского.

В специальном обсуждении нуждается еще главное лицо «Бедных людей». Макар Девушкин, природа личности которого демократична, открыто соотнесен у Достоевского с народно-поэтическим характером-аналогом: «Не пришлось им по праву, так и пошло на меня <...> всё на Макара Алексеевича; они только и умели сделать, что в поговорку ввели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня поговорку и чуть ли не бранное слово сделали,— до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: всё не по ним, всё переделать пужно. И ведь это всё с незапамятных времен каждый божий день повторяется <...> Так за что же напасти такие на меня, прости господи?» (1, 47).

Только в опубликованном русском фольклоре XVIII—XIX вв. нам удалось обнаружить шестнадцать разных пословиц и поговорок, в которых употребляется имя «Макар». Их объединяет истолкование персонажа. Макар всегда простоват, смешон, ограничен, незадачлив, гоним, обездолен: «Грядет Макар к вечерне от собак в кабаки», «Нашему Макарке все огарки», «Свисти Макара на все четыре стороны» и т. п. Пословица «На бедного Макара и (все) шишки (щепки) валяются (летят)» пользовалась исключительной популярностью.<sup>26</sup> В рассказе Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью» она обыгрывается как избытый лингвофольклорный штамп.

Закрепленное устной и бытовой традицией за именем-обобщением «Макар» устойчивое значение было характерно не для одних пословиц и поговорок, но и для лубочного творчества и скоморошьего театра, устных рассказов, святочной «покойничьей игры» «Макарушка носить», прозвищного и бранного фольклора, шуточных песен, карточной игры «в Макары», детского фольклора, фразеологии («Макарку подпустить», «Макаром смотреть») и т. д.<sup>27</sup> Существовал как будто некий раздробленный «микрорэпос» о «бедных Макарах».

У Достоевского образ Макара Девушкина ориентирован на

<sup>26</sup> Иллюстров И. И. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках. Изд. 3-е, испр. и дополн. М., 1915, с. 376.

<sup>27</sup> См.: Кондратьева Т. Н. Собственные имена в пословицах, поговорках и загадках русского народа. — В кн.: Вопросы грамматики и лексикологии русского языка. Казань, 1964, с. 151—152; Зеленин Д. К. Этимологические заметки. Воронеж, 1903, с. 26; Савушкина Н. И. Русский народный театр. М., 1976, с. 42; Яцевич А. Крепостные в Петербурге. Л., 1933, с. 36; Зобнин Ф. Усть-Ницынская слобода Тюменского уезда Тобольской губернии. — Живая старина, 1898, вып. III—IV, с. 326; Можаровский А. Из жизни крестьянских детей. Этнографические материалы. Казань, 1882, с. 57, 60; Макаров М. Опыт русского народного словотолкования. — Чтения в Обществе истории древностей российских при Московском университете, 1846—1848, с. 154 (отд. оттиск). Также см.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка, т. II, с. 290 («Макар»).

фольклорную традицию, окружившую «Макаров» непривлекательной, почти дурной славой. Сближение и взаимосвязь с фольклорным прототипом углубляли жизненную и демократическую значимость образа.<sup>28</sup>

Девушкин узнает себя не только в героях «Станционного смотрителя» и «Шинели», но и в фольклорном Макаре. Сослуживцы-«зубоскалы», особенно Ефим Акимович, «такой задирала, какого и на свете не было» (1, 71, 91), «сделали» из Макара Алексеевича — разумеется, не иначе, как при помощи и по правилу карикатурных уподоблений — «половицу и чуть ли не бранное слово». Это произошло вследствие того, что Макар Девушкин именован, видом и бытием своим демонстративно напоминал «неблагообразного» фольклорного двойника. В этом суть его горьких сетований: «они только и умели сделать, что в половицу ввели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем». Девушкину претит сходство с фольклорным Макаром ничуть не меньше, чем с гоголевским Башмачкиным. Он вынужден принимать на собственный счет все глумливые остроты и насмешки, основанные на ходячих выражениях о пословично-поговорочном тезке-горемыке.

Однако Девушкин не из тех, кто безропотно и пассивно выносит унизительное обращение человека в нелицеприятную половицу-каламбур, поговорку-анекдот или «бранное слово». Он возмущается, гневно ворчит, по-своему бунтует: «...за что же напасти такие на меня, прости господи?». В этой части письма от 12 июня — одна из основных точек зрения, с которых Макар Алексеевич осуждает и отвергает привычное, обиходное, в том числе бытующее фольклорно. Протест против тупого и бездушного «омакаривания» человека в николаевскую эпоху — таков истинный смысл этих рассуждений героя.

Чуть позже, в «Двойнике», Достоевский психологически усовершенствует и разовьет этот же художественный прием — использование подсказанного фольклором имени героя в интересах реалистической петербургской характеристики и сюжетики. По-гоголевски составленный оксюморон «господин Голядкин», сама «низкая» фамилия Якова Петровича, способная принимать «уличную» форму-первообраз «Голядка» (1, 132, 212), — имеют в своем основании дразняще-прозвищные и бранные присловья и поговорки.

Как известно, антропонимия «этнографична вся полностью»,<sup>29</sup> и это свойство ее широко используется литературой. Мы не совсем, следовательно, точны, когда мотивируем выбор фамилии «Девушкин» только внеэтнографическими обстоятельствами ро-

---

<sup>28</sup> Впоследствии этот опыт Достоевского нашел продолжение в рассказе В. Г. Короленко «Сон Макара» (1883). См.: Евнин Ф. И. Достоевский и русская литература конца XIX—начала XX века. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 4. М.—Л., 1980, с. 208—214.

<sup>29</sup> Этнография имен. М., 1971, с. 3.

мана.<sup>30</sup> В фамилии Макара Алексеевича сталкиваются и переплетаются разные значения. Но крайней мере одно из них осмыслено Достоевским этнографически. Фамилию бедного титулярного советника нельзя считать чистой фикцией — она исторически и социально достоверна, принадлежит эпохе. «Родитель мой был не из дворянского звания и со всей семьей своей был беднее меня по доходу» (1, 20). Этому непосредственно соответствует «плебейская», простонародная фамилия отца и сына, Алексея и Макара Девушкиных.<sup>31</sup> Ее главная идея, возможно, связана с тем, что некий первый Девушкин (первоноситель матронимичной фамилии) был сыном безмужней и бесфамильной «девушки». Допустима условная реконструкция основополагающей вопросо-ответной модели: «Чей сын? — Девушкин».<sup>32</sup> «Девушками» называли служанок, работниц, горничных. Комнатные, дворовые, сениные и другие «девушки», обычно крепостные, прислуживали в барских домах. Прижитые ими дети получали матронимичные прозвания, которые переходили в разряд худородных фамилий, имен семей. Не подразумевает ли фамилия Девушкин понятия о таком «генеалогическом древе» Макара Алексеевича? Версия эта не лишена вероятия.

Письма Макара Девушкина, как того требует речевая жизнь этой личности, словесно демократизированы и доносят до нас живые интонации бойкого народно-петербургского говора: «Встал я сегодня таким ясным соколом — любо-весело!»; «И, святые вы мои!»; «здоровехонек, молодец молодец»; «замотался я совсем»; «на авось, так на авось!»; «мне, соломе, пьянице»; «парень — плохо не клади»; «совсем замотался»; «простуды напали, враг их возьми!» и т. д. (1, 14, 19, 61, 77, 95, 104, 105).

По обычаю своего времени Девушкин широко пользуется (в 29 письмах из 31) житейскими выражениями и оборотами, в которых отразились идеи бога и судьбы: «Прощайте, храни вас господь!»; «слава богу, что все прошло»; «денек такой на мою долю горемычную выдался»; «Этакой он, прости его господь!»;

---

<sup>30</sup> См.: Альтман М. С. Достоевский. По векам имен. Саратов, 1975, с. 12—13. Кстати, традиция психологизированного истолкования фамилии Макара Алексеевича идет еще от рецензентов «Бедных людей» (ср.: «А бедный Макар Алексеевич? Что случилось с ним, давственно добродетельным старичком, как гласит и самая фамилия его: „Девушкин“?») (Я. Я. Я. Петербургский сборник, издаваемый Н. Некрасовым. — Северная пчела, 1846, 30 января, № 25).

<sup>31</sup> В древнерусском «Ономастиконе» С. В. Веселовского (М., 1974) фамилия Девушкин уже зарегистрирована как крестьянская и, напротив, закономерно отсутствует в родословиях русской феодальной аристократии (Бычкова М. Е. Родословные книги XVI—XVII вв. как исторический источник. М., 1975).

<sup>32</sup> Ср.: «Девичий (девич) сын, дочь. Сын или дочь девушки, на вышедшей замуж» (Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров в Сибири. Составители Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров. Новосибирск, 1972, с. 61).

«Уж это, верно, мне так на роду было написано, уж это, верно, судьба, — а от судьбы не убежишь, сами знаете»; «бог вам случай послал»; «авось господь ему на душу положит»; «Ну, дай-то, господи!»; «Ну, думаю, как судьба решит»; «знать, уж мне написано так»; «Это так уже судьбою определено, и я в этом не виноват»; «Христос с вами, будьте здоровы»; «Бог видит все»; «Ах, судьба-то, судьба какая!»; «Я вас, как свет господень, любил» и т. д., вплоть до зооморфного образа «вороны-судьбы», целиком взятого из народно-поэтической орнитологии<sup>33</sup> (1, 19, 21, 25, 53, 67, 68, 71, 75, 77, 78, 82, 86, 91, 94, 99, 107).

Повествовательный смысл этой «фразеологической мифологии» имеет свою художественную логику. В эпоху создания романа реальные прототипы «бедных людей» еще не утратили способности воспринимать понятие о судьбе (боге) наивно, «по-фольклорному», непосредственно. Общество кричащего социального неравенства освящалось как официально, системой православия, так и личными предрассудками «маленького человека» в пользу авторитетности земного устройства. Приведенные фразеологизмы — не пустая речевая обрядность или дань обычаю, лишенная предметного социально-психологического наполнения. Они выражают определенное самочувствие и мироощущение. Тут нет мистического восприятия, но есть упрощение жизненной задачи «бедных»: преодоление бытия, а смирение перед ним. Оттого Макар Алексеевич «иначе и говорить не может», что его сознание, еще спутанное и примитивное, ищет и привычно находит ближайшие, приготовленные родной фольклорной и патриархально-религиозной традицией способы «мифотворческого» объяснения и смягчения социальных порядков: «я гоним судьбою», «я уж бога молю, как молю его за вас, маточка!» (1, 82, 95).

Однако Девушкин живет не иллюзиями, а реальностями. Осознание общественного неблагополучия, кризис личной жизни ведут его к пересмотру, казалось бы, неприкосновенных представлений. В последнем письме Макара уже не остается места для прежних фразеологических оборотов-сентенций в духе смиренных предрассудков той поры. Народно-поэтические влияния и акценты здесь иные, и, главное, смещены они «влево». Письмо-плач, отражая ужас и боль самого трагического момента в жизни Девушкина, поднимается до негодующе-скорбной патетики, обращенной против виновников несчастья «маленького человека». Здесь намечен мотив борьбы со своей долей, высказано желание превозмочь судьбу.

Как мы убедились, фольклорно-этнографическим компонентам принадлежит особая роль в художественной многосоставности романа «Бедные люди». Достоевский впервые обратился здесь к синтезирующему мышлению категориями и понятиями народной

---

<sup>33</sup> Сумцов Н. Ф. Ворон в народной словесности. — Этнографическое обозрение, 1890, № 1, с. 61—86.

культуры.<sup>34</sup> Это имело принципиальное значение. Отныне фольклорно-этнографическая стихия станет одним из источников реализма писателя. Она не понималась Достоевским в ограниченном, «физиологическом» смысле либо как необходимый литературе минимум бытовых реалий, «дежурных» черточек городского и сельского быта. Этнографизм и фольклоризм в «Бедных людях» глубоко социальны и психологичны, обладают конструктивным значением и нацелены на главное: их ясно различимые «голоса» вливаются в «полифоническую» критику антигуманного общественного устройства. Влияние этого опыта на все дальнейшее творчество Достоевского — от «Записок из Мертвого дома» до «Братьев Карамазовых» — было непреходящим и очень существенным.

---

<sup>34</sup> Если не считать его попыток использовать художественно-речевые средства устной поэзии для русификации переведенного им Бальзаковского романа «Евгения Гранде». О том, что Достоевский этого периода блестяще владел искусством пословицы и фразеологизма, свидетельствует его письмо к П. А. Карепину от 20 августа 1844 г. (П., IV, 246—248).

## ЭВОЛЮЦИЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО И РОМАНТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРОВ В ТВОРЧЕСТВЕ РАННЕГО ДОСТОЕВСКОГО

Уже в 40-е годы образы, созданные Достоевским, отличаются широтой социально-исторического обобщения, и значительность выраженных ими гуманистических идеалов; в его произведениях человек представляет целую духовную культуру: не только характерный для определенной среды образ жизни, склад души, но и систему этических ориентаций, моральных установок, ценностных критериев, имеющих общее значение и получивших распространение в широких слоях общества. Обратившись к традиционной теме «маленького человека», Достоевский повернул ее в новое русло: он показал, как в привычный патриархально-сентиментальный кругозор этого человека проникают новые понятия о ценностях, как появляются у него, наряду с благонамеренными сословно-чиновничьими представлениями, новые установки — либо устремленность к братству, к общей гармонии, либо «байронический комплекс». Столкновение в сознании «маленького человека» стимулов, идущих от разных типов культуры, становится источником духовного раздвоения героя.

В исследовательской литературе высказывалась мысль, что уже в романе «Бедные люди» (1846) Достоевский стремится показать иллюзорность сентиментального восприятия мира, что восторженная вера героев в добрые чувства и их чрезмерная чувствительность являются объектом авторской иронии.<sup>1</sup> Такой взгляд требует корректировки. К. И. Тюнькин справедливо определил этическую основу сентиментальной культуры как принятие мира в его исходной сути: «„Раздор с окружающим“, отпадение от мира или бегство от него (...) — все это для сентиментального сознания нехарактерно и в сущности незаконно. Такой „раздор“, если он возникает (...) тут же вызывает непереносимое желание вернуться к гармонии, к упорядоченности, „устроенности“ связей и отношений — вернуться даже в форме идиллии и иллюзии, снять противоречие».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> См., например: Кирай Д. Художественная структура ранних романов Ф. М. Достоевского. (К вопросу о разграничении позиции автора и позиции героя в романе «Бедные люди»). — *Studia slavica*, Budapest, 1968, t. 14, f. 1—4, p. 234—239.

<sup>2</sup> Тюнькин К. И. Романтическая культура и ее отражение в творчестве Ф. М. Достоевского. — В кн.: Романтизм в славянских литературах. М., 1973, с. 282—283.

Но Достоевский открывает в этой потребности «маленького человека» жить в любви и согласии с миром два противоположных начала.

Девушкин, с его болезненной амбицией, требует уважения не только к себе, но и к своему положению. Приятие мира у него означает приятие и всего существующего социального порядка, и своего места, своей ничтожной роли в этом порядке: «Крыса-то эта пользу приносит» (1, 48). Повесть Гоголя «Шинель» вызывает у него кровную обиду оттого, что в ней, как он понял, утверждалась мысль: положение Акакия Акакиевича (а значит, и его, Девушкина) недостойно человека. И в отзыве на «Шинель» Девушкин ссылается на «мировую гармонию», предусматривающую его положение как необходимое: «Всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться» (1, 61). Девушкин отстаивает право и на скудные радости «маленького человека», и на соответственное чину уважение от других. Такую «гармонию» автор не принимает и заставляет своего героя ощущать непрочность ее на каждом шагу.

Но совсем иначе потребность согласия с людьми обнаруживается у Девушкина, когда его сердце надрывается от сочувствия к Горшковым, когда его душа болит за Вареньку.

Сюжет романа — история любви, и любовь изображена как постижение человеком важнейших духовных ценностей, как перестройка его отношений с миром, появление другого, чем раньше, чувства связи с людьми. Любовь дает Девушкину настоящее, не чиновничье, понятие о самоуважении: не в том ценность его, что он тоже на месте, что «крыса-то эта нужна», а в том, что он не хуже других, что сердцем и мыслями он человек. Любовь изменяет представление Девушкина и об общем порядке. Если сначала гоголевское изображение социальных контрастов вызывало у него болезненную реакцию, то позднее (см. письмо от 5 сентября) он сам воспринимает Гороховую по-гоголевски, как мир противоречий. И Девушкин формулирует теперь другой принцип сообщества людей: мало довольствоваться уготованным тебе, «полно <...> о себе одном думать, для себя одного жить <...> оглянься кругом, не увидишь ли для своих забот предмета более благодарного, чем свои сапоги» (1, 89).

Авторская тенденция в «Бедных людях» проявляется не только в развенчании сентиментальных иллюзий, в изображении неумолимой трагической судьбы героев, но и в идеализации духовных ценностей, выстраданных ими, как культуры, имеющей общее значение. В сентиментальном складе сознания, свойственном демократической массе, Достоевский увидел духовные основы для нового сообщества людей, на социалистических началах. Принципы изображения человека в «Бедных людях» соответствовали социальной педагогике петрашевцев, которые основывали успех социалистического учения на воспитании в людях

любви и сострадания к ближнему. М. В. Буташевич-Петрашевский определял сам социализм как догмат христианской любви, ищущей практического осуществления.<sup>3</sup> А. Д. Д. Ахшарумов защищал благотворительность как средство воспитания человека в социалистическом духе.<sup>4</sup>

В творчестве Достоевского 40—50-х годов осуществляется радикальное переосмысление двух важнейших типов романтической личности, созданных европейской и русской романтической литературой: байронического героя-индивидуалиста, противопоставляющего себя миру, и универсальной личности, ищущей высшей гармонии.<sup>5</sup> Молодой Достоевский и в жизни соотносит близких ему людей романтического склада с этими литературными типами. Например, своего друга И. Н. Шидловского он характеризует как «прекрасное возвышенное создание, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир и Шиллер; но он уже готов был тогда пасть в мрачную манию характеров байроновских» (П., I, 56). В сознании Достоевского складывается антитеза байронического характера, личности «мрачно-разочарованной», гордо-эгоистической («Байрон был эгоист: его мысль о славе была ничтожна, суетна» — П., I, 51), и человека «шиллеровского склада» — альтруиста, отличающегося доверием к людям, готового добровольно принять страдания за них. Последний тип выступает в творчестве молодого Достоевского как носитель сентиментальной культуры, как мечтатель-романтик, но романтик сентиментальный.<sup>6</sup> Таковы герои повестей «Слабое сердце» и «Белые ночи» (1848). В «Слабом сердце» изображен человек, не выдержавший испытания счастьем: он не верит в свое право на счастье, так как понимает его случайность и трепещет, как бы новый случай не повернул фортуны в другую сторону; кроме того, он считает себя недостойным, не заслужившим счастья, не заплатившим за него, находящимся в вечном долгу у «благодетеля» Юлиана Мастаковича и всего человечества. Вот это чувство героя, смутно создаваемое им самим, но хорошо понятое его другом, Аркадием, писателю дороже всего; на толковании этого чувства и сделан смысловой акцент в повести.

В «Белых ночах» изображен Мечтатель, уединившийся от мира, но позиция его не имеет ничего общего с позой байронического героя, презирающего мир. Действительность не устраивает его тем, что люди не испытывают потребности в «высшей гармо-

---

<sup>3</sup> См.: Буташевич-Петрашевский М. В. Объяснение о системе Фурье и о социализме. — В кн.: Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953, с. 424—426.

<sup>4</sup> См.: Дело петрашевцев, т. 3. М.—Л., 1951, с. 96.

<sup>5</sup> См.: Тураев С. В. Концепция личности в литературе романтизма. — В кн.: Контекст. 1977. Литературно-теоретические исследования. М., 1978, с. 237—244.

<sup>6</sup> См.: Жинякова Э. М. К вопросу о традициях сентиментализма в творчестве Ф. М. Достоевского 40-х годов. (Статья первая). — В кн.: Проблемы метода и жанра, вып. 3. Томск, 1976, с. 39.



ний». «Мы все так недовольны нашей судьбой, так томимся нашей жизнью... все между нами холодно, угрюмо, точно сердито» (2, 115). Сам он вносит сердечное пристрастие даже в отношении к неодушевленным предметам (петербургским домам) и к незнакомым людям (часто встречающемуся старичку).

В. Я. Кирпотин утверждает, будто Достоевский считал слабостью Мечтателя отсутствие «необходимого эгоизма», умения бороться за свои интересы.<sup>7</sup> Но Мечтатель поставлен в такую ситуацию, когда мерой человечности может быть только непроявленность «необходимого эгоизма»: борьба за себя сразу же лишила бы его благородной роли бескорыстного друга Настеньки, стремящегося поддерживать в ней веру в человека. Признание бесспорной нравственной ценности этой роли выражено в прощальном письме Настеньки: «Я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его» (2, 140).

Позиция альтруизма не подвергается развенчанию. Достоевский видит изъян своих сентиментальных мечтателей не в позиции, а в том, что им не хватает силы сделать эту позицию постоянным жизненным принципом. Герой-альтруист у молодого Достоевского лишен свойственной «универсальной» романтической личности цельности, гармонии.

Наиболее решительно переосмыслиется Достоевским байроническая личность. Он изображает трагедию не байронического типа, а «маленького человека», отравленного ядом «байронизма». Достоевский по-своему развивает характерную для просветительской и романтической литературы тему столкновения мещанской и аристократической морали. Он ставит проблему пагубного влияния романтического стереотипа на психологию патриархального чиновника. Образчиком русского романтического героя Достоевский считал лермонтовского Печорина и не раз писал о дурном воздействии этого образа и личности его автора на сознание средних образованных слоев русского общества в 40-е годы: «Наши чиновники знали его (Лермонтова, — Г. Щ.) наизусть и вдруг все начинали корчить мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента» (18, 59); «Вспомните: мало ли было у нас Печориных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтении „Героя нашего времени“. Родоначальником этих дурных человечков был у нас в литературе Сильвио, в повести „Выстрел“, взятый простодушным и прекрасным Пушкиным у Байрона» (22, 39—40).

Даже позднее, высоко оценив историческое значение Байрона, отметив, что в свое время «всякий сильный ум и всякое великодушное сердце не могли и у нас <...> миновать байронизма» (XII, 350), Достоевский не изменил отношения к «гордому человеку» байроновского склада.

<sup>7</sup> Кирпотин В. Я. Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821—1859). М., 1960, с. 316.

Влияние образа Печорина на создание хищных и безнравственных типов в творчестве Достоевского начала 60-х годов убедительно показал В. И. Левин.<sup>8</sup> Но, на наш взгляд, это влияние обнаруживается значительно раньше: первым персонажем Достоевского, воспринявшим Печорина как образец безнравственно-«героического» поведения, был Яков Петрович Голядкин («Двойник», 1846).

Герой этого произведения Достоевского — тоже человек сентиментального склада: у него потребность в «гармонии» проявляется больше всего в желании быть образцовым чиновником — послушным, тихим, доверяющим благодетельному начальству. Однако, когда терпят крах его надежды на успех у Клары Олсуфьевны, в поведении Голядкина обнаруживается раздвоенность: он все еще хочет пробраться на бал к Берендеевым «втихомолочку» и вместе с тем «обеспечивает себя взглядом, который имел необычную силу мысленно испепелять и разгромить в прах всех врагов господина Голядкина», укрепляет себя правилом иезуитов «считать все средства годящимися, лишь бы цель была достигнута», убеждает, что «настало время удара смелого» (1, 115, 132, 136). Когда же из «удара» ничего не вышло, появился Голядкин-второй, «Двойник» Якова Петровича — это первый «романтик подполья» в творчестве Достоевского, это романтический герой в том виде, каким представляет его малоразвитый и честолюбивый чиновник, смешавший воедино Печорина и Грушницкого: это человек совершенно беспринципный, безнравственный, пользующийся интригой и маской как главными средствами для достижения честолюбивых целей. «Двойник» Якова Петровича наделен печоринской способностью очаровывать и покорять людей и, подобно Печорину, использует эту способность, чтобы досадить своему противнику, взять над ним верх. Он любит втереться в кучку молодых сослуживцев, расположить их к себе улыбочками, шуточками и насмешечками и постепенно уничтожить их расположение к Голядкину-старшему, дискредитировать его как «ненастоящего», «поддельного». Это напоминает поведение Печорина в обществе на водах, его интриги против княжны Мери и Грушницкого. Дружба-вражда Голядкина-младшего со старшим копирует в вульгарной форме отношения Печорина с Грушницким. Очень важная черта «двойника» как «байрониста» — поправление святыни, откровенная насмешка над доверительностью, дружбой, гостеприимством Голядкина-старшего. Она в сниженной форме также воспроизводит печоринскую черту: наслаждение, испытываемое им от мучительства (ср. признание Печорина: «Есть минуты, когда я понимаю Вампира», — признание, свидетельствующее, по мысли Белинского, что Печорин временами впадает в Грушницкого, «хотя и более страшного, чем смешного»<sup>9</sup>).

<sup>8</sup> См.: Левин В. И. Достоевский, «подпольный парадоксалист» и Лермонтов. — Изв. АН СССР, 1972. Серия лит. и яз., т. 31, вып. 2, с. 142—156.

<sup>9</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, с. 246.

Разумеется, отмеченные точки сходства не позволяют говорить о Голядкине-младшем как пародии на Печорина: слишком велико различие между ними, но несомненно, что образ удачливого соперника-авантюриста в сознании Голядкина конденсирует в себе расхожие, банальные представления «мефистофельствующих» чиновников о романтическом герое — «байронисте».

В литературоведении давно идет спор о том, является ли «двойник» воплощением потенций самого Голядкина-старшего или он представляет внешнюю, враждебную ему силу — конкурента, способного его вытеснить.<sup>10</sup> Отношение Голядкина-первого к «байроническому» поведению помогает понять это. Яков Петрович не раз пытается внушить сослуживцам и знакомым, что он не интриган, маску носит только в маскараде, и он, действительно, не интригует «от себя», не столько от презрения к интриге, сколько от неспособности интриговать. «Двойник» несет в себе культуру, органически чуждую Голядкину, его патриархальной среде. Но к этой культуре он испытывает внутреннее влечение, неосознанно она входит в его ценностные ориентации, расщепляет и раздваивает эти ориентации. Сюжет «Двойника» составляют перипетии борьбы Голядкина с «двойником», выражающие внутреннюю раздвоенность героя. При этом «байроническая» ориентация все глубже проникает в сознание героя, к концу повести она уже выступает как мечта самого Голядкина-старшего — в форме «письма от Клары Олсуфьевны», в котором она будто бы предлагает ему тайком увезти ее из родительского дома. Голядкин «соблазняется» примером «двойника», он нанимает извозчика, чтобы увезти Клару Олсуфьевну, но в то же время в нем возмущаются все понятия о мещанско-чиновничьих добродетелях. И, «поджидая» Клару Олсуфьевну, он мысленно бесчестит ее за неблагодарные и романтические бредни (см.: 1, 212—213, 220—221). Здесь он на миг сам сознает свою трагедию — трагедию человека, теряющего контроль над своими собственными желаниями, влекущими его к раздвоению: «Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдерживать, — какая тут свадьба» (1, 213).

Примечательно, что при попытке автора переработать «Двойника» в 1862—1864 гг. среди психологических «соблазнов», смущающих Голядкина, указаны «мечты сделаться Наполеоном, Периклом, предводителем русского восстания» (1, 434). В «байронический комплекс» органически входит наполеоновский мотив.

---

<sup>10</sup> См.: Евнин Ф. И. Об одной историко-литературной легенде (повесть Достоевского «Двойник»). — Русская литература, 1965, № 3, с. 3—26; Ковач А. О смысле и художественной структуре повести Достоевского «Двойник». — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 2. Л., 1976, с. 57—65; Захаров В. Н. Загадка «Двойника». — В кн.: Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978, с. 23—74; Удодов А. Б. К спорам о повести Ф. М. Достоевского «Двойник». — В кн.: Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс Воронеж, 1978, с. 37—45.

Последние замыслы переделать «Двойника» возникли незадолго до работы над романом «Преступление и наказание», в котором у Раскольникова уже слились и байроническое «отпадение от мира», и наполеоновская мечта по-новому победить этот мир, преступить через его нравственные законы, сломав «что надо, раз навсегда». Впрочем, наполеоновский мотив Достоевский отметил уже в 40-е годы у запуганного чиновника-скопидома «господина» Прохарчина: общее у него с Наполеоном — исключительная сосредоточенность на себе, как будто свет создан лишь для него.

Внутреннее родство байроновского и наполеоновского комплексов как разных форм романтического отношения к миру было замечено еще Пушкиным в стихотворении «К морю». Недаром в кабинете Онегина оказываются рядом

И лорда Байрона портрет,  
И столбик с куклою чугуной  
Под шляпой с пасмурным челом,  
С руками, сжатыми крестом.<sup>11</sup>

Достоевский продолжил пушкинское сближение «байрониста» с «кандидатом в Наполеоны». В своих философских романах он глубоко исследовал наполеоновскую психологию, «общие контуры» которой гениально очертил Пушкин.<sup>12</sup> Герой наполеоновского склада в романах Достоевского совсем другой тип, чем его «байронист» в повестях 40—50-х годов, чье друотношение часто имеет книжный источник. Зрелый Достоевский исследует наполеоновскую психологию как явление, рожденное глубинными процессами, характеризующее не только новый общественный тип, но и нравственные противоречия людей целой эпохи. И байроническая тоска и отвращение к миру зла, свойственные этому герою, — это след того байронизма, о котором Достоевский говорит как о «великом, святом и необходимом явлении в жизни европейского человечества» (XII, 349—350). А оценить наполеоновский комплекс в широкой исторической перспективе помог Достоевскому в значительной степени его литературный опыт 40-х годов, в частности проведенное в эти годы художественное исследование трансформации романтической культуры в сознании демократических слоев.

С «Двойника» начинается одна из центральных тем всего творчества Достоевского — тема духовной трагедии человека, вызванной ложным самосознанием. И источником отчужденного самосознания в повестях 40-х годов является романтический склад души, романтические нравственно-этические установки.

Романтическое отчуждение от жизни проявляется у его героев в двух формах. Либо это уход человека в свою мечту, идею, в свой «образ мира» — такое происходит с Ордыновым («Хо-

<sup>11</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 6. М.—Л., 1937, с. 147.

<sup>12</sup> См.: Фридлиндер Г. М. Реализм Достоевского. М.—Л., 1964, с. 146—147.

зьяйка», 1847), Мечтателем из «Белых ночей» (1848), Неточкой Незвановой («Неточка Незванова», 1849). Либо злобное противопоставление себя людям, самоутверждение путем духовного насилия над слабым существом, чаще всего женщиной, что мы наблюдаем у Мурина («Хозяйка»), Ефимова, Петра Александровича («Неточка Незванова»). При этом, изображая сходные психологические ситуации в разной социальной среде, Достоевский ставит акцент не на различиях в социальной психологии (как это сделает Л. Толстой в повестях конца 50-х годов<sup>13</sup>), а на сходстве душевных состояний. Например, злоба Ефимова, объективным источником которой является крестнический быт, и озлобленность светского человека Петра Александровича — явления разноплановые. Но Достоевский акцентирует в позиции Ефимова не последствия зависимости и унижения, а чрезмерное тщеславие, которым он заразился от капельмейстера-иностранца и которое сгубило его, сделав пьяницей и тираном жены. В параллель к этой истории показана и ситуация барина Петра Александровича, который из оскорбленного самолюбия изводит жену уточненной нравственной пыткой.

И духовный рост главной героини Неточки убедительнее всего показывает контраст двух полярных стадий в ее развитии: в детстве она была покорена романтической позой отца, в юности, созрев душой, она понимает обман и деспотизм, скрывающийся за «мировой скорбью» Петра Александровича («Мне казалось, что я видела преступника, который прощает грехи праведнику, и мое сердце разрывалось на части» — 2, 245).

Освобождение «маленького человека» от дурмана индивидуалистического мечтательства представляется молодому Достоевскому столь же важным духовным процессом, как и сознание личностью своего духовного братства с человечеством.

В конце 50-х годов, после каторги и ссылки, Достоевский по-новому осмысливает типы, волновавшие его творческое воображение в 40-е годы.

В повести «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) в двух «огромных типических» характерах — Ростанева и Фомы Опискина Достоевский вновь обратился к анализу сентиментальной и романтической культуры, взятых теперь не как психологический склад «маленького человека», а как типы сознания, воспитанные барской усадьбой, более того, всем старым феодально-патриархальным строем жизни.

Образ Ростанева генетически связан с мечтателями из повестей 40-х годов, но глубже их и во многом предваряет князя Мышкина. Это образцовый герой с точки зрения этических норм сентиментальной культуры: хороший человек, наделенный добрым сострадательным сердцем, желающий «всеобщего блага», способный любить так, что любовь его становится основой гармонического

---

<sup>13</sup> См.: Куприянова Е. Н. Молодой Толстой. Тула, 1956, с. 193—195.

существования людей.<sup>14</sup> Но в повести «Село Степанчиково» позиция сентиментального альтруиста уже не принимается безусловно, она подвергается испытанию, она проблематична, как позднее позиция Сони или Мышкина, но совсем по другим причинам. В отличие от мечтателей 40-х годов Ростанев полностью выдерживает испытание на практическую способность быть верным своим принципам: его альтруизм доходит до геркулесовых столпов. Но возникает вопрос о смысле, о пользе такого альтруизма: при всей своей доброте Ростанев зачастую исполняет волю окружающего его корыстного и пошлого мирка. У Ростанева желание согласного обещания связано с безусловным признанием авторитета и воли старших, с отсутствием личной инициативы и с беспредельной уступчивостью. Экспериментом с Ростаневым Достоевский приводит к мысли, что истинное человеколюбие несовместимо с психологической укорененностью в старой патриархально-сентиментальной культуре, с приспособлением к ее обветшалым нормам — оно должно быть прорывом законов старого общества, добровольным и самостоятельным утверждением новых этических принципов.

В новом освещении в повести предстает и дворянская романтическая культура, своеобразным выразителем которой оказывается Фома Опискин. Бовсе не случайно рассказчик Сергей Александрович, наслышавшись о проделках Фомы, принимал его до приезда в Степанчиково за романтического героя: «Может быть, это натура огорченная, разбитая страданием, так сказать, мстящая всему человечеству...» (3, 29, 337). Конечно, Фома не романтический герой. Он всего лишь домашний мучитель, берущий реванш за прежнее холопское унижение. Но примечательно, что в качестве средства духовной тирании он широко использует расхожие формулы дворянской культуры во всех ее разновидностях, и сентиментальной, и романтической. Речь Фомы Опискина — пародия не только на гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями» и на различные литературные стили,<sup>15</sup> это прежде всего пародия на те формы дворянской идеологии, которые пытались прикрыть романтическим и сентиментальным флером крепостнические отношения помещика к мужику, разные виды барского насилия. А «Выбранные места» были очень удобным материалом для такого пародирования.

В речах Фомы пародируется дворянское сознание духовного превосходства над простолюдином, «этим живым бифстексом» (3, 66), высмеиваются мечты о «соединении добродетели мужика с добродетелями его барина» (3, 69). Высмеиваются и претензии корыстного, хищнического дворянства выглядеть опорой чести, благородства, гуманизма.

<sup>14</sup> См.: Канунова Ф. З. Из истории русской повести. (Историко-литературное значение повестей Н. М. Карамзина). Томск, 1967, с. 22, 58.

<sup>15</sup> См.: Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь. (К теории пародии). — В кн.: Тынянов Ю. Н. 1) Архаисты и новаторы. Л., 1939, с. 412—455; 2) Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 198—226.

Как ни наивны были предположения юного Сергея Александровича считать Фому «байронистом», в критический момент «тяжбы» с Ростаневым сам Фома объявляет себя поборником человечества, борцом со вселенским злом: «Я на то послан самим богом, чтобы изблудить весь мир в его пакостях» (3, 139); «О! Кто примирит меня теперь с человечеством? <...> Я слишком убивался о судьбе и счастье этого дитяти <...> Высочайшая любовь к человечеству сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мстительности» (3, 148). Мысль о демонизме из любви к людям на разные лады варьируется Опискиным (3, 154, 159).

Дворянский романтизм выступает здесь в шутовском и лакейском обличье. Примечательно, что даже у Фомы есть вульгарный, комический дублер — лакей Видоплясов, которого Фома развил до того, что «у него и благородный романтизм в голове появился» (3, 103). Писатель доводит здесь до предельного, карикатурного заострения связь между принципами романтического индивидуализма и корыстной сословной практикой дворян.

Роман «Униженные и оскорбленные» (1861) часто называют переходным произведением в творчестве Достоевского,<sup>16</sup> имея в виду то, что в нем встретились старые, уже уходящие из самой жизни сентиментальные мотивы и образы с новыми трагическими проблемами и характерами. Но он является переходным не только по проблематике, а и по критериям авторской оценки. Трагическая линия в нем не просто сосуществует с сентиментальной — она воздействует на оценку сентиментальной культуры.

Автор по-прежнему дорожит этическими принципами, сложившимися в патриархальном быту бедных людей: братством, взаимной поддержкой. Но он сознает, что патриархально-сентиментальная культура не может быть прочной нравственной почвой для современного разночинца, вынужденного восставать против традиционных мещанских «добродетелей».

«Униженные и оскорбленные» печатались одновременно с «Записками из Мертвого дома». Но и здесь писатель еще не осмыслил своего нового героя-разночинца в отношении к народным стремлениям и нормам, не освоил его как тип, выражающий духовные стремления новой эпохи. Хотя и в Наташе Ихменевой и в писателе Иване Петровиче отразились некоторые веяния времени, их нельзя считать типами «новых людей», как, например, героев дилогии Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов». За их стремлениями и идеалами стоит доживающая свой век старая демократическая Россия. Новый душевный склад выражен

---

<sup>16</sup> См.: Кирпотин В. Я. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966, с. 257—325; Назиров Р. Г. Трагедийное начало в романе Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». — Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1965, № 4, с. 27—39; Розенблюм Л. М. Роман «Униженные и оскорбленные». — В кн.: Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные. М., 1955, с. 3—22; Пустовойт П. Г. О романе Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». — В кн.: Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные. Пермь, 1976, с. 3—16.

пока в весьма впечатляющем, но слишком книжном по истокам своим образе добровольной страдальицы Нелли Смит.

В романе дан новый вариант «слабого сердца» — Алеша Валковский. Образ Алеши строится на том же психологическом контрасте, что и характер Ростанева: «чистота сердца» и в то же время отсутствие самобытного отношения к миру, приспособляемость к нему. Но сходство это внешнее, так как любой психологический комплекс у Достоевского имеет значение лишь в связи с этической позицией героя. У Ростанева приспособляемость выражает альтруистический отказ от личных интересов. У Алеши Валковского приспособляемость эгоистична: зная общую любовь к себе, он заставляет всех решать его судьбу в его же интересах. Характер этот также служит критике уходящей культуры, не случайно он лишен прежней сочувственной лирической атмосферы, характерной для отношения писателя к героям сходного типа в повестях 40-х годов.

Образ князя Петра Валковского — еще одно звено в критике ложного дворянского романтизма у Достоевского. Валковский имеет внешнее сходство с романтическим героем: он концентрирует в себе множество пороков, и они поданы крупно, броско; он бросает злобный вызов общественной морали; он производит впечатление злого «владельца мира сего». Но его отрицание лишено того позитивного значения, которое было свойственно настоящему «байроническому» герою, так как он отрицает не мировое несовершенство, не социальное зло, а «шиллеровщину», т. е. поиск общественной гармонии, нравственные основы жизни, потребность идеалов. «Своеволие» его лишено большого философского значения, оно означает лишь циничную защиту ничем не сдерживаемого эгоизма. Князь Валковский оказывается таким же ложным романтическим героем, как его тезка Петр Александрович из повести «Неточка Незванова», как Голядкин-младший и Фома Опискин. Возвращение Достоевского к сходным нравственно-психологическим типам служит выяснению исторических перспектив определенной духовной культуры.

Эволюция романтического характера показывает усиление критики дворянского «бытового романтизма» в творчестве писателя. В 40-е годы в «Двойнике» и «Неточке Незвановой» «байронический комплекс» изображался как рабское подражание «мефистофельствующего» «маленького человека» романтическому герою; в «Селе Степанчикове» и «Униженных и оскорбленных» этот комплекс используется уже для пародии на дворянскую идеологию, оправдывающую насилие, своекорыстие, эгоизм.

Развитие сентиментального характера в творчестве Достоевского свидетельствует о том, что, вступая в новое десятилетие, в 60-е годы, писатель уже не ищет опору для братства людей в сентиментально-утопическом мировосприятии, — оно оценено как сознание, связывающее человека со старым миром.



## ДОСТОЕВСКИЙ И КАРАМЗИН

Вопрос о связи двух писателей можно ставить как в плане творческой, даже стилистической близости между ними, так и в плане общего идеологического воздействия одной личности на другую. Данная работа, в отличие от других,<sup>1</sup> посвящена выяснению того, что значил Карамзин для Достоевского в плане идеологическом — как мыслитель и историк.

Из писем Достоевского и воспоминаний его младшего брата известно, что с творчеством Карамзина писатель был знаком с детства. К 1870 г. относится его заявление: «Я возрос на Карамзине» (П., II, 300). А вскоре после этого он писал: «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец» (21, 134). Русскую историю дети в семье Достоевских учили по «Истории государства Российского» Карамзина, читали и повести этого писателя и «Письма русского путешественника».<sup>2</sup>

Тем не менее молодой Достоевский не вынес из родительского дома большой любви к Карамзину, особого почтения к этому писателю. Никаких упоминаний Карамзина нет ни в сочинениях, ни в письмах Достоевского вплоть до конца каторги. Зато в начале следующего творческого периода, в 1859—1861 гг., имя Карамзина часто упоминается в художественных и публицистических произведениях Достоевского, и при этом, как правило, в полемических целях. Отношение к Карамзину-повествователю у Достоевского в этот период ироническое. Так, в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), где Карамзин несколько

<sup>1</sup> См.: Виноградов В. В. Школа сентиментального натурализма. (Роман Достоевского «Бедные люди» на фоне литературной эволюции 40-х годов) (1924). — В кн.: Виноградов В. В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 141—187 (хотя здесь и не упомянут Карамзин, но сама постановка вопроса о стиле сентиментального натурализма молодого Достоевского предполагает возможность стилистического влияния на него Карамзина); Чичерин А. В. Ранние предшественники Достоевского. — В кн.: Достоевский и русские писатели. М., 1971, с. 357—360. См. также примечание А. С. Долинина к письму Достоевского Н. Н. Страху от 2/14 декабря 1870 г.: П., II, 493.

<sup>2</sup> См. свидетельство об этом А. М. Достоевского: Достоевский А. М. Воспоминания. Л., 1930, с. 68—69.

раз упомянут как автор повестей о народе, и прежде всего «Фрола Силина», ему дается саркастическая характеристика устами Фомы Фомича Опискина. Во время разговора о литературе, которая забывает свой долг и не изображает, как «селянин и вельможа, столь разьединенные на ступенях общества, соединяются наконец в добродетели», Фома Фомич восклицает: «Если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за „Марфу Посадницу“, не за „Старую и новую Россию“, а именно за то, что он написал „Фрола Силина“: это высокий эпос! Это произведение чисто народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!» (3, 69—70). Таким образом, именно Карамзина, изображающего «облагороженного мужика», Фома Фомич противопоставляет всем современным писателям.

Дядюшка Ростанев дополняет эту характеристику своими читательскими впечатлениями от «Фрола Силина»: «Именно, именно, именно! высокая эпоха! Фрол Силин, благодетельный человек! Помню, читал; еще выкупил двух девок, а потом смотрел на небо и плакал. Возвышенная черта, — поддакнул дядя, сияя от удовольствия» (3, 70). Воспоминание полковника, его пересказ повести граничит с пародией. Прием пародирования здесь почти тот же, что позднее в «Бесах», где подобным же образом пересказывались произведения И. С. Тургенева.

«Фрол Силин» для Достоевского в этот период — образец литературы, не имеющей ничего общего с суровой реальной действительностью, но претендующей тем не менее на отражение жизни русского мужика.<sup>3</sup> Повесть эту, как и творчество Карамзина вообще, уже в 1840-е годы поднимали на щит ранние славянофилы и сторонники официальной народности. Критическое отношение Достоевского к ним в этот период было одной из причин его резких выпадов против сентиментально-идиллической литературы для народа, в том числе и против «Фрола Силина», включенного в школьные хрестоматии.

Отношение к Карамзину не меняется и в пору организации журнала «Время» и выработки почвеннической программы. В «Ряде статей о русской литературе» (1861) Карамзин упоминается неоднократно и всегда с иронической или просто отрицательной оценкой. Во «Введении» к «Ряду статей...» и в статье «Книжность и грамотность» упоминаются «Фрол Силин» и «Марфа Посадница» (18, 48; 19, 60) как примеры произведений, из которых можно узнать о русской истории не больше, чем из иностранных сочинений о России. «Точно на луне или в „Марфе Посаднице“ Карамзина» (19, 47), — восклицает Достоевский по поводу проекта книги для народного чтения «Читальник».<sup>4</sup>

<sup>3</sup> См.: Степанов В. П. Повесть Карамзина «Фрол Силин». — В кн.: XVIII век, сб. 8. Л., 1969, с. 229—244.

<sup>4</sup> В. А. Туниманов, комментировавший «Ряд статей о русской литературе», справедливо отметил, что «Повесть Карамзина „Марфа Посадница, или Покорение Новгорода“ для Достоевского такой же эталон псевдоисторической литературы, как „Фрол Силин“ — псевдонародной» (18, 256).

И в другом месте он призывает не судить о душе народа «по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзажикам» (19, 40). Даже включение в книгу для народа отрывка из «Истории государства Российского» встречается иронически (19, 37).

Карамзин воспринимается Достоевским как писатель книжный, головной, не знающий русской жизни. Его исторические сочинения написаны «во французском вкусе». Это пример писателя и интеллигента, оторванного от народа условиями своего воспитания и образования. Поэтому положительное отношение к Карамзину для Достоевского — показатель слабости и лжности идеологии самих славянофилов. В статье «Последние литературные явления. Газета „День“», посвященной критике современного славянофильства, Достоевский писал: «Славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем, состоящем, в *сущности*, из некоторых удачных изучений старинного нашего быта, из страстной, но несколько книжной и отвлеченной любви к отечеству, из святой веры в народ и в его правду, а вместе с тем (зачем утаивать? отчего не высказать?) — из панорамы Москвы с Воробьевых гор, из мечтательного представления московских бар половины семнадцатого столетия, из осад Кавани и Лавры и из прочих панорам, представленных во французском вкусе Карамзиным, из впечатления его же „Марфы Посадницы“, прочитанной когда-то в детстве» (19, 60).

Отношение к Карамзину существенно меняется у Достоевского после 1862 г., т. е. после его первого заграничного путешествия.

Летом 1862 г. Достоевский посетил Германию, Францию, Англию, Италию и Швейцарию. Он был в Берлине, встречался с Герценом в Лондоне, изучал жизнь Парижа и безусловно старался познакомиться с литературой, издававшейся на Западе и недоступной читателю в тогдашней России. А как раз в 1861 г. в Берлине, незадолго до приезда туда Достоевского, вышло первое полное печатное издание «Записки о древней и новой России» Карамзина, которое писатель несомненно прочитал.

«Записка» Карамзина была написана в 1811 г. и тогда же вручена в Твери Александру I. Царь остался недоволен «Запиской», и все попытки напечатать ее в России оставались безуспешными. Только отрывки из нее были опубликованы в 1837 г. в «Современнике» и в 1842 г. в приложении к «Истории государства Российского». «Записка о древней и новой России» распространялась в рукописных списках. Но есть основания думать, что до 1862 г. Достоевский не знал это произведение целиком.

Во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» есть скрытая полемика с «Запиской» Карамзина. Думается, однако, что Достоевскому были известны некоторые ее положения из статьи Н. А. Добролюбова «Первые годы царствования Петра Великого» (1858), посвященной разбору книги Н. Г. Устрялова о Петре I. Добролюбов приводит в своей статье следующее место из «Записки» Карамзина: «К несчастью, сей государь (т. е. Петр, —

А. А.), худо воспитанный, окруженный людьми молодыми, узнал и полюбил женева Лефорта, который от бедности заехал в Москву и, весьма естественно, находя русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а все европейское возвышал до небес; вольные общества Немецкой слободы, приятные для необузданной молодости, довершили Лефортovo дело, и пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландиею».<sup>5</sup>

Добролюбов полемизирует с этим местом из «Записки» Карамзина, и Достоевский, не упоминая Карамзина во «Введении» к «Ряду статей. . .», также спорит с приведенным его суждением, в своей оценке Петра во многом совпадая с Добролюбовым. «Говорят, — замечает Достоевский, — что он хотел сделать из России только Голландию? Не знаем; лицо Петра, несмотря на все исторические разъяснения и изыскания последнего времени, до сих пор еще очень для нас загадочно. Мы понимаем только одно: что нужно было быть слишком оригинальным, чтоб, быв московским царем, вздумать — не только полюбить, но даже поехать в Голландию. Неужели ж один женевец Лефорт был и в самом деле всему причиною? Во всяком случае, в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек, когда он выживет себе полное убеждение и почувствует, что пора пришла, а в нем самом уже созрели и сказались новые силы» (18, 55). Трактовка Петра как великого русского человека, а его дела как дела национального характера для «Ряда статей о русской литературе» и других сочинений Достоевского этого периода.<sup>6</sup>

Однако прочитав в 1862 г. «Записку о древней и новой России» Карамзина полностью, Достоевский пересмотрел многое в своих взглядах на русский XVIII век. Впечатление, произведенное этим чтением, должно было быть особенно сильным потому, что во взглядах Достоевского относительно русского прошлого происходил некоторый перелом. Выработывалась программа почвенничества, и при всем уважительном отношении к личности Петра Великого намечалась уже некоторая критическая переоценка петровских преобразований.

В статье «Книжность и грамотность» Достоевский так об этом писал: «Велик был тот момент русской жизни, когда великая, вполне русская воля Петра решила разорвать оковы, слишком туго сдавившие наше развитие. В деле Петра (мы уж об этом теперь не спорим) было много истины. Сознательно ли он угадывал общечеловеческое значение русского племени или бессознательно шел вперед, по одному чувству, стремившему его, но дело в том, что он шел верно. А между тем форма его деятельности, по чрезвычайной резкости своей, может быть, была ошибочна.

<sup>5</sup> Цит. по кн.: Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 3. М.—Л., 1962, с. 40.

<sup>6</sup> См., например, его «Замечания на статью Семевского о книге Устрялова „Царевич Алексей Петрович“» (18, 104—107; см. также примечания на с. 296—300).

Форма же, в которую он преобразовал Россию, была, бесспорно, ошибочна. Факт преобразования был верен, но формы его были не русские, не национальные, а нередко и прямо, основным образом противоречившие народному духу» (19, 18).

Читая «Записку о древней и новой России», Достоевский, как и большинство его современников, прежде всего обратил внимание на те ее страницы, где характеризовались петровские преобразования. И Достоевского не могло не поразить, как далеко зашел Карамзин в критике петровских реформ. Карамзин должен был теперь предстать перед Достоевским в несколько неожиданном качестве: как критик политики русского самодержавия. Карамзин по-прежнему воспринимался Достоевским как предтеча славянофильства, но уже тех его сторон, в которых Достоевскому видится что-то близкое его собственным взглядам. Сближения со славянофильством еще не происходит, но намечается существенный поворот. И возможно, чтение «Записки» Карамзина сыграло здесь свою роль.

Многое в критических высказываниях Карамзина относительно петровских реформ поразило Достоевского сходством с собственными его взглядами. Например, суждение об антинациональной форме преобразований Петра I: «Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ <...> Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им уставы есть насилие, незаконное и для монарха самодержавного».<sup>7</sup> На Достоевского произвело впечатление и то, что Карамзин упрекал Петра в подавлении национального начала: «Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли Россию во время самозванцев; он есть не что иное <...> как уважение к своему народному достоинству. Искореня древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам?» (с. 24). С этой мыслью Карамзина, подхваченной славянофилами, в начале 60-х годов Достоевский, как мы видели, не соглашался. Однако во всем последующем его творчестве взгляд на петровские реформы как дело, насильственно свернувшее Россию с ее естественного исторического пути, Достоевским разделялся. И мысль его о том, что в результате деятельности Петра I русское общество расколо-

---

<sup>7</sup> Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914, с. 24—25 (далее все цитаты из «Записки» приводятся по этому изданию с указанием страницы в тексте).

лось надвое (как, впрочем, считал и Белинский) и высший, образованный его слой утратил свое национальное начало, также близка замечанию Карамзина, который писал в «Записке»: «Петр ограничил свое преобразование дворянством. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях, — со времен петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний» (с. 25).

Многие суждения Карамзина совпадали с собственными размышлениями Достоевского или в значительной степени стали основой этих размышлений. К ним, помимо приведенного мнения историка о том, что петровские реформы разобщили дворянство и народ, следует отнести и суждение об искусственности новой столицы, этого самого «фантастического» и «самого умышленного» города на свете, как скажет потом о Петербурге Достоевский. По этому поводу Карамзин писал: «Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы в северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля, он мог заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров; но мысль утвердить там пребывание наших государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действо сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупях» (с. 30—31).

И, наконец, мысль о том, что русский образованный слой, который в результате петровской реформы утратил связи с народом и почвой, и породил множество внешних и внутренних эмигрантов, «*citoyens du monde*», как иронически называл их Достоевский, мысль эта также перекликается с суждением Карамзина: «При царе Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр» (с. 27—28).

Таким образом, «Записка о древней и новой России» Карамзина кое-что во взглядах Достоевского укрепила, а некоторые из его воззрений побудила изменить. Она, без сомнения, вызвала новую волну интереса Достоевского к проблемам русской культуры XVIII в.

Сказалось это прежде всего в «Зимних заметках о летних впечатлениях», написанных после заграничной поездки 1862 г. Создавая их, Достоевский перечитал «Письма русского путешественника» (следы этого чтения видны в «Зимних заметках», и здесь мы впервые встречаем у Достоевского не ироническое, а вполне сочувственное упоминание Карамзина). От Карамзина Достоев-

ский обратился к Фонвизину («Письма из-за границы», драматические произведения) и вообще к русской и западной литературе и культуре XVIII в. Не случайно в «Зимних заметках» возникает целая глава («Глава III и совершенно лишняя»), посвященная экскурсии в прошлое — в быт и нравы XVIII в. Глава эта в основном рассматривает затронутую Карамзиным проблему раскола русского общества в результате реформ Петра Великого. Картина русской жизни XVIII в. здесь близка к Карамзину. Все эти французские кафтаны и треуголки, чулки и башмаки, эти «шпажонки», которые прицепляли сбоку дебелие помещики, призваны были представить их немцами в глазах собственного народа и подчеркнуть отличие барина от мужика: «Барина, дескать, видно, не в зипуне ж ходить барину» (5, 53). Но Достоевский не только следует за Карамзиным-историком. Он также скрыто полемизирует с ним. Все-таки, отмечает он, русское дворянство XVIII в., несмотря на пудру и «шпажонки», было еще во многом близко народу, подтверждением чего является художественное творчество Фонвизина, в частности анализируемый им «Бригадир».<sup>8</sup>

Достоевский утверждает, что разобщенность в России интеллигенции и народа достигает своей крайней точки в начале XIX в., в царствование Александра I. Но тогда же появились в России и люди, признавшие эту разобщенность злом и пытавшиеся противостоять ей, мечтающие о сближении с народом, с почвой. Такими людьми представляются Достоевскому не только декабристы и их художественное воплощение — Чацкий, но и прямо не упомянутый им в этой связи в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Карамзин. Ибо именно он впервые так смело и резко заговорил об оторванности дворянской интеллигенции от народа и антинародном характере петровских преобразований.

Другим следствием чтения «Записки о древней и новой России» было изменение отношения Достоевского к Петру. Причины этого изменения сложные, одна из них — сближение со славянофилами. «Записка» же Карамзина только один из факторов и, может быть, не главный в повороте Достоевского к историко-философской концепции славянофилов. Но и этот фактор как-то надо учитывать. От апологии Петра в статьях 1861 г. Достоевский движется к резко отрицательной оценке, сводящейся к тому, что Петр не понимал России и русского народа, не любил их. Карамзин заметил в «Записке»: «Умолчим о пороках личных» (с. 24). Достоевский же о них не умолчал. В его записной тетради 1874—1875 гг. осуждаются не только реформы Петра, но и личность преобразователя.

«Второстепенность и мелочность „взглядов Петра“.

Флот (для одной Швеции).

Петербург — перемещение центра грубое.

Забыл и совсем не понимал идею веры и православие.

<sup>8</sup> См. об этом: Фридлендер Г. М. Достоевский и Фонвизин. — В кн.: XVIII век, сб. 10. Л., 1975, с. 92—97.

Народ как податный материал.

Раскольники (лишь бы платили деньги).

Чины (обратились же в то же дворянство, но только лишь подточенное. Как бы не сознавали, что делали).

Совершенное отсутствие экономического чутья в идее помещика, а все его слуги с уничтожением частных хозяйств и личности. Идея, достойная персидского шаха.

Развратник и нигилист <...>

Изверг-сыноубийца» (21, 272).

Здесь много пунктов, совпадающих с критикой Петра Карамзиным: отсутствие духа народности, перенесение столицы, понижение старого дворянства. Следует оговориться, что отношение Достоевского к Петру — вопрос, не решаемый однозначно. Отношение это не просто менялось от положительного к отрицательному. Со временем восприятие его личности становилось более сложным и диалектичным. Однако критическое отношение к Петру как к личности сохранилось у автора «Дневника писателя» вплоть до 1880—1881 гг.

Отношение же Достоевского к Карамзину существенно изменилось после 1862 г. Как писатель Карамзин мало привлекал Достоевского. В набросках к сатирической повести «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» (1865) несколько раз иронически упоминается «карамзинский слог» (см.: 5, 328, 329, 336) как характеристика стиля героя повести. Видимо, сохраняется в этот период и прежнее отношение к карамзинским повестям, на что намекает перефразированная цитата в «Крокодиле» из «Марфы Посадницы» («Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок» — 5, 198, 328). Но к началу 1870-х годов сочувственное отношение Достоевского к Карамзину как историку и мыслителю возрастает. Карамзин, по его мнению, верно почувствовал, что государственная политика должна исходить из идеи народности. Поэтому, когда в 1870 г. возникла полемика о Карамзине между А. Н. Пыпиным и Н. Н. Страховым, Достоевский не случайно встал на сторону Страхова, защищая Карамзина. В 9-й книжке «Вестника Европы» за 1870 г. была помещена четвертая часть «Очерков общественного движения при Александре I» А. Н. Пыпина под названием «Карамзин. Записка о древней и новой России». Разбирая только общественно-политическую и оставляя в стороне литературно-художественную деятельность Карамзина, Пыпин рассматривал его как противника либеральных реформ, выразителя консервативно-охранительной идеологии. Карамзину он противопоставлял Сперанского (его характеристике посвящена 3-я часть «Очерков» Пыпина), представителя лагеря реформаторов, убежденного в необходимости коренных общественно-политических преобразований.

На очерк Пыпина о Карамзине ответил Страхов, опубликовавший в октябрьском номере «Зари» за 1870 г. «Вздых на гробе Карамзина» — статью, стилизованную под сентиментальный карамзинский стиль и содержащую лирические воспоминания ав-



тора о годах учения в провинциальной семинарии. Страхов писал здесь о том огромном благотворном влиянии, какое оказало на его умственное и духовное развитие в эти годы чтение «Истории» Карамзина. Полемика Страхова с Пыпиным во многом не убедительна, но для нас важна в данном случае лишь ее общая тенденция — защита Карамзина как деятеля, имевшего бесспорное значение в истории русской культуры. Достоевский дважды сочувственно отозвался о статье Страхова — в письмах к нему от 2 декабря 1870 г. и 18 марта 1871 г. Писатель особенно одобрил ее лирическую часть — рассказ автора о своем детстве и о чтении им Карамзина: «К статье о Карамзине (вашей) я пристрастен, ибо такова почти была и моя юность, и я возрос на Карамзине. Я ее с чувством читал» (П., II, 300).

Одобрил Достоевский и полемику Страхова с Пыпиным. Отголоском чтения статей Пыпина явилось замечание в подготовительных материалах к «Бесам»<sup>9</sup> о Карамзине и Сперанском: «Кто: Сперанский или Карамзин? Вопрос должен именно в том состоять, кто передовой: Сперанский или Карамзин? А он на той же точке стоит, только просит, чтоб с Карамзиным капелючку попочтительней. Так ведь это еще хуже нигилизма. Точно так же и с верой» (11, 289).

Трудно сказать, кого имеет в виду Достоевский в этой записи. Это могло быть конкретное историческое лицо, которое «на той же точке стоит» (т. е. на точке зрения Пыпина), но «просит, чтоб с Карамзиным капелючку попочтительней», но мог быть и кто-то из героев романа «Бесы» (скорее всего — Кармазинов). Во всяком случае либеральная (пыпинская) трактовка Карамзина, даже облеченная в более пристойную, «почтительную» форму, представлялась Достоевскому неверной — «хуже нигилизма». Для писателя в этот период вопрос: «Кто: Сперанский или Карамзин?» — решается вполне определенно. Сперанский — предтеча западничества, продолжатель духа петровских реформ, цели его деятельности ложны, ошибочны.<sup>10</sup> Наоборот, Карамзин представляется Достоевскому мыслителем, сохранившим верность русской народной точке зрения. Отсюда причисление Карамзина к тем факторам, которые формировали сознание самого Достоевского.

В статье «Одна из современных фальшей» («Дневник писателя» за 1873 г.) Достоевский писал: «А между тем я был, может быть, одним из тех <...>, которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти

<sup>9</sup> Отмечено Н. Ф. Будановой в комментарии к «Бесам» (12, 363).

<sup>10</sup> Сравни упоминание Сперанского среди других «европейцев», как называет Достоевский порожденную реформами Петра интеллигенцию, в записной тетради писателя 1872—1875 гг. (21, 267).

все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня» (21, 134). Впечатления от Карамзина здесь идут в одном ряду с чтением Евангелия, любовными отношениями в семье, уважением к национальным преданиям и святыням.<sup>11</sup> Детство Достоевского, изображенное здесь, — это идеализированная картина формирования будущего славянофила. Подобным же образом характеризовал Достоевский истоки славянофильской идеологии ранее, в статье «Последние литературные явления», где упоминались и «панорама Москвы с Воробьевых гор», и впечатления от сочинений Карамзина, «прочитанного когда-то в детстве» (19, 60). Но если в 1861 г. эти славянофильские впечатления были обрисованы иронически, то теперь, в 1873 г., — вполне сочувственно и серьезно.

Однако Достоевский осознавал при всем этом и противоречия в общественно-политических взглядах Карамзина, и их эволюцию. Одно дело — Карамзин как автор «Записки», другое дело — Карамзин периода «Писем русского путешественника», — молодой, восторженный, горячо сочувствовавший республиканским идеям. Не высказывая прямо своего отношения к Французской революции в «Письмах русского путешественника» (1792—1795), Карамзин оказался более откровенным в статье на французском языке «Un mot sur la littérature russe» («Несколько слов о русской литературе»), написанной в 1797 г. для гамбургской газеты «Spectateur du Nord» и тогда же в ней напечатанной. Статья эта была опубликована в России в 1866 г. в качестве приложения к изданию писем Карамзина к И. И. Дмитриеву. Достоевский знал эту книгу и несомненно читал помещенную в ней французскую статью Карамзина.<sup>12</sup> Напомним, что о сочувственном отношении Карамзина к Французской революции писал также декабрист Н. И. Тургенев в своей книге «La Russe et les Russes» («Россия и русские») (Paris, 1847). В приложении к первому тому здесь содержится заметка о Карамзине, где, между прочим, сказано: «В молодости Карамзин видел Европу; он прибыл во Францию в эпоху террора. Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи».<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Не случайно Достоевский рекомендует Карамзина для юношеского чтения (в письме к Н. Л. Озмидову от 18 августа 1880 г. — П., IV, 196).

<sup>12</sup> О знакомстве Достоевского с письмами Карамзина к Дмитриеву см. в примечании А. И. Батюто к «Дневнику писателя» за 1877 г. (25, 364).

<sup>13</sup> Тургенев Н. И. Россия и русские, т. I. М., 1915, с. 342.

Достоевский знал книгу Н. И. Тургенева, а в 1875—1876 гг., когда он собирался писать статью о декабристах,<sup>14</sup> вероятно перечитал ее.<sup>15</sup> В «Дневнике писателя» за 1877 г. Достоевский, говоря об отношении современников к Французской революции, дважды (в статьях «Мы в Европе лишь стрючкие» в январском выпуске и «Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, — решение не дипломатическое» в майско-июньском выпуске) упоминает Карамзина в этой связи. Речь идет о том, что в конце XVIII в. ни в России, ни в Европе никто не догадывался о предстоящих событиях — Французской революции со всеми ее последствиями. Начало революции, как и предшествующее ей общественное движение, приветствовали просвещенные умы Европы: «Шиллер написал, например, тогда дифирамб на открытие национального собрания; путешествовавший по Европе молодой Карамзин смотрел с умиленным дрожанием сердца на то же событие, а в Петербурге, у нас, еще задолго перед сим красовался мраморный бюст Вольтера» (25, 147). Ту же мысль Достоевский высказал по другому поводу: говоря о постоянном сочувствии русской интеллигенции революционному движению на Западе («даже самые „белые“ из русских у себя в отечестве становились в Европе тотчас же красными»), он вспоминает отношение Карамзина к Французской революции. «Мы с восторгом встретили пришествие Руссо и Вольтера. Мы с путешествоющим Карамзиным умиленно радовались созванию „Национальных штатов“ в 89 году...» (25, 21). То, что Карамзин восторженно встретил революцию, для Достоевского — факт во многом показательный, ибо молодой Карамзин для него являлся ярким и типичным представителем той русской интеллигенции, которая жила с постоянной оглядкой на Европу. И он неизбежно должен был позднее разочароваться в идеалах молодости, прийти «потом в отчаяние <...> вместе с передовыми европейцами», вместе с ними плакать над их «погибшими мечтами» (25, 21). Выученик и поклон-

---

<sup>14</sup> См. об этом: Архипова А. В. Дворянская революционность в восприятии Ф. М. Достоевского. — В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., 1975, с. 219—246.

<sup>15</sup> Можно предположить, что замечание о декабристах в записной тетради Достоевского 1875—1876 гг.: «Когда же дошли до того, что Ермолов сказал, отчего же мы не лорды, то ответ на вопрос сей последовал 14 декабря. Что такое 14 декабря? Бунт русских помещиков, пожелавших стать лордами...» (24, 146) — в той или иной мере восходит к рассказу Н. И. Тургенева об адмирале Мордвинове. Последний был известен своими либеральными взглядами, он мечтал о государственных преобразованиях в английском духе. «Добрый адмирал, — писал Н. И. Тургенев — не придавал должного значения огромному злу, проистекавшему от рабства. Он хотел политической свободы и особенно верхней палаты, организованной аристократии; он восставал с благородным и горячим негодованием против всемогущества императорской власти» (Тургенев Н. И. Россия и русские, т. I, с. 90). По-видимому, Ермолов и Мордвинов — два прогрессивных деятеля александровской эпохи, пользовавшиеся авторитетом среди декабристов и прочимые ими в состав будущего временного правительства, — объединились в сознании Достоевского.

ник европейской культуры, «республиканец в душе», как характеризовал сам себя Карамзин, остался в глазах Достоевского характерным порождением петровских реформ, предтечей русского либерального западничества. Карамзин же — критик петровских реформ воспринимался Достоевским как отдаленный предшественник славянофилов и почвенников. Эта двойственная оценка роли Карамзина в истории русской культуры и общественной мысли позволяла Достоевскому в одних случаях положительно отзываться о Карамзине, а в других резко критиковать его, акцентируя то одну, то другую сторону его деятельности.

Ю. Ф. КАРЯКИН

## ЗАЧЕМ ХРОНИКЕР В «БЕСАХ»?

«Пусть потрудятся сами читатели».

«Знаете ли вы, сколь силен может быть один человек?».

(Ф. М. Достоевский)

М. Горький первый — и резко — поставил этот вопрос еще в 1935 г.: «...критика не заметила одного из главных героев — лицо, которое ведет рассказ».<sup>1</sup> «Из главных». В самой постановке намечался и ответ. Однако остается неясным, хотел ли М. Горький найти нечто положительное в «Бесах» или ориентировался на окончательное их отрицание. Теперь такой ответ, ответ определенный и обоснованный, дан нашей наукой.<sup>2</sup> Интересно, согласился ли бы с ним сам М. Горький, будь он сегодня жив? Голос Хроникера наконец-то услышан, и, оказывается, это вносит существенные поправки в наше общее восприятие и понимание романа.

### Просчет или открытие?

Хроникер этот беспокоил меня давно, но как-то глухо. Вопрос, однако, стал практически неотложным, когда я начал работать над инсценировкой романа: нужен ли он или нет? какие доводы «за», какие — «против»? в чем его художественный смысл?

Первый порыв был: конечно, нужен. И тут же сомнение: а если выйдет резонер?

«Господин Г—в». Кто помнит эту фигуру? Имя? Приходится проверять: «Антон Лаврентьевич» (назван так всего три раза). «Молодой человек». Где-то служит, когда — непонятно: все время бегаёт. В романе выполняет чисто внешнюю, техническую, механическую даже функцию — сшивает события белыми нитками, а нитки эти все время рвутся. Роман держится собственным полем напряжения, живет вопреки Хроникеру. Образ расплывчатый и в то же время невероятно противоречивый, да и никакой это, в сущности, не образ, а так, мерцание. Его безличностный лепет

<sup>1</sup> Горький М. Об издании романа «Бесы». — Правда, 1935, 24 января; Литературная газета, 1935, 24 января.

<sup>2</sup> В работах Л. П. Гроссмана, А. С. Долинина, Ф. И. Евнина, Д. С. Лихачева, Р. Г. Назирова, В. А. Туниманова, Г. М. Фридендера, Н. М. Чиркова и др. Особенно основателем труд В. А. Туниманова «Рассказчик в „Бесах“ Достоевского» (в кн.: Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972, с. 87—162).

едва слышен среди голосов героев, а чаще всего перебивается и совсем заглушается словом самого Достоевского, который сплошь и рядом великолепно обходится без Хроникера и, похоже, часто просто забывает о нем. Никаких серьезных реальных отношений ни у одного из героев романа к нему, к Хроникеру, нет. Он везде и нигде. Правда, кольнуло вдруг его признание, что он был влюблен в Лизу («на мгновение»), кольнуло — и тут же раздражило: бестелесный статист, муляж мертвый... А куда он, кстати, делся? Впрочем, это и неинтересно совсем, особенно в виду тех грандиозных и зловещих событий, свидетелем которых он оказался и которые для него, обывателя, — как с гуся вода. Незаметно затерялся, ступешевался вконец. Иное дело — Подросток: вот действительно живой Хроникер...

Таковы были доводы «против» (частью мои, частью чужие). Отсюда следует: «господин Г—в» — художественная неудача, просчет Достоевского, и пора признать это прямо, без обиняков. «Черту надо переступить», «осмелиться надо» (как говорил Раскольников, по другому, правда, поводу).

Однако «смелости» такой почему-то и не хватало.

В произведениях великих мастеров так не бывает, т. е. не бывает, чтобы просчет был в самом главном — в самом тоне произведения. А кто, как не Хроникер, задает весь тон романа, тон и делающий всю музыку?

В общем, категорическое «нет» не удовлетворяло, а убедительного «да» не было.

«Бесы» без Хроникера... А «Повести Белкина» без Белкина?

И еще что-то мешало подписаться под безоговорочным «нет». Как будто что-то знал и позабыл.

Чтобы разрешить свои сомнения, я засел перечитывать «Бесов». Но прежде чем рассказать, к чему это привело, мне придется вернуться далеко назад.

В 1960 г., очутившись впервые на Западе, в Англии, я смотрел телепрограмму — последние известия...

На экране давали дикие сцены резни под захлебывающийся механический голос диктора. Прямой репортаж с какого-то края света (чем дальше, тем больше, слушая диктора или читая чью-то статью, книгу, мне хочется узнать, что это за человек говорит или пишет). А рядом, как ни в чем не бывало, невозмутимые, бесстрастные бритые (правда, я и тогда чувствовал, а позже понял, что на самом деле они — другие). Спокойно попивают, закусывают, дымят. Некоторые столь же бесстрастно листают толстые-претолстые газеты, а в газетах — все то же самое.

После политических новостей — тоже прямой репортаж, со стадиона. Футбол. Но как они, эти невозмутимые, реагировали! Будто именно сию минуту речь шла об их жизни и смерти... Все это было для меня внове, переживал я все искренне и, так сказать, патетически: огненные, мол, письма библейские на стенах, а он...

И еще одно воспоминание. Когда вся Америка смотрела по

телевидению, как буквально на ее глазах поочередно убивали обоих Кеннеди, убивали Мартина Лютера Кинга, мне примерещилась вдруг такая вот «картинка»: не исключено, что люди могут увидеть в любой момент, на таком же экране, какой-нибудь взрыв ядерный (прямой репортаж), и не догадуются, что это они сами именно и взрываются сию минуту, могут увидеть собственную смерть и умрут, не подозревая об этом (умрут «по телевизору», «по прямому репортажу»). Да что там «могут» — все время слышат, видят, читают репортаж о конце света, о том, насколько тщательно и буднично идет подготовка к нему, и нетерпеливо ожидают, что после него будет репортаж со стадиона...

Итак, я перечитывал «Бесов» и в который раз убеждался в их неотразимой и нарастающей злободневности. Именно в это время шли непрерывные сообщения об ультралевых и ультраправых — в ФРГ, в Японии, в Италии... Угоны самолетов, захват поездов, взрывы бомб... Похищение и убийство Альдо Моро...

И без того самый «горячий», самый обжигающий из романов Достоевского (а может быть, из всей классики мировой), он как будто раскалялся и жег все сильнее.

А тут еще вырвалась вдруг в мир правда из Кампучии. И сообщения обо всем этом — почти каждый день. Сенсационно, лихорадочно, сумбурно. По телевидению, по радио, в газетах... И вдруг разом вспыхнуло: хроникерски!.. Вот тут-то я и вспомнил то, что позабыл, — «старые картинки».

«Бесы» — самое набатное предупреждение о реальном апокалипсисе и самый набатный призыв его избежать. Это ясно давно. Но, выходит, произведению, предельно современному по своему «содержанию», Достоевский придал и совершенно современную «форму», впрямую (даже для него небывало) сочетав «библейское», «апокалипсическое» с «газетным». И недаром в этой «провинциальной хронике» названы (вроде бы походя) «исторические хроники» Шекспира и (совсем уже не походя, а настойчиво) упоминается «Откровение от Иоанна» — тоже ведь своеобразная хроника конца света. Это же как обозначение масштаба в уголке карты...

Но ведь тогда все становится на свои места (не становится — стояло, только сами не видели), и все доводы «против» превращаются вдруг в доводы «за». Эта «провинциальная хроника» есть именно великое художественное открытие (которое неразделимо, конечно, на «содержание» и «форму»).

Сто лет назад Достоевский уловил наши ритмы, угадал наши беды и рассказал об этом почти на нашем языке, преобразовав сам способ массовой информации (как сказали бы нынче) в художественный метод.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> «„Быстрая летопись“ романов Достоевского — это современная форма литературы» (Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. М.—Л., 1979, с. 317). Ср.: «Способ передачи содержания входит в само понятие содержания» (Назирова Р. Проблема читателя в творческом сознании Достоевского. — В кн.: Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978, с. 232).

С апреля 1867 г. Достоевский за границей (поехал на три месяца — пробыл больше четырех лет; вернуться раньше не мог — боялся кредиторов). Тоска по России — невыносимая («Точно рыба без воды» — П., II, 25). Переписка ее не утоляет — лишь обостряет. И когда он пишет А. Майкову, страстно одобряя его русские былины: «наивно, как можно *наивнее*, только чтоб одна любовь к России была горячим ключом» (П., II, 191), — он здесь, конечно, сильнее всего выражает свои чувства. Все письма его пронизаны, пропитаны, кровоточат этой тоской по России. Газеты — вот буквально единственный свет в окошке. Читает их «до последней строчки». Он и всегда-то читал их много и страстно, но сейчас — как никогда. Опаздывают — сам бежит на почту. Задержка на день — просто пытка.

«Получаете ли вы какие-нибудь газеты, читайте, ради бога, — пишет он своей юной племяннице. — Нынче нельзя иначе, не для моды, а для того, чтоб видимая связь всех дел, общих и частных, становилась все сильнее и явственнее» (П., II, 43).

Здесь он — мономан: «В каждом номере газет Вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они ведь и не занимаются ими; а между тем они действительность, потому что они *факты*» (П., II, 170). «Факты. Проходят мимо. Не замечают. Нет граждан, и никто не хочет понатужиться и заставить себя думать и замечать» (16, 329).

Газеты для Достоевского битком набиты фактами шекспировскими, гомеровскими, библейскими, фактами пушкинскими. В этом одна из особенностей его художественного внимания и восприятия. И это ясно осознанный принцип его художественного мировоззрения. Без газет он словно слепнул и глух, без газет немел как художник. Он должен был постоянно слышать голоса живой жизни, чтоб сказать свое Слово людям, а живым образом такого Слова и был для него пушкинский «Пророк».

Эти стихи всегда горели в его душе, всегда воскрешали его в отчаянии, всегда давали ему силы для подвижнического труда. Да ведь, в сущности, и все его романы — на эту тему:

И вырвал грешный мой язык,  
И празднословный и лукавый.

Это ведь и о Раскольникове, и о Ставрогине, и об Иване Карамазове... Да в сущности, и все творчество Достоевского — о страстном поиске в человеке «пророка», о пророческой искре в нем.

А как он читал эти пушкинские стихи публично (сохранились подробные описания)! И вдруг представляешь себе: вот он читает их своим тихим хрипловатым голосом (впечатление от этого можно, наверное, сравнить лишь с впечатлением от испол-



нения того же «Пророка» Шаляпиным)... И вот: он прочел и, потрясенный сам и потрясший слушателей своих, тут же, в сей же час, впирается в газеты... Нам трудно представить себе это, но ведь он действительно жил только в таких измерениях, сочетаниях, только в таком накале. В этом он весь, всегда один и тот же, всю жизнь,— и в русской каторге, и в Петербурге, и, может быть, особенно, там, в каторге заграничной, в чужой стране, днем — в чужой толпе или ночью — в чужой квартире, работая до изнеможения...

И вял я неба содроганье,  
И горний ангелов полет,  
И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье.

Вот все это он, как никто другой, умел и страстно любил (научился) вычитывать, выслушивать, выглядывать в «подробностях текущей действительности», в ежедневных газетах, в обычных разговорах, в каком-нибудь случайном движении, взгляде случайного человека.

Вспомним «картинки», которые рисует Иван Карамзов Алеше (мальчик, затравленный собаками на глазах матери, и др.). Все они взяты из газет, журналов. Все это действительные факты действительной жизни, но на какую художественную, мировоззренческую высоту они возведены, в каком контексте увидены, как преобразились, пройдя через сердце и ум художника.

Недаром Достоевский и сам был Хроникером — действительно с большой буквы, и не в переносном только, а в самом буквальном смысле слова (непосредственно журналистская его деятельность). «..проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни,— и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира» (23, 144).

Одиночество, долгое одиночество за границей (на исходе был третий год), невероятно обострило и без того острейший слух его. И вот перед Достоевским такой «факт действительной жизни»: 21 ноября 1869 г. в гроте парка Московской Петровской земледельческой академии Нечаев убивает Иванова.<sup>4</sup> Газеты — гудят (хроника, хроника!).

Этот факт и явился как бы кристаллом для перенасыщенного впечатлениями сознания Достоевского, который еще в октябре 1867 г. писал по поводу анархистов: «И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников! Это грустно <...> И главное огонь и меч — и после того, как все истребитя, то тогда, по их мнению, и будет мир» (II, II, 45).

<sup>4</sup> И. И. Иванов — студент Московской Петровской земледельческой академии. Он раскули авантюризм и аморальность Нечаева, который, боясь разоблачения, сознательно оклеветал Иванова, объявив его «предателем», «шпионом» и т. д. (см. об этом: 12, 192—218; Володин А., Карякин Ю., Плимак Е. Чернышевский или Нечаев? М., 1977).

Факт этот и надо было «проследить», и «проследить» художественно. В нем и надо было найти «глубину, какой нет у Шекспира».

Замысел «Бесов» — копец 1869 г., начало работы — январь следующего года, первые главы уходят в печать в октябре 1870 г. Бывало и раньше и будет потом: Достоевский долго и мучительно бьется над тоном и ладом произведения («От „Я“ или „от Автора“? Чье „Я“?»). Несколько месяцев ищет решение в «Преступлении и наказании», а пайдя, сжигает написанное прежде. Больше полугода ищет в «Подростке» (в черновиках раз пятьдесят повторяются эти вопросы).

Но сейчас — совершенно иное. Тон «хроники», лад рассказа взяты сразу, взяты удивительно свободно и «натурально», как нечто само собой разумеющееся, и никаких следов колебаний (судя по черновикам) на этот счет нет. Сразу от «Я», и сразу от «Я» Хроникера.

18 февраля 1870 г.: «Хроникер <...> всё рассказом — самым простым и сжатым. Из губернской хроники. <...> Систему же я принял ХРОНИКИ » (11, 92).

26 февраля: «РАССКАЗОМ отлично выйдет без малейшей шероховатости. Главное — *хроника*» (11, 128).

Этот тон был взят фактически еще в январе, с первого же слова. Все подсказывало, все стимулировало, все подтверждало точность выбора.

Работа в самом разгаре, как вспыхивает (июль 1870 г.) франко-прусская война, потрясшая Европу. Война и в газетах.

Только начинается публикация романа (январь 1871 г.), как в марте — мае — Парижская Коммуна, потрясшая мир. Газеты неистовствуют.

Печатаются «Бесов» идет полным ходом, когда Достоевский возвращается, наконец, в Россию (8 июля 1871 г.), а в Петербурге только что (1 июля) начался первый в истории России открытый политический процесс — как раз над нечаевцами, и всем газетам разрешено освещать процесс (хотя лишь в виде перепечатки из «Правительственного вестника»). Что тогда творилось! Никогда еще грамотная, образованная Россия не читала газеты с таким кровным интересом. В каждой распивочной, вокруг каждого грамотея — толпа. А слухи, слухи, толки, споры — во всех слоях, а особенно в молодежи, среди студентов...

Гул газет. Голоса газет... И Достоевский словно «настраивается» на эти голоса, на эти «волны», «частоты», словно «подключается» к ним, «подключается», чтобы сказать на этом новом горячем языке свое слово, сказать его в первую очередь молодому тогдашнему читателю.

«Ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копировать. Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью...» (II, II, 288).

Это относится и к самой «хроникальной» форме романа.

Хроникер — не профессиональный репортер, но очень близок к нему и в этом смысле оказывается фигурой типичнейшей, а чем дальше, тем больше: сколько их сейчас, «хроникеров»? — армия, миллионы же многие. . .

В «господине Г—ве» и есть как раз черты той необходимой и неизбежной личной отстраненности, механичности даже, которая является способом (и самозащитой) профессиональной хроникерской работы.

Но в Хроникере есть и другая ипостась типичности, может быть, еще более важная: без нее и первая не была бы столь художественно выразительна и действенна.

### «Русские мальчики», живой голос

Дело в том, что даже сама неопределенность Хроникера была исторически точной и вполне типичной (и типичность эта скаждым новым поколением заново и воспроизводится). Сколько таких «хроникеров», сколько таких «молодых людей», «русских мальчиков» было в ту пору в России. Они метались в противоречиях, ко всему прислушивались, приглядывались, спорили, остряли, вели записки, дневники. Они еще ни к чему не «прилепились», но уже начинали понимать, что «прилепиться» придется. Точь-в-точь, как Хроникер.

Достоевский прекрасно знал их и раньше (знал и по себе), ими он больше всего интересовался — «молодыми месяцами», по выражению И. А. Гончарова, который, напротив, принципиально отказывался их «штудировать» (дескать, рано еще). Достоевский же страшно боялся проглядеть какую-нибудь «фазу» роста этих «месяцев». И боязнь эта была особенно сильной именно в то время, в его далеком и долгом зарубежном одиночестве.

Он пишет А. Майкову в августе 1869 г.: «Мысли кой-какие есть, но надо России» (П., II, 203). Пишет ему же в апреле 1870 г., что боится отстать от России, и добавляет: «...действительно, я отстану — не от века, не от знания, что у нас делается (я наверно лучше Вашего это знаю, ибо *ежедневно!* прочитываю три русские газеты до последней строчки и получаю два журнала) — но от живой струи жизни отстану; не от идеи, а от плоти ее, — а это уж как влияет на работу художественную!» (П., II, 261).

И можно представить себе, что означал для него каждый живой человек, каждый живой голос из России. А если это русский студент, да к тому же человек близкий, родной? Из него можно выпытать все-все, даже такое, о чем он и сам не подозревает. Достоевский ведь был и гениальным вопрошателем и слушателем, мастером задавать вопросы и получать ответы.

В октябре 1869 г. в Дрезден приезжает брат его жены, Анны Григорьевны, двадцатилетний И. Г. Сниткин, слушатель Московской Петровской земледельческой академии. Такой человек в такое время в таком далеке — настоящий подарок судьбы.

Анна Григорьевна вспоминает: «На возникновение новой темы повлиял приезд моего брата. Дело в том, что Федор Михайлович, читавший разные иностранные газеты <...> пришел к заключению, что в Петровской земледельческой академии в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения. Опасаясь, что мой брат по молодости и бесхарактерности может принять в них деятельное участие, муж уговорил мою мать (приехавшую к Достоевским весной 1868 г., — Ю. К.) вызвать сына погостить у нас в Дрездене <...> Федор Михайлович, всегда симпатизировавший брату, интересовался его занятиями, его знакомствами и вообще бытом и настроением студенческого мира. Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут-то и возникла у Федора Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из главных героев взять студента Иванова (под фамилией Шатова), впоследствии убитого Нечаевым. О студенте Иванове мой брат говорил как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой брат, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал искреннюю привязанность!»<sup>5</sup>

Здесь есть неточности, которые, однако, не должны заслонить главное, несомненное, а именно: сам факт приезда И. Г. Сниткина, сам факт его рассказов, — факт, имевший для Достоевского значение чрезвычайное. С какой жадностью, с каким вдохновенным вниманием и трепетом должен был он слушать юношу, угадывать в его интонациях отзвуки гула молодой России: в чем их смысл? что значит этот гул? что он сулит?

И действительно, как поразятся все они (Достоевский, Анна Григорьевна, сам Иван Григорьевич, их мать), когда узнают через месяц, что Иванов, о котором только что так живо и страстно говорили, убит... Выходит, предчувствия не обманули. Приезд И. Г. Сниткина и в самом деле оказался спасением для него. Кто знает, как обернулась бы его судьба, останься он в Москве, в своей академии?..

«Бывают странные сближения», — сказал Пушкин.<sup>6</sup> И тут как раз все сплелось, все совпало как-то странно и чудно, до неправдоподобности. «Мой пораженный ум», — скажет позже Достоевский именно в связи с этим убийством Иванова Нечаевым. Нельзя не поразиться и такому совпадению: Достоевский был... Нечаевым — по девичьей фамилии своей матери, Марии Федоровны Нечаевой... (Представьте, читатель, что человек с Вашей фамилией совершает то, что нынче называют «преступлением века», — даже самая безэмоциональная, чисто рассудочная натура будет чем-то встревожена, задета, не правда ли?).

Но вернемся к нашему Хроникеру. Во всяком случае он ти-

<sup>5</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 190—191.

<sup>6</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11. М.—Л., 1949, с. 188.

пичен в обеих своих ипостасях: как почти газетный репортер и — еще больше — как ищущий «русский мальчик».<sup>7</sup>

«Если зарождается, то еще не *тип*»,<sup>8</sup> — писал Гончаров Достоевскому, который и в зарождающемся умел видеть тип и умел из этого создавать художественный тип: «..только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип *современно* и подает его *своевременно*» (21, 89).

Не угадан ли современно и не подан ли *своевременно* и тип Хроникера?

«ЧТОБЫ НАПИСАТЬ РОМАН, НАДО ЗАПАСТИСЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ СИЛЬНЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ПЕРЕЖИТЫМИ СЕРДЦЕМ АВТОРА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. В ЭТОМ ДЕЛО ПОЭТА. ИЗ ЭТОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ТЕМА, ПЛАН, СТРОЙНОЕ ЦЕЛОЕ. ТУТ ДЕЛО УЖЕ ХУДОЖНИКА, ХОТЯ ХУДОЖНИК И ПОЭТ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ И В ЭТОМ И ДРУГОМ — В ОБОИХ СЛУЧАЯХ» (16, 10).

Убийство Иванова Нечаевым, газетный шум вокруг этого убийства, связь И. Г. Сниткина с Ивановым, его приезд и рассказы — не слилось ли все это в такое «сильное впечатление»? (разумеется, были и другие, но о них — в другом месте). Не пережилось ли оно «сердцем автора действительно» («дело поэта»)? И не оно ли во многом определило и сам тон романа, его лад, создание образа Хроникера («дело художника»? Здесь взаимопомощь «поэта» и «художника» органична и очевидна.

«Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем еще яснее: художественность, например хотя бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель ее понимал, создавая свое произведение <...>»; «То-то и есть, что художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления в образах...» (18, 80, 93).

Мы уже убедились и еще больше убедимся в том, что и в Хроникере — полное «согласие» «художественной идеи с той формой, в которую она воплощена» (18, 80).

---

<sup>7</sup> Ср.: «Хроникер <...> несколько напоминает профессионального газетчика, фельетониста... Г—в — беспокойный хроникер периода брожения и „химического“ разложения общества; человек толпы, запутавшийся и сбившийся с толку современник и очевидец непонятных и зловещих событий. И в то же время бег хроникера — не просто обычная суетная погоня за сенсационными фактами, всецело объясняемая „аппетитом“ к скандальному: это движение к истине, жажда доискаться первопричин и смысла свершившихся беспорядков и трагедий» (Туниманов В. Рассказчик в «Бесах» Достоевского, с. 160).

<sup>8</sup> Гончаров И. А. Собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 457.

И еще об одном. А что, если Иван Григорьевич Сниткин и явился живым прототипом Хроникера (во всяком случае одним из них)? Ведь реально-то он был хроникером (буквальным!) для Достоевского. И не во время ли его рассказов в Дрездене, не с его ли живого голоса, как с камертона, и был взят, угадан, пойман тон будущего рассказа «господина Г—ва»? Может быть, голос этот и был (пусть неосознанно вначале) «записан» в художественной памяти Достоевского, а потом — воспроизведен и, конечно, преобразован? Не этим ли еще обстоятельством и объясняется то, что художник сразу же легко и свободно находит лад и тон романа — «без малейшей шероховатости»?

Напомню еще одно свидетельство — самого Достоевского. Он писал в 1871 г. из Дрездена: «С Ив<аном> Григорьевичем мы прожили здесь весь прошлый год; я видел его каждый день. Как он ни молод, но в нем уже и теперь ясно виден будущий честный, твердый, дельный человек. Он, конечно, слишком наивного, увлекающегося благородства, но на вещи он уже и теперь смотрит ясно и рассудительно и безрассудства не сделает» (П., II, 314). «Тут чистота сердца и невинность первоначальные...» (там же).

Не правда ли, у Хроникера — подобные же черточки, а может быть, и само ядро характера такое же? По-моему, все сходится здесь на редкость.<sup>9</sup>

«Пусть потрудятся сами читатели»

Нет, «Бесы» — не механический репортаж, не информация работа. Это — произведение, в котором бьется живое сердце живого человека. И Хроникер — не рупор Достоевского. Он «сам по себе». Достоевский, так сказать, лично его любит, но как писатель это скрывает. Оттого (как потом и в «Подростке») герой становится симпатичнее читателю.

Вспомним слова Хроникера, относящиеся к Степану Трофимовичу, оскорбленному встречей с «Петрушей» и «проклятием» Варвары Петровны, — эти слова много говорят и о самом Хроникере: «Это было глубокое и *настоящее* уже горе <...> А ведь *настоящее*, несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким, ну хоть на малое время; мало того, от настоящего горя даже дураки иногда умнеют, тоже, разумеется, на время, это уж свойство такое горя...» (10, 163). И нельзя это рассуждение отнести лишь на счет гениального автора. Антон Лаврентьевич и сам испытал горе, и без горя этого вряд ли было бы вообще понятно, почему он взялся за перо.

---

<sup>9</sup> Могут быть, конечно, и другие прототипы, например сам Достоевский времен своей журналистской молодости или Ап. Григорьев (последнюю догадку я слышал также от Б. Н. Рыбалко, директора Литературно-мемориального музея Достоевского в Ленинграде).

«Бестелесный статист»... Перечитайте страницы, где говорится о Лизе. В каждом слове скрыто именно его отношение к ней. Он замечает в ней то, чего никогда бы не заметил равнодушный репортер и что может видеть только влюбленный (безнадежно) и очень ущемленный человек. Чувствуется, как он сдерживается и — не может сдержаться. И какая в его словах боль, какое целомудрие и неумелое еще достоинство. А как он «срывается», как (к собственному удивлению) поднимает голос — почти руку — на «Петрушу»: «Это ты, негодяй, все устроил!» (10, 384), т. е. «устроил», что Лиза оказалась у Ставрогина, и вообще весь скандал на празднике. И дальше о «Петруше»: «... рассказывая, он раза два как-то подло и ветрено улыбнулся, вероятно, считая нас уже за вполне обманутых дураков. Но мне было уже не до него; главному факту я верил и выбежал от Юлии Михайловны вне себя. Катастрофа поразила меня в самое сердце. Мне было больно почти до слез, да, может быть, я и плакал. Я совсем не знал, что предпринять <...> Вся эта почва с своими почти нелепыми событиями и с страшною „развязкой“ наутро мерещится мне до сих пор как безобразный, кошмарный сон и составляет — для меня по крайней мере — самую тяжелую часть моей хроники» (10, 384—385). Вот и «мертвый муляж»...<sup>10</sup>

Да, именно через это свое личное отношение, через свою боль и ущемленность он прежде всего и прозрел и начал определяться. И уж что-то, а прививку антиверховенщины он получил сполна и навсегда.

А случайно ли по имени-отчеству Хроникера называет (т. е. именуется его, т. е. видит в нем личность) только Лиза? И случайно ли «Петруша» «забывает» даже его фамилию? «Гомеопатические дозы», по Достоевскому, самые действенные в искусстве.

Хроникер бездействен? Обыватель? В каком смысле? Не вмешивается в события? Но разве не действует он, когда старается все подметить, все разузнать, а главное — все «припомнить и записать»? И не из праздного любопытства. Все бы так бездействовали! У этого «обывателя» есть главное дело и огромное — «Хроника». (То-то удивились бы герои романа, узнай, что этот бегающий «молодой человек» способен на такое. Кто еще из них мог это сделать? А может быть, поразмыслив, кое-что припомнив, и не удивились бы вовсе).

Драгоценной (используя частое слово Достоевского) является запись из черновиков к «Бесам» — о Нечаеве (Петре Верховенском) от имени Хроникера: «Как же это назвать? Отвлеченным умом? Умом без почвы? и без связей — без нации и необходимого дела. Пусть потрудятся сами читатели» (11, 303).

Но еще, быть может, драгоценнее то, что этих слов в романе нет. Выбросил. Почему? Да именно потому, что весь роман по

---

<sup>10</sup> Я не понимаю, почему В. Туниманов считает: «Свое прошедшее чувство к Лизе хроникер описывает ретроспективно и спокойно» (Туниманов В. Рассказчик в «Бесах» Достоевского, с. 118).

своему духу, тону и без того есть с самого начала как бы приглашение читателя к дискуссии, и чем дальше, тем сильнее.<sup>11</sup> Хроникер «задирает» читателя, все острее «провоцирует» его на спор, заставляет «потрудиться». И то, что вначале воспринимается как приглашение к дискуссии, оказывается вдруг каким-то водоворотом, из которого читатель должен выплывать уже сам.

Вообще по черновикам видно, что объяснения Хроникера, как правило, урезаются. Его позиция выражается больше в самом его тоне, в его интонациях, обертонах (все те же «гомеопатические дозы»).

Да, Хроникер не судья, не прокурор, но и не адвокат. Он — свидетель, свидетель не навязчивый, но объективный, добросовестный, искренний, а потому и располагающий к доверию, тем более что сохраняет за собой право ошибаться, но зато сознает и обязанность признаваться в ошибках. И при всем при том остается ощущение, что он знает и понимает больше, чем говорит. Тайна не только в событиях, им рассказанных. Есть и в нем самом нечто неуловимое, неисчерпаемое. Есть тайна и в нем.

Кстати, «Бесы», может быть, — самый «слуховой», самый «звуковой», многоинтонационный из романов Достоевского, что объясняется не просто известными общими закономерностями художественного мировоззрения писателя, но и самими конкретными условиями создания романа.

Сочетание предельной объективности (Хроникер сообщает «чистые» факты) с предельной же субъективностью (оценки фактов даны от имени колеблющегося, окончательно не определившегося и как бы не авторитетного лица) оказывается чрезвычайно продуктивным художественно: читатель, имея необходимую и точную информацию о событиях, получает и мощный стимул к свободному и полемическому сотворчеству. А это самое главное, потому что живой читатель — все для Достоевского. И его, читателя, труд над книгой — это прежде всего и больше всего труд его над самим собой.<sup>12</sup>

Хроникер и стимулирует этот труд. Стимулирует живым и заразительным примером своим. В конце концов он и сам именно благодаря своей «хронике» сделался из пассивного свидетеля активным участником событий: «хроника» и есть это участие. А он, «господин Г—в», — едва ли не самый изменившийся и самый изменяющийся (в перспективе) образ романа. У него больше, чем у кого бы то ни было, «степеней свободы», он больше всех

<sup>11</sup> «... читатель приглашается автором принять посильное личное участие в распутывании узлов и разгадывании „психологических ребусов“...» (Гуниманов В. Рассказчик в «Бесах» Достоевского, с. 139).

<sup>12</sup> Ср.: «Достоевский стремился „высказаться весь“, а не навязать свою веру, хотел заразить читателя своей тревогой и болью, а там уж пусть каждый сам вырабатывает свои собственные убеждения. Это принципиально открытая модель, рассчитанная на развитие после усвоения спорных фактов и идей <...> он завоевал читателя для свободы, а не для рабства» (Назоров Р. Проблема читателя в творческом сознании Достоевского, с. 235).



открыт для развития. Его никакая идея не придавила камнем. В отношении к каждой у него просвечивает собственное мнение. Даже по отношению к религии, к «русской идее» нет в нем и намек на какую бы то ни было иступленность. Не будем, однако, преувеличивать и степени его неопределенности. Кое в каких — и важнейших — вопросах за него можно ручаться. Есть в нем ядро: недаром он у «наших» либералов побывал, но к «нашим» из «пятерок», к «Петруше» не пристал и никогда не пристанет. А это не так уж мало. Есть в нем и тяга к «предвечным вопросам». Иначе зачем бы он рассказывал о диалогах Ставрогина с Шатовым, с Кирилловым, с Тихоном? Откуда-то догадался о том, чего и знать вроде не мог. Почему-то вообразил себе такое, о чем прежде и не задумывался. И нас это не смущает, мы этого словно не замечаем, не хотим уже замечать, прочитываем эти страницы как безавторские, но если вдуматься, то ведь перед нами — важнейшая особенность образа Хроникера (а не «технологический» прием). В этом неожиданном и органическом, кровном приобщении его к «предвечным вопросам» — выражение принципиального, так сказать, мировоззренческого демократизма Достоевского, выражение глубоко скрытой, но и глубоко существующей, реальной конгенитальности людей, способности их к бесконечному развитию.

Таким образом, Хроникер оказался сильным художественным противовесом известной предвзятой тенденциозности Достоевского. В немалой степени именно благодаря Хроникеру роман, первоначально задуманный как «памфлет», превратился в «поэму».

Достоевский глубоко чужд и открыто враждебен всякому заигрыванию с читателем, «кармазиновскому» выклянчиванию лавровых венков (всем подольцу — только признайте меня гением). Зачастую кажется даже, что Достоевский к читателю беспощаден — не только в смысле изображения «непереносимых» сцен, но и в том смысле, что возлагает на него неизмеримо тяжкий труд: ничего даром, за каждый проблеск понимания плати этим трудом.<sup>13</sup> В действительности это — величайшая вера художника в неизведанные и неисчерпаемые силы читателя-человека, знание, что силы такие есть, это — вера и знание, без которых не мог бы он написать ни строчки: зачем? зачем, если этих сил нет?..

Находят противоречие в том, что Хроникер говорит порой слишком умно для него — вот кому, дескать, даром отдаются глубочайшие мысли. Но как полное устранение автора (Достоевского), так и почти прямое вмешательство его в речь Хроникера одинаково входят в художественный расчет писателя. И, повторю, это вовсе не «технологический» прием, а мировоззренческий принцип: Достоевский словно возвращает людям то, что в них же и

---

<sup>13</sup> Р. Назиров верно пишет: Достоевский «утвердил *болевого эффект*», который дает ему «огромную власть над душой читателя», и сумел «сделать самую трудность «чтения» увлекательной» (Назиров Р. Проблема читателя в творческом сознании Достоевского, с. 220, 221, 223).

открыл. У него едва ли не каждый герой, самый неприметный, в силах понять и сказать такое, чему мог бы позавидовать кто угодно, хоть сам Достоевский. У него даже Федька Каторжный так говорит о «Петруше»: «...я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его» (10, 205).

В конце концов Достоевский действительно «дарит» Хроникеру «Бесы» (а что «дарит» Пушкин Белкину?). Условность? Конечно. Но оправданная же. Такой условности хроникер из «Дядюшкиного сна» не осилил бы, надорвался б, а этот выдерживает, и не просто выдерживает, а переделывает себя. Но если такое под силу Хроникеру, если с ним можно спорить «на равных», то ведь — кто знает? — может, и сам читатель окажется способным стать в свое время Хроникером? В этом и состоит главный расчет Достоевского — не побоимся здесь этого «рассудочного» слова, оно выражает только одно, а именно: для Достоевского самоцель искусства — «найти в человеке человека».<sup>14</sup> А это и означает конкретно — выявление человеческого «Я» читателя.

Вот одно из его самых жестких, суровых, мужественных, а потому и самых реалистических убеждений: «По-моему, одно: осмыслить и прочувствовать можно даже верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители <...> Мало того: мыслители провозглашают общие законы, то есть такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал и возможен был, то с *недобеланными* людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе над собой и мог бы проявиться наш гражданин» (25, 47).

Но все это рассуждение применимо и к соотношению: писатель — читатель. Читая художественное произведение, можно кое-что понять и верно и разом, но понять всю глубину содержания, сделать его действительно своим нельзя «разом», тут тоже «неустанная дисциплина и непрерывная работа над собой».

«Пусть потрудятся сами читатели» — эта формула Достоевского тоже есть его мировоззренческое кредо. Содержание, глубина простой этой формулы неисчерпаемы. Она ведь — конечное звено, она — цель всего писательского труда.

«Поверь, — писал Достоевский брату, — что везде нужен труд, и огромный. Поверь, что легкое, изящное стихотворение Пушкина, в несколько строчек, потому и кажется выписанным сразу, что оно слишком долго клеилось и перемарывалось у Пушкина» (П., I, 236).

И если даже одно произведение искусства, если даже стих один требует такого вдохновенного труда, то по-своему не мень-

<sup>14</sup> См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, отд. II, с. 373 (Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского, т. I).

шего труда требует и понимание, усвоение его читателем, а главное: каких же трудов, каких, несравненно больших, усилий требует преобразование всей жизни по законам красоты?

Порой Достоевский определял эстетику как искусство творить себя, искусство жить, прямо отождествлял ее с преобразованием жизни: «Эстетика есть открытие прекрасных моментов в душе человеческой, самим человеком же для самосовершенствования». Еще: «Жизнь есть то же художественное произведение самого Творца, в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения». Здесь изумительнее всего то, что Достоевский допускает, в сущности, «еретическую» проговоруку: не Пушкина он меряет по Творцу, а Творца — по Пушкину, творение — по стихотворению!

Конечно, он прекрасно понимал, что ни от каких проповедей глупцы не становятся умнее, а подлецы честнее, что никакая книжка не в силах переделать человека. И в то же время он опять-таки не мог бы написать ни строчки, если б не верил в силу слова и в открытость душ для слова. Потому и писал он каждый раз так, будто от написанного им зависит все, все — вся судьба человечества. И в известном смысле встреча его книги с будущим читателем и была для него маленькой идеальной «моделью» (и маленьким реальным звеньшком) перестройки всего мира, если «потрудятся сами читатели».

Заключение. «Лучше бы „Бесов“ не было...»

А теперь представьте, что Хроникера нет и не надо его вовсе («роман живет вопреки Хроникеру»). Представьте: нет и не надо Антона Лаврентьевича Г—ва. Не жаль разве, говоря «по человечеству»? Не жаль с чисто читательской, никакими теориями не искушенной точки зрения? Пусть и Белкина не будет, и Подрустка... Чудно все-таки устроено наше сознание: веришь в образ как в живое существо (и даже иногда больше).

Но и с позиции строгой критики выясняется, что Хроникер — действительно настоящее художественное открытие. Именно Хроникер — высшей художественной волей Достоевского — и создает все поле напряжения романа, поле и незаметное и столь мощное, что в нем удерживаются — не разлетаются — и такие «планеты», такие миры, как Шатов, Кириллов, Ставрогин, Тихон, Хромовошка...<sup>15</sup> И не Антон ли Лаврентьевич как-то незримо, но ощутимо утепляет роман своей личностью, личностью ищущего «русского мальчика», искреннего, с первоначальной чистотой сердца и со все более зреющим, ироничным и благородным умом? Ведь он в конце концов — светлый луч (не один он) в почти крошеч-

<sup>15</sup> Ср.: «...усложненная, многофункциональная, амбивалентная роль рассказчика-хроникера — это ведущий принцип структуры романа, организующий различные слои в единую систему» (Гуниманов В. Рассказчик в «Бесах» Достоевского, с. 162).

ной тьме... Ведь сам рассказ о бесовщине, рассказ о том, что она может быть, должна быть распознана, понята, изобличена, рассказ, вовлекающий читателя в труднейший процесс этого постижения бесовщины, — это же и есть начало одоления ее.

Оптимизм в искусстве — это когда будят совесть, совесть людей. Пессимизм — когда совесть усыпляется, извращается, забывается, — вот беспросветность.

Хроникер будит совесть.

Он слаб? Противоречив? Конечно. Ну так ведь никто и не идеализирует его, никто не возводит на героический пьедестал. Он слаб — будем сильнее.

Не будь Хроникера в «Бесах», не было бы, может, и самих «Бесов». И уж если кто об этом и мечтал бы, то, конечно, в первую очередь — сам Петр Верховенский. Зададимся вопросом, выходящим за рамки «чистой» критики: а что бы сделал «Петруша» с Хроникером, узнай о его «хронике»? Вспомнил бы фамилию! Спровадил бы туда, куда спровадил Шатова. И еще один вопрос, выходящий за рамки: а что бы сей «Петруша» сделал с «Бесами», будь на то его воля? Кажется, ни у кого нет ни малейших сомнений на этот счет: сжег бы испуленно и трусливо, сжег бы, страшась разоблачений, страшась увидеть диагноз собственной омерзительной и смертельной болезни, которая грозит смертью всем. И еще вопрос, такой же фантастический — об отношении Петра Степановича к Достоевскому и Пушкину. Только так ли уж фантастичен этот вопрос? Ответ на него предусмотрен в самих «Бесах», устами самого «Петруши»: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями <...> горы сровнять хорошая мысль, не смешная <...> мы всякого гения потушим в младенчестве» (10, 322—323). Чем не полная программа «казарменного коммунизма»? Кстати, в начале 60-х годов, работая в журнале «Проблемы мира и социализма», я слышал от одного из «леваков», что «лучше бы, „Бесов“ не было» (!). Превосходная оценка романа. Его боятся как огня. Значит, он живет, горит, жжет.

Да, да, убийцы вроде «Петруши» сплошь и рядом оказываются очень своеобразными «критиками» и «литературоведами», и по-своему очень даже безошибочными. Многие, очень многие дискуссионные и принципиальные литературоведческие проблемы решены способом совсем не литературоведческим, решены в гитлеровских лагерях, в кострах, решены огнем, пулей, мотыгой по голове в качестве аргумента. Но зато вот эти именно «художественные вкусы» таких «критиков», вот это их отношение к авторам и произведениям и есть, если угодно, высшая оценка и авторов и произведений: их боятся, их ненавидят, значит — они работают.

И здесь нельзя не сказать, хотя бы коротко, о социальной оценке романа в целом.

Предвзятости и противоречия Достоевского здесь очевидны и

давно выяснены. Ни замалчивать, ни смягчать их невозможно. Основное из них — смещение революционеров, социалистов истинных, действительно преданных интересам «девяяти десятых», с карьеристами от революции и социализма, готовыми пойти на любую ложь, подлость, насилие ради своей власти. Однако и здесь, в романе, Достоевский заставляет Петра Верховенского признаться: «Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха!» (10, 325). И здесь один из героев, столкнувшись с кровавой, омерзительной практикой верховенщины, восклицает: «Это не то! Нет, нет, это совсем не то!..» (10, 461). Настало (и давно уже настало) время признать и художественные открытия, совершенные Достоевским в этом романе.

Десять лет назад Б. Л. Сучков говорил в своем докладе в честь 150-летия со дня рождения Достоевского: «Роман „Бесы“ являет собой анатомию и критику ультралевацкого экстремизма».<sup>16</sup> Нынешний уровень нашей науки в оценке «Бесов» зафиксирован в 12-м томе Полного собрания сочинений Достоевского — больше двухсот страниц убористого текста. «Бесы» характеризуются здесь как «роман-предостережение», предостережение о смертельной опасности человечеству со стороны чисто фашистских и ультрареволюционных бесов, которые — чем дальше, тем больше — смыкаются друг с другом.

В свое время некоторые критики писали, что «Бесы» — это не социальный роман, что здесь, мол, вообще нет «униженных и оскорбленных», нет «бедных людей». Но, спрашивается, что прежде всего, сильнее всего разоблачает Достоевский в бесовщине, как не вопиющую антинародность ее, как не стремление еще сильнее унижить и оскорбить «девяяти десятых»? Тут ведь именно о трагедии народной идет речь! А Хромоножка? Матреша? Разве это не гениальные образы предельно «униженных и оскорбленных»? Проклятие Хромоножки Ставрогину, кулачок Матрешы — это ли не художественный символ народного проклятия ставрогиным? И разве нет здесь развития острейших и сложнейших социальных тем — «преступления и наказания», веры и безверия? Разве не живы вопросы, мучившие Шатова и Кириллова? Или думы о смысле духовного бытия человека и человечества, защита народа, защита «девяяти десятых», защита высших нравственных идеалов, культуры, искусства, наконец, защита самой «жизни живой» — это все не социально?! Что же такое тогда социальность? .. Нет, здесь не отказ от социальности (по сравнению, скажем, с «Бедными людьми» или «Униженными и оскорбленными»), а небывалое ее развитие, углубление. Уровень художественного исследования социальности необычайно углубился, а мы должны повторять, будто ее нет вообще. . .

Как не вспомнить о «Бесах» в связи с эволюцией Сартра, который закончил чистой бесовщиной, призывая изодрать «Джиоконду» Леонардо да Винчи? Достоевский только в одном

<sup>16</sup> Сучков Б. Действенность искусства. М., 1978, с. 339.

оказался неточным, предвидя этот персонаж в тех же «Бесах», — у него шла речь о «Мадонне» Рафаэля. Вспомним милого, слабого Степана Трофимовича, у которого достало, однако, сил устоять накануне смерти своей перед бесами: «Я расскажу о том подлом рабе, о том, вонючем и развратном лакее, который первый взмоетится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала, во имя равенства, зависти и ... пищеварения. Пусть прогремит мое проклятие...» (10, 266—267). Вот как работает роман Достоевского! Некоторые «крепкие» выражения из этого монолога можно, пожалуй, и опустить, да ведь, по правде говоря, не хочется: только представьте себе, что призыв Сартра — чудовищная реальность; у него просто не было сил «взмоститься», а были бы — «взмостился» бы под радостное улюлюканье бесов...

Я знаю, что все время «путаю» искусство и действительность, образы и живых людей, знаю, но не могу и не хочу не «путать». И настоящая-то путаница, по-моему, как раз тогда, когда одно от другого отделяют настолько, что можно подумать, будто не было у Достоевского никаких других забот и целей, кроме как снабдить «чистых» литературоведов «чистым» материалом, чтобы они «разбирали» одни образы, сюжеты, «приемы» и прочее с тем, чтобы потом еще лучше «разбирать» другие, третьи и т. д. Понадобилось около ста лет, понадобилось обязательно пожить во второй половине нашего двадцатого века, чтобы многое темное, изображенное Достоевским, прояснилось, чтобы понять понятое им, открыть им открытое, чтобы за всеми несомненными и острейшими противоречиями его увидеть, наконец, доминирующую его тенденцию: ведь в конце концов он жизнь людей хотел спасти, жизнь людей на этом свете, для этого света, спасти высшим одухотворением ее, подвигнуть их на подвиг он хотел.

У Достоевского — особая художественность, художественность такой беспощадной и мужественной правды, которая только одна и является спасительной. Оди́п французский писатель сказал: «мне помешал стать гением слишком большой вкус». Я думаю, что вкус этот выразился и в самом афоризме. Только, по-моему, может быть, не о слишком большом вкусе к литературе, а о слишком малом вкусе к самой жизни шла здесь речь. Есть и другое выражение: гений — человек, который начинает беспокоиться раньше всех. Это — прямо о Достоевском, как и следующие слова: «Намеренно терпкими и тяжелыми образами царапая сердце, он разрушает существующий эстетический канон и переступает границы искусства. Болевой эффект, заменяемый читателем эстетический эффект, порождает протест в его душе; энергию этого протеста автор как бы „переадресовывает“ впечатлениям окружающей жизни («Вам больно слушать?»)».<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Назиров Р. Проблема читателя в творческом сознании Достоевского, с. 227,

«Вам больно слушать?» — а каково видеть все это на самом деле? каково жить с этим? отвернуться, что ли? ..

Однако долгое время многие читатели «переадресовывали» свои впечатления не действительности, а обратно — самому Достоевскому, обвиняя его в «клевете» на действительность. «Жесточкий талант», «Не на тех бесов вы напали» — такие «отметки», как учитель взбалмошному ученику, выставил прекраснотушный (в данном случае) Михайловский Достоевскому, и нет-нет, они повторяются и сейчас, будто ничего в мире не изменилось за эти сто лет. . .

Достоевский писал: «... человек, на поверхности земной, не имеет права отвергиваться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие *нравственные* причины на то» (П., II, 274). Он (как и всякий великий художник) и занимался болезнями смертельно опасными, а не такими, от которых и осложнений-то никаких не бывает, и уж, конечно, не его профессией было выдавать злокачественную опухоль за какой-нибудь флюс. Социальная чума и холера, рак и сифилис духовный («трихины»!) — вот чем он занимался, куда уж тут до «вкуса». И как нельзя, физически нельзя, невозможно — «красиво» писать о Хирросиме, так и нельзя было для Достоевского, невозможно — «красиво» модулировать голосом, когда кричал он о смертельной опасности роду человеческому от таких энтузиастов социального разврата, как «Петруша» Верховенский.

НЕЗАМЕЧЕННЫЕ ОТКЛИКИ НА «АННУ КАРЕНИНУ»  
В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ»

Печатание «Анны Карениной» в «Русском вестнике» тянулось более двух лет (январь 1875—апрель 1877 г.) и не было закончено из-за разногласий Толстого с Катковым по восточному вопросу.

Достоевский прилежно читает нерегулярно появляющиеся в «Русском вестнике» части и главы нового произведения Толстого, однако в течение длительного периода оно не кажется ему значительным по своему содержанию. Его восхищают лишь «подробности» (по всей вероятности, подробности психологические и бытовые); повествование же в целом представляется ему вариацией «истории барского русского семейства», рассказанной гораздо лучше («свежее», по его определению) в «Детстве» и «Отрочестве» и в «Войне и мире». Эта спокойная и в известном смысле пренебрежительная трактовка романа сменяется восторженной после прочтения шестой его части, в которой происходит ночная беседа «чистого сердцем» Левина с «циником» Облонским. В «Дневнике писателя» за февраль 1877 г. эта беседа характеризуется как «отвечающая настоящей злобе дня». Достоевский усматривает в ней пророческое указание на потенциальную предрасположенность русского общества к мирному и, как ему кажется, единственно разумному и нравственному, «русскому решению вопроса» социального. И далее он отводит анализу и оценке толстовского романа июльско-августовский выпуск «Дневника».

Можно ли, однако, утверждать, что все сказанное Достоевским об «Анне Карениной» локализуется в пределах «Дневника писателя» за февраль и июль—август 1877 г.? Вопрос этот отнюдь не риторический. Дело в том, что многозначительные намеки на «Анну Каренину» встречаются и в той части «Дневника писателя», которая написана в хронологическом промежутке между этими крайними датами. Есть основания полагать также, что роман был для Достоевского в некоторых случаях не только объектом анализа, но и фактором существенного воздействия на самый строй и характер выражения его публицистической мысли.

Весной 1877 г., в ожидании окончания толстовского романа, Достоевский не перестает размышлять о нем в связи с такими



актуальными вопросами русской пореформенной действительности, как вопрос о землевладении, вопрос о народном просвещении и образовании вообще. Быть может, незаметно для него самого размышления эти окрашиваются подчас в тона идей и образов творца «Анны Карениной» и фиксируются затем на страницах «Дневника». Чтобы убедиться в этом, сопоставим текст некоторых глав третьей части «Анны Карениной» с текстом «Дневника писателя» за май—июнь 1877 г.:

«Анна Каренина»

(Часть третья, гл. XXVIII. Из разговора Левина с помещиком Свяжским).

«Народ стоит на такой низкой степени и материального и нравственного развития, что, очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идет потому, что народ образован; стало быть, у нас надо образовывать народ, — вот и все.

— Но как же образовывать народ?

— Чтоб образовывать народ, нужны три вещи: школы, школы и школы.

— Но вы сами сказали, что народ стоит на низкой степени материального развития. Чем же тут помогут школы? <...>

— Дадут ему другие потребности.

— <...> Каким образом школы помогут народу улучшить свое материальное состояние? Вы говорите: школы, образование дадут ему новые потребности <...> А каким образом знание сложения и вычитания и катехизиса поможет ему улучшить свое материальное состояние, я никогда не мог понять <...> Народ беден и необразован — это мы видим <...> Но почему от этой беды — бедности и необразования помогут школы <...> непонятно <...> Надо помочь тому, от чего он беден <...> Школы не помогут, а поможет такое экономическое устройство, при котором народ будет богаче, будет больше досуга, — и тогда будут и школы».<sup>1</sup>

Конечно, не слово в слово совпадают эти тексты. Но смысловое и даже лексическое сходство между ними все же настолько велико, что не заметить его трудно. В чем же оно выражается?

<sup>1</sup> Толстой Л. Н. Полян. собр. соч., т. 18. М.—Л., 1934, с. 355—356 (юбилейное изд.).

«Дневник писателя», 1877,  
май—июнь

(Глава вторая, § 1. «Прежние земледельцы — будущие дипломаты»).

«Хлопочут, например, у нас теперь о просвещении, о народных школах, а я вот верю только тому, что школы тогда только примутся у нас серьезно и основательно, когда землевладение и земледелие наши организуются у нас серьезно и основательно, и что скорее не от школы получится хорошее земледелие, а напротив, от хорошего лишь земледелия (то есть от правильного землевладения) получится хорошая школа, но никак не раньше. Параллельно же с этим примером и всё: и порядки, и законы, и нравственность, и даже самый ум наций, и всё, наконец, всякое правильное отправление национального организма организуется лишь тогда, когда в стране утвердится прочное землевладение. То же самое можно сказать и о характере землевладения: будь характер аристократический, будь демократический, но каков характер землевладения, таков и весь характер нации» (25, 138).

В четком совпадении взглядов Левина (а Левин — это почти Толстой) и Достоевского на школы, т. е. на народное образование. По существу, оба они не согласны с либеральным помещиком Свяжским, считающим школу панацеей от всех народных бед.

Первым и неперенным условием улучшения «материального состояния» народа Левин считает не школу, а «такое экономическое устройство, при котором народ будет богаче». Школы же сами по себе, полагает он, не избавят народ от «бедности и необразования». Судя по всем признакам, Достоевский думает так же, только вместо термина «экономическое устройство» употребляет термины «хорошее земледелие», «правильное землевладение», «прочное землевладение». Примечательно, что, формулируя эту мысль, Левин—Толстой и Достоевский исходят из общего для них представления о брожении, неустойчивости, неупорядоченности русской жизни, явившихся следствием отмены крепостного права. Поблизости от процитированного отрывка из «Анны Карениной» читаем слова, ставшие знаменитыми: «У нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается...» (часть третья, гл. XXVI). Аналогична характеристика пореформенной хозяйственной неурядицы в «Дневнике писателя», причем совсем уже рядом с процитированным из него отрывком: «... с освобождением крестьян сельский труд остался без достаточной организации и обеспечения, и личное землевладение натурально струсило и сконфузилось так, как ни в какой исторический переворот не могло бы случиться больше». Как для автора «Анны Карениной», так и для Достоевского совершившаяся отмена крепостнических отношений равнозначна — по своим масштабам — небывалому историческому перевороту, после которого жизнь еще не вошла и неизвестно когда войдет в налаженную колею.

В прямую зависимость от упрочения «хорошего земледелия» и «правильного землевладения» Достоевский ставит не только «хорошую школу», но и все «порядки, и законы, и нравственность, и даже самый ум наций, и <...> всякое правильное управление национального организма...». И в данном случае ощущается тяготение его мысли к мысли Левина, несогласного со Свяжским. Заключение об «уме наций» и «правильном управлении национального организма» формулируется по контрасту с предшествующими безразлично пессимистическими суждениями Свяжского, считавшего Россию «страной вроде Турции», а «русского мужика стоящим по развитию на переходной ступени от обезьяны к человеку» (часть третья, гл. XXVI).

Идейная переключка между отрывками из второй главы «Дневника писателя» за май—июнь 1877 г. и главой XXVIII третьей части толстовского романа станет более очевидной, если мы вспомним, что в начале 1860-х годов, т. е. задолго до выхода в свет «Анны Карениной», Достоевский высказывал совсем другие соображения о распространении грамотности. Тогда его

точка зрения на этот вопрос в основе своей совпадала с типично либеральной точкой зрения. Так, например, в статье «Два лагеря теоретиков» (1862) он писал: «Народ оттого беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, какие у него под рукой. Значит прежде всего нужно позаботиться об его умственном развитии» (20, 20). Первостепенное значение грамотности подчеркивалось Достоевским и еще раньше, в статье «Книжность и грамотность» (1861): «... в обществе постиглась наконец полная необходимость всенародного образования <...> Мы этому рады; мы говорили еще в объявлении о нашем журнале: „Грамотность прежде всего, грамотность и образование усиленные — вот единственное спасение, единственный передовой шаг, теперь остающийся и который можно теперь сделать. Мало того: даже при возможности и других шагов грамотность и образование все-таки остаются единственным первым шагом, который *надо* и должно сделать“. Мы обещались особенно стоять за грамотность» (19, 5—6).

И вот в мае—июне 1877 г. в мыслях Достоевского совершается некий катаклизм. Припоминаемая или перечитываемая третья часть романа Толстого побуждает его внести принципиальные коррективы в свои представления о роли и значении грамотности. По-левински, или почти по-левински, он фактически отказывается от того, что сам же некогда утверждал с такой верой в непогрешимость своих слов. «Грамотность и образование усиленные» уже не кажутся ему как прежде «единственным» или первоочередным средством «спасения» народа. Однако в дальнейшем, под влиянием особых обстоятельств, генетическая связь этого вывода Достоевского с толстовско-левинскими размышлениями в третьей части романа теряет свои объективные очертания и становится почти незримой.

Следует отметить, что после выхода в свет восьмой части «Анны Карениной» симпатия Достоевского к Левину подверглась суровому испытанию на прочность. Одним из последствий такого испытания явилось капризное, если не тенденциозное, искажение в «Дневнике писателя» за июль—август 1877 г. цитировавшегося выше диалога Левина со Свяжским.

В новой, односторонне полемической интерпретации Достоевским содержания этого диалога изначальное четкое различие во взглядах Свяжского и Левина на школы и народное просвещение стирается и исчезает. Исчезает впрочем, и сам Свяжский, коварно оставляя в наследство Левину свой аристократический либерализм и свои одиозные суждения о народе и низком уровне его нравственного развития. Левин становится эклектиком, единоличным выразителем как типично либеральных, так и авторских воззрений на народ и его просвещение. Но воззрения, уплывающие им от Свяжского, бросаются при этом в глаза все же гораздо реже. В результате такой метаморфозы Левин

предстает в виде либерала, затвердившего формулу о сугубой необходимости «просвещения» и слепо не замечающего нравственной красоты народа, порожденной его многовековым самобытным развитием. Таким образом, дискредитация в лице Левина человека, позволившего себе усомниться в сознательном отношении темной народной массы к восточному вопросу, проводится в «Дневнике писателя» за июль—август 1877 г. с учетом «компрометирующего материала» не только восьмой, но и третьей части романа.

Непосредственная полемика с Левиным по этому поводу предвзвешается указанием на «историческую черту» в жизни народа — «ревность его к делу божью», «ко святым местам, к угнетенному христианству и вообще ко всему покаянному, божественному. . .». Достоевский как будто и «не думает» хвалить или порицать народ за эту черту, однако здесь же утверждает: «. . . ею, и только ею одною, то есть этою только чертою и возможно объяснить всю загадку *сознательности* прошлогоднего движения народа нашего в пользу „братьев-славян“». И раздел «Дневника писателя», в котором идет речь об этой «исторической черте», недаром озаглавлен броско и вызывающе, с явным расчетом на полемический эффект в среде либеральных поборников просвещения: «О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главнейшей сущности восточного вопроса». В этом-то разделе и происходит низведение Левина до уровня Свяжжского.

С обычной для него едкой иронией Достоевский соглашается: «О, наш народ — безграмотный невежда, это бесспорно, и ему даже в нравственном отношении можно бы насказать множество превосходных и просвещеннейших вещей насчет столь застарелой в нем, древней исторической черты его. Этим русским людям можно бы было разъяснить, что все их странствования, паломничества — суть только узкое понимание их долга и обязанностей; что нечего ходить за хорошим так далеко, что лучше было бы, если б он бросил пьянство, обратил внимание на умножение своего благосостояния, на приращение экономических сил, не бил жену, обратил внимание на школы, на шоссежные дороги и проч., одним словом, хоть чем бы нибудь способствовал, чтоб Россия, его отечество, стала наконец походить на другие „просвещенные европейские государства“ < . . . Одним словом, можно бы наговорить много прекрасного; но что же, однако, делать, если так именно сложилась эта историческая черта < . . . > По крайней мере, в ожидании „просвещения“, умный Левин мог бы за честь народу эту *историческую черту его*. Он мог бы понять, по крайней мере, что многие добровольцы и народ, провозжавший их, действовали из побуждения хорошего, думали дело сделать доброе < . . . >, а, стало быть, во всяком случае это были хорошие представители народа, конечно, не „блиставшие просвещением“, но и не потерянные же люди. . .» (25, 216—217).

Достоевский полемически переосмыслил слова Свяжжского

в разговоре с Левиным. В третьей части романа Левин ничего подобного не говорил, а в восьмой части он неуважительно отозвался лишь о «сотнях», в крайнем случае «десятках тысяч людей» из народа, «потерявших общественное положение». На весь «восьмидесятимиллионный народ» его критика не распространялась. Тем не менее порицание за оскорбительное отношение ко всему народу направляется Достоевским исключительно по адресу Левина. Еще резче эта тенденция выражена в подготовительных материалах, где фамилия Левина фигурирует в самом начале текста, соответствующего комментируемому отрывку из «Дневника писателя». Там сказано: «Конечно, русский народ небезобразен и груб, но Левин мог бы зачестить ему эту историческую черту <...>, простить его за уязвимость, так сказать, понимания хорошего...» и т. д. В подготовительных материалах мысли Свияжского о народной темноте, о неудовлетворительном нравственном состоянии народа инкриминируются и непосредственно Толстому. Только что процитированный текст предваряется там заметкой следующего содержания: «Такие негодяи смотрят с высокомерием на русский народ, что уж от таких людей, как граф Толстой, он бы мог ждать и оправдания себе».

Как видим, один и тот же текст из третьей части «Анны Карениной» трансформируется в «Дневнике писателя» дважды, но по-разному. В первом случае (май—июнь 1877) очевидна частичная или даже полная солидарность с Левиным—Толстым по вопросу о школах и народном просвещении. Во втором случае (июль—август 1877) либеральная (Свияжский) и толстовско-левинская точки зрения на этот вопрос неправомерно объединяются, синтезируются и включаются в общий поток аргументации, размывающей «еретическую» позицию Толстого—Левина по восточному вопросу.

Примечательная отголосками толстовско-левинских представлений о школах, народном просвещении и народном благосостоянии, подглавка «Прежние земледельцы — будущие дипломаты» любопытна и в другом отношении. Есть основания полагать, что в ней подверглись утрированно публицистическому заострению и обобщению, в духе почвеннической идеологии, и толстовско-левинские критические замечания о воспитании юных представителей «средне-высшего слоя» дворянства.

Названная подглавка прямо-таки пестрит словечком «херувимчики». В единственном и множественном числе это слово употребляется там двенадцать раз, причем на сравнительно небольшом пространстве: главным образом в беседе Достоевского с надменной «маменькой», воспитывающей свое потомство («херувимчика», «херувимчиков») за границей, в условиях искусственного отрешения от родного языка. Случайна ли, не нарочита ли перенасыщенность этой беседы столь настойчиво, столь однообразно повторяющейся лексикой? Не облакается ли в несколько даже навязчивую форму этой лексики очередная реминисценция? Рассматриваемая в изоляции от соседнего текста, беседа Достоев-

скаго с «маменькой», быть может, и не подавала бы повода для подобных вопросов. Но изолированный анализ ее немыслим — уже хотя бы потому, что начинается эта беседа (и, по-видимому, неспроста) сразу же по окончании протолстовской трактовки проблемы о народных школах и землевладении. Одна тема здесь естественно переходит в другую, при характерной обусловленности обеих идейной и образной фактурой все той же третьей части «Анны Карениной».

Слово «херувимчики» употреблено Толстым в повествовании о жизни Долли Облонской и ее детей в поместье, на лоне природы. Приводим контекст: Дарья Александровна «ничем так не наслаждалась, как <...> купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окутать эти голенькие тельца, и слышать то радостные, то испуганные визги; видеть эти задыхающиеся, с открытыми испуганными и веселыми глазами лица, этих брызгающихся своих херувимчиков, было для нее большое наслаждение» (часть третья, гл. VIII). Кроме образа «херувимчики» в этой картине безмятежного детского и материнского счастья нет ничего такого, что можно было бы назвать даже отдаленным предвосхищением беседы Достоевского с «маменькой». Сходство если и улавливается, то самое общее и ни к чему не обязывающее: мать, дети, их взаимная любовь. Таких же характерных эмоциональных признаков беседы, как ирония, досада, а тем более желчное порицание, здесь нет и в зародыше. То же самое следует сказать о нескольких соседних сценах. Так, описывая в главе IX встречу Левина с Долли, «окруженной всеми выкупанными, с мокрыми головами детьми», Толстой замечает: «никто лучше Левина не мог понять ее величия» и в чем оно состояло. И здесь нет иронии или досады. Как добрый человек, Левин без всякой задней мысли любит «величием» Долли в роли идеальной матери, неутомимой пестуны своих детей. Наконец, не чувствуется и тени осуждения в прямой левинской характеристике Долли: «Вы точно насадка, Дарья Александровна!». Однако в той же IX главе отношение Левина к этой «насадке» резко меняется. В свете этого нового отношения скромная, непритязательно добрая Долли уже не выглядит идеальной, любящей, всепонимающей матерью. ореол подлинного «величия» тускнеет, и она на какое-то время перевоплощается в упрямо-несговорчивую, ограниченную, властную «мать семейства». В этой ипостаси Долли и воспринимается Достоевским как прообраз «маменьки» — непреклонной блюстительницы мнимых интересов своих «херувимчиков». Но в таком случае и слово «херувимчики», употребляемое в «Дневнике писателя» как будто невзначай и вовсе не обязательно по принципу генетической связи с толстовским текстом, приобретает характер заимствования строго продуманного, естественно вписывающегося в избранную автором «Дневника писателя» событийно-психологическую ситуацию.

Престиж Долли катастрофически падает с той минуты, как

Левин замечает, что ее маленькая дочь в разговоре с матерью обязана употреблять только французскую речь. После этого «все» кажется Левину «в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уже не так мило, как прежде. „И для чего она говорит по-французски с детьми“, — подумал он: — „как это неестественно и фальшиво! И дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности“, — думал он сам с собой...». И далее: «Нет, я не буду ломаться и говорить по-французски со своими детьми; но у меня будут не такие дети; надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны <...> Он простился и уехал», и Долли «не удерживала его», очевидно, почувствовав, что Левин не одобряет ее метод воспитания.

Таков же финал общения Достоевского с «маменькой». Там тоже, только еще настойчивее, родной язык подменяется другими языками, и Достоевский, с присущим ему максимализмом, утверждает, что такая подмена грозит «херувимчику» неисчислимыми бедами, превращением почти в нравственного урода. «Вот он знает все языки, — замечает с раздражением Достоевский, — и уже по тому одному никакого. Не имея же своего языка, он естественно схватывает обрывки мыслей и чувств всех наций, ум его, так сказать, сбалтывается еще смолоду в какую-то бурду, из него выходит международный межеумок с коротенькими, недоконченными идейками, с тупою прямолинейностью суждения». Нежелание «маменьки» (*finissons, monsieur*) продолжать беседу с писателем, настроенным столь критически, означает ее поражение, неспособность сколько-нибудь убедительно опровергнуть доводы своего оппонента. Но и Достоевский, — подобно Левину, которого Долли «не удерживала» по той же причине, — оказывается до некоторой степени в страдательном положении. Он также «не поймат», потому что «с маменьками еще нельзя теперь заговаривать на такие темы».

Укажем еще на одно любопытное свидетельство переклички текста «Дневника писателя» с текстом третьей части романа.

Выучить детей по-французски так, как это делает Долли, значит, по Левину, «отучить» их «от искренности». В вопросе об этой искренности Достоевский занимает левинскую позицию уже в 1876 г., при первом разговоре с «маменькой».<sup>2</sup> Указав «маменьке» уже тогда на некоторые неизбежные негативные последствия воспитания ее «детища» за границей, Достоевский особо выделил главное из этих последствий — недостаток именно искренности. Характеризуя предстоящую деятельность сына «маменьки» на вожделенном дипломатическом поприще, он отмечал, что тот «очень даже часто будет собою доволен, особенно когда будет говорить длинные речи чужими мыслями и чужими фра-

<sup>2</sup> Третья часть романа, в которой происходит разлад между Левиним и Долли Облонской, была опубликована в апрельской книжке «Русского вестника» за 1875 г. Следовательно, Достоевский мог так или иначе интерпретировать ее содержание на страницах своего «Дневника» не только в 1877 г., но и в течение всего 1876 г.

зами и в которых будет *plus de noblesse, que de sincérité*<sup>3</sup> (23, 83). Здесь и ниже духовное убожество «херувимчика», превратившегося в «международного межеумка», поддельность его чувств, графяриетность его заемного языка и мышления выявляются с помощью приема, который Ю. Н. Тынянов называет пародическим жаргоном. Суть этого приема, щедро применявшегося Достоевским и раньше,<sup>4</sup> заключалась в комическом (но отнюдь не всегда безобидно комическом) эффе́кте иностранных слов, внедренных в русский текст. В конце цитированной выше подглавки о повзрослевшем «херувимчике» сказано именно на этом жаргоне: «... даже если он об чем-нибудь и мыслит и что-нибудь чувствует — в сущности все-таки <он> не более, как прёвсходно гангитированный молодой человек, может быть, уже проглотивший несколько модных увражей, но ум которого бродит в вечных тенебрах, а сердце жаждет одних аржанов». От открытой, непосредственно прямой, «бесхитростной» критики (в духе Левина?) пороков воспитания («неестественность», «фальшивость») Достоевский переходит здесь к более изощренным формам их разоблачения. Сродни левинскому возмущению приобретает желчную окраску, в нем чувствуется издевка.

Эпизод третьей части романа, в котором неожиданно назревает и остается неразрешенным конфликт Левина с Долли, по-видимому, служит Достоевскому чем-то вроде идейно-сюжетной первоосновы для его полемической беседы с «маменькой». Правда, действие при этом переносится из России в Западную Европу. Но к такому уклонению от руслу чужого сюжета предрасполагают писателя идеологические соображения (почвенническое неприятие русского европеизма) и «дополнительный» материал, который в тот момент уже находится в его распоряжении. Дело в том, что в обличении «маменьки» и вообще всех «русских парижан» наряду с толстовским материалом («Анна Каренина») используется в не меньшей степени материал тургеневский («Дым»). И все это сплавляется с личными заграничными наблюдениями писателя.<sup>5</sup> А судьба русских детей, получающих воспитание за границей, тревожила Достоевского задолго до выхода в свет третьей части толстовского романа. Так, в конце 1864 г. в журнале «Эпоха» была напечатана статья Д. В. Аверкиева «По поводу самопризнаний двух петербуржцев». В ней с сокрушением говорилось об утрате столичной интеллигенцией «русских коренных основ». Главной причиной этого явления Аверкиев считал заграничное воспитание, вследствие которого русские дети забывают родной язык и превращаются в «полу-

<sup>3</sup> Больше благородства, чем искренности (*франц.*).

<sup>4</sup> См.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 224—225.

<sup>5</sup> О контаминации в «Дневнике писателя» личных наблюдений Достоевского с тургеневскими данными см. в моей статье «Достоевский и Тургенев в 1860—1870-е годы. (Только ли «История вражды?»)» (Русская литература, 1979, № 1, с. 57—64).



онемеченных, полуофранцузенных субъектов» (20, 342—343). Достоевский сопроводил это заключение подстрочным примечанием: «Я тоже встретил в Швейцарии русского тринадцатилетнего мальчика, учившегося три года в Женеве, в пансионе. Он вывезен был из России по десятому году и уже забыл чрезвычайно много русских слов, понимал меня плохо, хотя ему, очевидно, хотелось поговорить со мной по-русски. Выговор его был очень смешон. Мне было вовсе не до смеху на него глядя» (20, 148).

Если Достоевского задела за живое статья Аверкиева, то могли он остаться равнодушным к несравненно более авторитетным толстовско-левинским замечаниям о детском воспитании? Соображение это, быть может, чисто логическое, но и оно не должно сбрасываться со счета. Составить более или менее точное представление о характере и степени толстовского влияния на «Дневник писателя» за май—июнь 1877 г. невозможно, как нам кажется, без скрупулезного учета и комплексного анализа всех прямых и косвенных свидетельств этого влияния.

Н. Ф. БУДАНОВА

ДИАЛОГ С АВТОРОМ «НОВИ» В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ»  
ЗА 1877 г.

Краткий отзыв Достоевского о романе «Новь», нередко цитирующийся исследователями Тургенева, никогда не рассматривался в связи с общим контекстом «Дневника писателя» за 1877 г. Однако лишь изучение контекста позволяет понять причину неприятия Достоевским «Нови» и выявить скрытую полемику с ее автором на страницах «Дневника писателя».

Достоевский откликнулся на выход первой части «Нови» («Вестник Европы», 1877, № 1) сразу же в январском выпуске своего «Дневника» (см. главку «Русская сатира. „Новь“. „Последние песни“. Старые воспоминания): «Прочел „Новь“ Тургенева и жду второй части <...> Об „Нови“ я, разумеется, ничего не скажу; все ждут второй части. Да и не мне говорить. Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнения. За мечу лишь одно: на 92 странице романа (см. «Вестник Европы») сверху страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведения, как бы выразился весь взгляд автора на свой предмет. К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен, и я с ним глубоко не согласен. Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Соломина» (25, 27—28).

Указание Достоевского позволяет точно установить то место первой части «Нови», в котором автор «Дневника писателя» усмотрел «всю мысль», т. е. основной идейный смысл, романа Тургенева. Речь идет о характеристике Соломина: «Соломин не верил в близость революции в России; но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них — не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо был сам из народа; но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого „ничего ты не поделаешь“ и которого долго готовить надо — да и не так и не тому, как *те*. Вот он и держался в стороне — не как хитрец, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать... отчего не послушать — и даже поучиться, если так придется».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч., т. XII. М.—Л., 1967, с. 112—113. Далее в настоящей статье ссылки на это издание

С удивительной проницательностью Достоевский связал идейный смысл «Нови» с образом Соломина, в котором он угадал центрального героя романа — и это лишь по прочтении первой части «Нови», когда образ Соломина еще только начал вырисовываться.

Существенно, что Достоевский признал бесспорное художественное достоинство «Нови». На это указывает не только прямая фраза в отзыве («Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнения»), но и предшествующая отзыву в тексте «Дневника» высокая оценка русской литературы за последние сорок лет (Достоевский оспорил мнение критики об общем упадке и застое русской литературы): «А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять, по крайней мере, преталантливых беллетристов. И это только в одной беллетристике! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явилось так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков» (25, 27).

Достоевский поставил Тургенева в один ряд с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Островским и Гончаровым, и этому не помешало в целом отрицательное впечатление от «Нови».

Отзыв о второй части «Нови» в «Дневнике писателя» так и не появился, и мысль Достоевского об ошибочности основной идеи «Нови», связанной с образом Соломина, не получила прямого авторского раскрытия и разъяснения. Однако Достоевский не только внимательно прочел весь роман Тургенева, но и дал на страницах «Дневника писателя» за 1877 г. недвусмысленный ответ на него, прибегнув к художественному приему скрытой полемики.

Диалог Достоевского с автором «Нови» касался ключевых проблем пореформенной России. Пути русского прогресса и его движущие силы, задачи и формы сближения интеллигенции и народа, перспективы развития России и ее отношение к Европе — вот те основные проблемы, которые волновали обоих писателей и которые получили своеобразное отражение в «Дыме» и «Нови», с одной стороны, в «Бесах» и «Дневнике писателя» 1876—1877 гг. — с другой.

Первый номер «Вестника Европы» с публикацией начала тургеневской «Нови» вышел в свет 1 января, а цензурное разрешение на январский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г. поме-

---

(в 28 томах) даются в тексте (тома сочинений — Т, Соч., тома писем — Т, Письма) с указанием римской цифрой тома и арабской — страницы.

чено 31 января. Достоевский, по всей вероятности, прочитал первую часть «Нови» сразу же после ее опубликования.

Есть основания предположить, что скрытая полемика с Тургеневым содержится уже в начальных главках январского выпуска «Дневника писателя», предшествующих той главке, откуда выше был приведен отзыв Достоевского о «Нови».

В этих главках, посвященных «текущей действительности», уже встречаются отдельные полемические выпады, относящиеся к автору «Нови» и ведущие к главке «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой», в которой скрытая полемика с Тургеневым получила свое кульминационное развитие.

Попробуем обнаружить эти скрытые намеки.

Русский солдат Фома Данилов, зверски замученный турками, но не отрешившийся от своей веры (о его героической смерти Достоевский узнал из газет), символизирует для писателя русский народ, его необъятные духовные силы. Это «эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чувства» (главка «Фома Данилов, замученный русский герой» — 25, 14). Нам, добавляет Достоевский, имея в виду русскую интеллигенцию, «вовсе и нечему учить такой народ»: «Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические знания <...> Нравственное-то, высшее-то что ему передадим, что разъясним и чем осветим эти „темные“ души <...> Ну, чему же, наконец, мы научить можем? Мы гнушаемся, до злобы почти, всем тем, что любит и чтит народ наш и к чему рвется его сердце» (25, 16).

Решилку о «циниках» и «премудрых», не верящих в духовные силы народа, Достоевский адресует прежде всего Тургеневу, избравшему в «Нови» спящую непробудным сном народную Россию. В автора «Дыма» метят также излюбленные рассуждения Достоевского о народе как носителе высшей нравственной правды, которую давно утратила увлеченная ложным европеизмом русская интеллигенция и которую ей не заменят высшие достижения европейской цивилизации в области науки и техники.

В главке «Примирительная мечта вне науки» Достоевский выдвигает в качестве «высшей русской национальной идеи», органически присущей русскому народу и способной примирить западников и славянофилов, идею «всемирного общечеловеческого единения».

Необходимое условие для подобного примирения — обретение русской интеллигенцией национального лица, утраченного ею в процессе длительной европеизации России. Каждому необходимо «стать русским, т. е. самим собой». «Стать русским значит перестать презирать народ свой <...> Став самим собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы по-

лучим вид свободного существа, а не раба, не лакея, не Потугина» (25, 23).<sup>2</sup>

В главке «Старина о петрашевцах» Достоевский характеризует деятелей русского революционного движения, начиная с декабристов и кончая современными участниками «хождения в народ» (последних, вероятно, под свежим впечатлением от прочитанной первой части тургеневской «Нови»).

В целом тип русского революционера XIX в., по мнению Достоевского, является свидетельством крайнего разобщения интеллигенции с народом, причем это разобщение все возрастает. Современный русский революционер (т. е. народник) до того далек от народа, что «оба они друг друга уже совсем, окончательно не понимают: народ ровно ничего не понимает из того, чего те хотят, а те до такой степени раззнакомились с народом, что даже и не подозревают своего с ним разрыва (как все же подозревали, например, петрашевцы), напротив, не только прямо идут к народу с самыми странными словами, но и в твердой, блаженной уверенности, что их непременно поймет народ» (25, 26).

Мысль о непонимании народниками народа, той почвы, которую они собираются возделывать, о трагической обреченности их дела (при горячей симпатии к личностям молодых революционеров) отчетливо выражена уже в первой части «Нови». Эта мысль тургеневского романа, казалось бы, должна быть близка Достоевскому. Очевидно, оба писателя сходятся на том, что революционеры-народники — не те люди, которым дано поднять и обновить народную «Новь». Однако в отличие от Тургенева Достоевский не признал этого права и за «серым», «простым», «хитрым», «народным» Соломиным, которого он также не пожелал отнести к числу людей, уже понимающих «народ и почву свою» (25, 26). Это свидетельствует о серьезных расхождениях писателей в представлениях о русских деятелях и характере их деятельности в народе.

Февральский выпуск «Дневника писателя» открывается загадочной главкой «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей».<sup>3</sup> Какой смысл имеют и в кого метят эти иносказательные сатирические образы?

Обратимся к тексту главки. Национальный подъем, охвативший Россию в 1876 г., ее готовность защитить южных славян от угнетателей-турок Достоевский расценивает как осознание русским народом своей высокой миссии всечеловеческого служения.

---

<sup>2</sup> Напомним, что для автора «Дневника писателя» Потугин — собирательный, обобщенный образ западника-космополита, утратившего национальное лицо и презирающего свой народ.

<sup>3</sup> Цензурное разрешение на февральский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г. помечено 4 марта; следовательно, Достоевский к этому времени уже успел прочесть вторую часть «Нови», опубликованную в самом начале февраля 1877 г., и получил представление о романе в целом.

Этой готовности России к всечеловеческому служению не заметили «самозванные пророки», сумевшие увидеть современную Россию лишь в кривом зеркале, где она предстала перед ними как некое фантастическое «спящее, гадкое, пьяное существо, протянувшееся от Финских хладных скал до пламенной Колхиды, с колоссальным штофом в руках» (25, 38). Причина незнания России «самозванцами пророками» — «„просвещенный“ европейский наш взгляд на Россию» (там же).

Гротескный образ России в процитированных выше строках Достоевского представляет собой контаминацию двух образов России — тургеневского (стихотворение «Сон» из «Нови») и пушкинского («Клеветникам России»).<sup>4</sup> Эта контаминация, как увидим далее, отнюдь не случайна, а имеет глубокий символический смысл.

Приведем текст (сокращенный) упомянутого стихотворения Тургенева по публикации «Вестника Европы», выделив курсивом те строки, которые Достоевский использовал в пародийных целях.

#### «СОН» («Новь» Тургенева)

Давненько не бывал я в стороне родной...  
Но не нашел я в ней заметной перемены.  
Все тот же мертвенный, бессмысленный застой,  
Строения без крыш, разрушенные стены,  
И та же грязь, и вонь, и бедность, и тоска!  
И тот же рабский взгляд, то дерзкий, то унылый...  
Народ наш вольным стал; и вольная рука  
Висит по-прежнему какой-то шлеткой хилой.  
Все, все по-прежнему... И только лишь в одном  
Европу, Азию, весь свет мы перегнали...  
Нет! Никогда еще таким ужасным сном  
Мои любезные соотчичи не спали.  
< . . . . . >  
Один кабак не спит и не смыкает глаз,  
*И, штоф с очищенной всей пятерней сжимая,  
Лбом в полюс опершись, а пятками в Кавказ,  
Спит непробудным сном отчизна, Русь святая!*<sup>5</sup>

Смысл иносказательного заголовка «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой» — в упреке Тургеневу (а это он в первую очередь относится к «самозванным пророкам»), сумевшему увидеть лишь спящую непробудным сном Россию (сон в данном случае символизирует не только повальное пьянство народа, но и его общественную, нравственную пассивность) и проглядевшему другую Россию, воодушевленную великой идеей братского служения. «Видите ли, — продолжает Достоевский свое иносказание, — тут дело в том, что наш европеизм и „просвещенный“ европейский взгляд наш на

<sup>4</sup> Независимо от нас эту контаминацию отметил также А. И. Батюто в комментарии к «Дневнику писателя» за 1877 г.

<sup>5</sup> Ср. у Пушкина: «Или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды <...> Не встанет русская земля?».

Россию — это все та же еще луна, которую делает все тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховой, что и прежде делал, и все так же прескверно делает, что и доказывает поминутно; вот он и на днях доказал: <sup>6</sup> впредь же будет делать еще сквернее, — ну и пусть его: немец, да еще хромой, надобно иметь сострадание» (25, 38).

Расшифруем это загадочное иносказание, также адресованное Тургеневу.

«Луна, которую делает все тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховой», восходит к «Запискам сумасшедшего» Гоголя. Безумный Поприщин, с тревогой ожидающий затмения луны, воображает, что «луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается <...> Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о луне». Почему, однако, у Достоевского «луну делает» заезжий хромой бочар «в Гороховой», а не в Гамбурге? Возможно, это контаминация (сознательная или бессознательная) двух гоголевских образов: оба они плоды больной фантазии безумного Поприщина — хромого бочара из Гамбурга и близкого ему по смыслу образа «какого-то цырюльника», который «живет в Гороховой» и вместе с турецким султаном «хочет по всему свету распространить магометанство». <sup>7</sup>

Возможно также, что Гороховая — просто топографическая деталь, которая служит Достоевскому для обозначения места действия «заезжего бочара» (Петербург, Россия). <sup>8</sup>

Итак, «прескверно сделанная луна» — это «просвещенный» европейский взгляд на Россию и русский народ заезжего иностранца (немца), т. е. человека, чуждого России, не знающего и не понимающего ее, глядящего на нее сквозь иностранные очки. Таким «заезжим иностранцем» предстает в пародийном освещении Достоевского автор «Дыма» и «Нови».

Достоевский не только не забыл, что «хромой бочар» у Гоголя немец, но подчеркнул эту деталь. Представление о Тургеневе как о «немце» укоренилось у Достоевского со времени их ссоры в Бадене по поводу «Дыма». Достоевский приписал Тургеневу слова: «...я сам считаю себя за немца, а не за русского и горжусь этим!» (письмо к А. Н. Майкову от 16/26 апреля 1867 — П., II, 32). Любовь к Германии, уважение к ее культуре, о чем Тургенев неоднократно заявлял в печати, Достоевский ядовито обыграл в образе Кармазинова. <sup>9</sup> «Хромота» бочара — это намек не только на реальную подагру Тургенева, но и на «ушербность»

<sup>6</sup> Очевидно, намек на недавно опубликованную вторую часть «Нови».

<sup>7</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. III. М., 1938, с. 212, 210.

<sup>8</sup> С декабря 1851 по май 1852 г. Тургенев проживал в Петербурге по адресу: Малая Морская ул., угол Гороховой ул., дом Гиллерме, кв. 9 (см.: Назарова Л. Н. И. С. Тургенев. — В кн.: Литературные памятные места Ленинграда. Л., 1968, с. 446—447; ср. с. 621).

<sup>9</sup> Подробнее об этом см.: Буданова Н. Ф. Проблема «отцов» и «детей» в романе «Бесы». — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1974, с. 164—188.

его таланта (Достоевский дал отрицательную оценку роману «Дым» и ряду повестей и рассказов Тургенева конца 1860-х—1870-х годов, не раз отмечал в письмах, что Тургенев «выдохся», «исписался»).

Скрытый пафос главки «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой» — в противопоставлении Пушкина как истинно русского человека и патриота, воплотившего в себе лучшие черты нации, «западнику-космополиту» Тургеневу, что подтверждается и заглавием главки. Под одним из «неизвестнейших русских великих людей» Достоевский подразумевает Пушкина.

Обращение Достоевского, увлеченного в 1870-е годы «славянским вопросом», к стихотворениям Пушкина «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и циклу «Песни западных славян», глубоко закономерно. Достоевскому импонировали пушкинские идеи могучего русского государства и возглавляемого им всеславянского единения. Строки Пушкина: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос» — Достоевский мог бы поставить эпиграфом к своим высказываниям на славянскую тему.

В этой же главке Достоевский сочувственно цитирует «Песню о битве у Зеницы Великой» из цикла Пушкина «Песни западных славян» и говорит о «пророческом и политическом значении этих стихов»: «Факт тогдашнего появления у нас этих песен важен: это предчувствие славян русскими, это пророчество русских славянам о будущем братстве и единении» (25, 39).<sup>10</sup>

«Это был уже русский, настоящий русский, сам, силою своего гения, переделавшийся в русского, — пишет Достоевский о Пушкине, — а мы и теперь все еще у хромого бочара (т. е. у западника, — Н. Б.) учимся». Пушкин, продолжает далее Достоевский, показал, «как должен глядеть русский человек — и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на хромого бочара, и на братьев славян. Гуманнее, выше и трезвее взгляда нет и не было еще у нас ни у кого из русских» (25, 39—40).

## 2

Достоевский трезво оценивал тяжелое состояние народа в пореформенной России. В публицистических произведениях 1870-х годов он неоднократно писал о нищете, темноте, невежестве и общественной пассивности народа, о засилии в современной русской деревне кулаков и кабаков (см., например, статьи «Нечто личное», «Влас», «Мечты и грезы» в «Дневнике писателя» за 1873 г., январский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г.; ср. статьи «Пожар в селе Измайлове», «Стена на стену» в «Гражданине» 1873 г.).

---

<sup>10</sup> Ср. с характеристикой «Песен западных славян» в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г.



Почему же в таком случае Достоевского глубоко возмутила в романе «Новь» картина спящей непробудным сном народной России?

Объяснение этому следует искать прежде всего в различных взглядах писателей на народ и на характер взаимоотношений с ним интеллигенции.

В статье «Влас» («Дневник писателя» за 1873 г.) Достоевский раскрывает противоречивые черты психологического облика человека из простонародья, присущие, по его мнению, и русскому народу в целом. К этим чертам относятся: «забвение всякой мерки во всем»; «потребность хватить через край», дойти во всем (в любви, ненависти, разгуле, нравственном падении и т. д.) «до последней черты»; потребность отрицания всего, «самой главной святыни сердца своего». «Но зато, — добавляет писатель, — с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасет себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, т. е. когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения <...> в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе» (25, 35—36).

Знаменательно, что символом русского народа уже в 1873 г. для Достоевского становится некрасовский Влас.<sup>11</sup> «Современный Влас быстро изменяется, — пишет Достоевский. — Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены...» (24, 41).

Тургенев, признавший справедливыми упреки в одностороннем, негативном изображении крестьянской массы в «Нови», дал этому факту следующее объяснение: «Что же касается до изображения крестьян, то тут, с моей стороны, была некоторая преднамеренность. Так как мой роман не мог захватить и их (по двум причинам: во-1-х, вышло бы слишком широко, и я бы выпустил нити из рук; во-2-х, я не довольно тесно и близко знаю их *теперь* — чтобы быть в состоянии уловить то еще неясное и неопределенное, которое двигается в их внутренностях), то мне осталось только представить ту жесткую и терпкую сторону, которую они соприкасаются с Неждановыми, Маркеловыми и т. д.» (Т, Письма, XII<sub>1</sub>, 39).

Нежданов уподобляет народ Джаггернаутовой колеснице, под которую добровольно бросаются народники, совершая трагическую жертву.

<sup>11</sup> Подробнее об этом см.: Туниманов В. А. Достоевский и Некрасов. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 33—66. См. также комментарий А. В. Архиповой к статье «Влас» в «Дневнике писателя» за 1873 г. (24, 396—401).

Картина спящей непробудным сном народной России в романе «Новь» Достоевского возмущала прежде всего потому, что, по его мнению, Тургенев не сумел увидеть в русском народе ничего, кроме повального пьянства, нравственной и общественной спячки («спящее, гадкое, пьяное существо <...> с колоссальным штофом в руках», «пьяная баба со штофом в руках» — 25, 38, 69), и проглядел, что «богатырь проснулся»; горячее сочувствие русского народа угнетенным славянам в 1876—1877 гг. и самоотверженная готовность помочь им для Достоевского — свидетельство нравственного пробуждения народа.<sup>12</sup>

Отдельные реплики персонажей «Нови», характеризующие их негативное отношение к «восточному вопросу», Достоевский мог расценить как непонимание Тургеневым великой нравственной идеи всечеловеческого служения, лежащей в основе народного движения в защиту славян, т. е. непонимание «всеотзывчивости» русского народа, как национальной идеи, гениально угаданной Пушкиным.

Так, в частности, Нежданов, потерявший веру в «дело» («хождение в народ»), пишет «другу Силину»: «Право, мне кажется, что если бы где-нибудь теперь происходила народная война — я бы отправился туда не для того, чтобы освободить кого бы то ни было (освободять других, когда свои несвободны!), но чтобы покончить с собою...» (Т, Соч., XII, 225). В конце романа Паклин иронизирует над «внезапными исцелителями общественных ран», которым противопоставляет Соломина с его программой медленного, постепенного преобразования русского общества: «Потому ведь мы, русские, какой народ? Мы все ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь — и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как большой зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! Только, батюшка, рви зуб!! Это все — лень, вялость, недомыслие.<sup>13</sup> А Соломин не такой: нет, он зубов не дергает — он молодец!» (Т, Соч., XII, 295).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> А. И. Батюто высказал спорное, на наш взгляд, предположение, будто, «сочиняя стихотворение „Сон“, Тургенев находился под определенным воздействием публицистики Достоевского (Батюто А. И. Достоевский и Тургенев в 60—70-е годы. — Русская литература, 1979, № 1, с. 63). Тема тяжелого положения пореформенного крестьянства, как известно, была широко распространена в литературе и публицистике 60—70-х годов. В данном случае речь идет не о степени пессимизма во взгляде на народ Тургенева и Достоевского, а скорее о различных концепциях народа, т. е. о разногласиях принципиального характера.

<sup>13</sup> Напомним, что непонимание Левиным высокой нравственной идеи, лежащей в основе народного движения за освобождение болгар, Достоевский расценил как «обособление» толстовского героя, его разобщение с народом. Этот факт послужил толчком к существенной переоценке Достоевским «чистого сердца» Левина (ср. «Дневник писателя» за 1877 г., выпуски за июль—август и февраль).

<sup>14</sup> Вопрос об отношении Тургенева, Достоевского и Толстого к «восточному вопросу» выходит за рамки данной статьи. Отметим только, что Тургенев, осуждавший официальную политику правящих кругов России

В последующих главах февральского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский продолжает скрытую полемику с Тургеневым.

Суждения Достоевского о русских деятелях и характере их деятельности, встречающиеся в главах, посвященных текущей политике и анализу романа «Анна Каренина», навеяны в значительной степени размышлениями писателя над романом «Новь» и его героями.

В главе «О сдирании кож вообще, разные aberrации в частности» Достоевский пишет об идейной нравственной «шатости» русского интеллигентного человека, готового, следуя моде, постоянно менять свои убеждения. Недостаточно только найти нравственные правила, отмечает писатель, нужно подготовить себя к их приятию: «...осмыслить и прочувствовать можно даже и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выдаться в человека. Тут дисциплина» (25, 47).

Идеал всеобщего счастья, теоретически провозглашенный «мыслителями», по мнению Достоевского, не может осуществиться с «недоделанными людьми»: «Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин, — рассуждает писатель. — С этой-то великодушнoй работы над собой и начинать надо, чтоб поднять потом пашу „Новь“, а то незачем выйдет и подымать ее» (25, 47).

Итак, работе интеллигенции в народе должна предшествовать «великодушная работа над собой».

Достоевский подверг критике и идею деятельности «во имя интересов европейской цивилизации» (формула, часто употреблявшаяся Тургеневым),<sup>15</sup> ибо именно «интересами европейской

---

на Балканах, в то же время горячо сочувствовал героической национально-освободительной борьбе южных славян, о чем свидетельствуют, в частности, его произведения «Крокет в Виндзоре» и «Памяти Ю. П. Вревской». См.: Т, Соч., XIII, 648—649, 694; Письма, XI—XII; Назарова Л. Н. И. С. Тургенев и Ю. П. Вревская. — Русская литература, 1958, № 3, с. 185—192; Никитина Н. С. Крокет в Виндзоре. — В кн.: Тургеневский сборник, т. III. Л., 1967, с. 149—153; Велчев В. Тургенев и Болгария. София, 1961; Величина И. И. И. С. Тургенев и война за освобождение балканских стран. — В кн.: Вопросы русской литературы. М., 1970, с. 251—266; Волгин И. Л. Нравственные основы публицистики Достоевского. (Восточный вопрос в «Дневнике писателя»). — Известия АН СССР, Отд-ние литературы и языка, 1971, т. XXX, вып. 4, с. 312—324; Вильчипский В. П. Славянская тема в русской литературе 1870-х годов. — Русская литература, 1973, № 3, с. 118—131; Христов Б. Към полемиката между Ф. М. Достоевски и Л. Н. Толстой по т. нар. «източен въпрос» и освобождението на България. — В кн.: Освобождението на България и литературата. София, 1978, с. 124—149; Фридлендер Г. М. Достоевский и Лев Толстой. — В кн.: Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература. М., 1979, с. 201—211.

<sup>15</sup> Потугин является теоретиком-пропагандистом идеи служения европейской цивилизации; программу практического претворения ее лучших достижений в народе призван осуществить, по замыслу Тургенева, Соломин.

цивилизации» западные государства объяснили свой отказ поддерживать борьбу за свободу угнетенных славян. «Интересы цивилизации, — иронизирует по этому поводу Достоевский, — это производство, это богатство, это спокойствие, нужное капиталу» (25, 48).

Основная же черта «нового человека» (характерная для русской нации) — «искание правды», готовность ради нее на любые жертвы. Разумеется, речь идет о народной нравственной правде, как ее понимал Достоевский. Не случайно в «Дневнике писателя» за 1877 г. писатель с особой симпатией отметил в «чистом сердце» Левине чувство вины перед народом и поиски им смысла жизни у простого мужика (см. главку «Помещик, добывающий веру у бога от мужика»). Достоевский сравнил Левина с некрасовским Власом, который символизировал для писателя русский народ в его исканиях и внутренней борьбе.

В желании обрести истину, пишет Достоевский о Левине, он «дойдет до последних столпов, и если надо <...> он обратится в „Власа“, который роздал свое имение в припадке великого умиления и страха». «И если и не на построение храма пойдет собирать, — добавляет Достоевский, — то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такою же ревностью» (25, 56—57; главка «Злоба дня»).

Эта же черта — стремление к правде — объединяет, по мнению Достоевского, многих русских людей «нового корня», принадлежащих к различным социальным слоям и имеющих различные убеждения.

Русскому «делателю» Достоевский не предлагает никакой конкретной программы деятельности: человек, преисполненный деятельной любви и желающий принести пользу, сам найдет правильный путь. «Надо делать только то, что велит сердце, — советует писатель: — велит отдать имение — отдайте, велит идти работать на всех — идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: „Дескать, я не барин, я хочу работать как мужик“. Тачка опять-таки мундир <...> Не раздача имения обязательна и не надевание зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *решимость ваша делать всё ради деятельной любви*, всё, что возможно вам, что сами искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания „опроститься“ — лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком „сложны“, чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей „осложненности“. Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякого „опрощения“» (25, 61).

Собственно к Левину в приведенном тексте относятся лишь слова о «раздаче имения» крестьянам. Рассуждения же о зипуне, тачке и неудачных попытках интеллигенции сблизиться с народом относятся в большей мере к «Нови», что подтвержда-

ется и употреблением Достоевским тургеневского словечка «опроститься».<sup>16</sup>

Далее Достоевский развивает идеи, смысл которых таков: радикальному переустройству общества на новых основаниях должно предшествовать его нравственное перерождение, так как с «не готовыми, с не выделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществляются, а, напротив, станут лишь в тягость» (25, 63). Свои надежды на русский прогресс Достоевский возлагал на «наших будущих и уже начинающих людей», которые еще «не спелись», «разбиты на кучки и лагеря в своих убеждениях», «но зато все ищут правды прежде всего». «Поверьте, — заключает Достоевский, — что если они вступят на путь истинный, найдут его наконец, то увлекут за собою и всех, и не насильем, а свободно. Вот что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять нашу „Новь“. Прежде чем проповедовать людям: „как им быть“ — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю! <...> А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление, прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага» (25, 63; глава «Русское решение вопроса»).

Это уже прямой ответ Достоевского на вопрос «что делать?» и «чистым сердцем» Левиным, и тургеневским героям, неудачно попытавшимся поднять народную «новь», и всей молодой России, ищущей живого дела.

Признавая необходимость для народа образования («народ чист сердцем, но ему нужно образование» — 25, 63), Достоевский в то же время настороженно относился к самой идее, что интеллигенция должна нести в народ идеалы, уже «готовые», раз навсегда выработанные европейской цивилизацией. Прежде чем учить других, полагал Достоевский, интеллигенция, нравственно разобщенная с народом, должна сама «выделаться» в истинно русских людей, вернуться на родную почву, соединиться с народной правдой. «Невыделанными» людьми, очевидно, были в представлении Достоевского и герои Тургенева (в том числе Соломин), вознамерившие поднять «плугом» народную «новь».

<sup>16</sup> Тургенев впервые услышал слово «опроститься» от одной московской мещанки (по другим сведениям — от старой крестьянки в Спасском), и оно поразило писателя своей меткостью и точностью. «Будет в нем (т. е. в романе «Новь», — Н. Б.) одно слово, которое может сделаться таким же популярным, как слово „нигилист“, — очень уж оно метко выражает стремление современной молодежи. Только не я его нашел... Я пока держу его в секрете», — так передает Н. А. Островская свой разговор с Тургеньевым летом 1876 г. По свидетельству этой мемуаристки, мещанка употребила глагол, а Тургенев образовал из него прилагательное («опростельй»), определяющее «человека, который совсем желает сделаться простолудиною» (Островская Н. А. Воспоминания о Тургеньеве. — В кн.: Тургеньевский сборник. Под ред. Н. К. Пиксанова. Пг., 1915, с. 129—130. Ср. с воспоминаниями Е. И. Апелевой-Бларамберг: Новоросийский телеграф, 1883, 6 сентября, № 2571).

Итак, в представлении Достоевского «плуг», который поднимет народную «новью», — это «чистые сердцем» образованные люди, близкие к народной правде (или по крайней мере ищущие ее), объединенные идеей деятельной любви. Они увлекут за собою всех, «и не насильем, а свободно».

«Европейскому» («насильственному») решению вопроса о социальной справедливости (а именно этому пути следуют молодые герои-народники «Нови»), Достоевский противопоставил как исходный пункт «русское решение вопроса» — «постановку вопроса нравственную» (25, 60).

4

Обратимся теперь к черновым наброскам, посвященным «Нови», в записной тетради 1877 г. В них отразилось первое, самое общее впечатление Достоевского от романа Тургенева, частично реализованное в январском и февральском выпусках «Дневника писателя» за 1877 г. Попытаемся расшифровать эти записи на основе высказанных выше соображений о скрытой полемике Достоевского с автором «Нови» на страницах «Дневника писателя».

Первая запись навеяна размышлениями писателя о современном молодом поколении, изображенном им самим в «Бесах» и Тургеневым в «Нови»: «Повреждения ума, а не сердца. Кирилловы, богочеловек, человекобог, необразованность от ничегонеделания. Непонимание современного человека. „Новь“» (25, 226).

Любопытна мысль Достоевского о Кириллове как представителе современного молодого поколения: для последнего (очевидно, и для героев «Нови») характерно «повреждение ума, а не сердца», т. е. чистое сердце и умственные заблуждения, «шатания», безверие. «Непонимание современного человека» автором «Нови» — это, возможно, ошибочные, с точки зрения Достоевского, представления Тургенева об искомом национальном деятеле и характере его деятельности.

Наше предположение подтверждается следующей записью: «NB. Тирада об том, что чем более мы будем национальны, тем более мы европейцами (всечеловеками). Тогда-то, может быть, создастся этот тип в первый раз, которого теперь нет и который только в мечтах у всех русских даже самых противуположных направлений (славянофилы, националы, красные и проч.). Пора перестать стыдиться своих убеждений, а надо высказать их.

NB. Ошибка ума, а не сердца и проч. <...> Идея. Заразить душу своим влиянием. Влас. Виктор Гюго» (25, 227).

Путь русского прогресса Тургенев связывал с задачей усвоения Россией высших достижений европейской цивилизации, проводниками которой в народе должны явиться лучшие представители демократической интеллигенции типа Соломина. Для Досто-

евского необходимейшая предпосылка русского прогресса — нравственное воспитание и совершенствование как отдельного человека, так и общества в целом (именно поэтому Достоевский вспоминает своих любимых героев, способных «заразить душу влиянием», — некрасовского Власа и Жана Вальжана В. Гюго).<sup>17</sup>

Высший русский национальный тип по Достоевскому — это «всечеловек», носитель идеи всечеловеческого служения и гармонического разрешения европейских противоречий. Этот тип должен возникнуть на основе синтеза лучших европейских и русских национальных начал, и прежде всего «всечеловечности» — отличительной и характерной, по мнению писателя, черты русской нации.<sup>18</sup> «Всечеловека», как подлинно русского, а потому и истинного европейца, Достоевский противопоставляет «общечеловеку», т. е. русскому западнику-космополиту, утратившему свое национальное лицо (подобным «общечеловеком» в представлении писателя был Потугин).

Две последующие записи непосредственно посвящены истолкованию идейного смысла «Нови»:

«92-я страница „Нови“. Наша демократия так же древна, как и Россия, а у тех с 89-го года (мысль Мещерского). Ответ автору „Нови“».

«Мы свободны с начала русской земли. Европействующие хотят <...> разврата. Но есть уже сильное ядро *сознающих*. Хотя у европействующих литература. Сатира. Подкладки нет. Нечего было бы сказать. *Новь* — вот тайная мысль автора. Вот вам и Потугин! Вот подкладка сатиры Потугина. Нам нечего волноваться революцией, ибо мы уже 1000 лет как свободны» (25, 228).

Эти записи, объединенные общей идеей, очевидно относятся ко времени знакомства Достоевского с первой частью «Нови», так как в одной из них, как и в отзыве о «Нови» в январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г., Достоевский связывает основную мысль романа Тургенева с 92-й страницей январской книжки «Вестника Европы» 1877 г. (описание в первой части романа ночной сходки у Маркелова и разговоров о предстоящей революции, в близость которой Соломин не верил, но относился с сочувствием к личностям и целям молодых революционеров, так как «сам был из народа»).

«Европействующим», т. е. русским западникам, Достоевский противопоставляет «сознающих», т. е. русских «почвенников». Сатира в понимании Достоевского необходимо должна содержать хотя бы «в подкладке», т. е. в подтексте, положительный идеал

---

<sup>17</sup> Ср. с черновой записью: «NB. О том, что великая идея передается таким душам, которые, по-видимому, и подозревать невозможно, что они заняты высшими идеями жизни: Фома-Мученик, Влас, Жан Вальжан» (25, 226).

<sup>18</sup> Ср. с черновой записью 1876 г.: «Мы настолько же русские, насколько и европейцы, всемирность и общечеловечность — вот назначение России» (24, 309).

автора. В «подкладке» сатиры «Нови» (критическое изображение Тургеневым современной России и ее правящих классов) Достоевский усмотрел тайное сочувствие автора «Нови» революционному, т. е. «европейскому», насильственному пути преобразования и демократизации России. У Достоевского же представление о русской «исконной демократии» опирается на славянофильскую идеализацию государственного и общественного строя Древней Руси.

Приведенные выше записи 1877 г. свидетельствуют, что Достоевский истолковывал тургеневский символ «новь» двояко: это не только русский народ, который молодежи народники трагически безуспешно пытаются поднять на борьбу, но и грядущая революция, та социальная «новь», которой Тургенев втайне сочувствует.

Именно таков подтекст возражения Достоевского Тургеневу об «исконной демократии» России.

## 5

Трудно сказать, входила ли в творческие планы Тургенева сознательная полемика в «Нови» с автором «Бесов» и «Дневника писателя» за 1876 г. или же она была неосознанной и явилась следствием различных взглядов писателей на актуальные проблемы русской действительности 1870-х годов.<sup>19</sup> Речь идет прежде всего о комплексе проблем, связанных с народом (концепция русского народа, задачи и характер сближения с ним интеллигенции, пути русского прогресса и его движущие силы, перспективы развития пореформенной России и некоторые другие), занимающих видное место в названных произведениях Достоевского и Тургенева.

В «Бесах» Тургенев присутствует не только в качестве Кармазинова, но и как автор романов «Отцы и дети» и «Дым», «умный оппонент» Достоевского, видный представитель современных русских западников. Аналогичный случай наблюдаем и в «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский ведет открытую полемику с окарикатуренным им Потугиным (собирательным образом крайнего западника-космополита) и скрытую — с его создателем.

Подробные отзывы Тургенева о романе «Бесы» не сохранились. Однако несомненно, что многое в этом романе было писателю идейно чуждо, в том числе его заглавие, евангельский эпиграф, шатовская концепция русского народа — «богоносца», изображение революционной молодежи и т. д. В то же время Тургенев не мог не уловить в «Бесах» серьезной полемики с русскими западниками.

Как известно, писатель возлагал на «Новь» особые надежды, так как намеревался завершить этим романом свою «литератур-

---

<sup>19</sup> Этот вопрос никогда не затрагивался исследователями, хотя его научная постановка вполне правомерна.



ную карьеру», рассеять недоразумения, возникшие между ним и читающей Россией со времен «Отцов и детей» и «Дыма» (см. письмо к М. Е. Салтыкову-Щедрину от 3/15 января 1876 г.: Т, Письма, XI, 190).

В письме к М. М. Стасюлевичу от 22 декабря 1876 г./3 января 1877 г. Тургенев изложил те «соображения», которыми он руководствовался при сочинении «Нови».

«Молодое поколение, — писал Тургенев, — было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников — что, во-первых, несправедливо — а во-вторых, — могло только оскорбить читателей-юношей как клевета и ложь, либо это поколение было, по возможности, возведено в идеал, что опять несправедливо — и сверх того, вредно. Я решил выбрать среднюю дорогу — стать ближе к правде; взять молодых людей, большею частью хороших и честных — и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско» (Т, Письма, XII, 43—44).

Не возводить молодое поколение в идеал, не оскорблять его наименованием «бесы», а помочь ему выбрать правильный путь служения России, делу русского прогресса — так мог формулировать автор «Нови» свою задачу.

Сопоставление эпитафий к «Бесам» (в данном случае речь идет об евангельском, а не пушкинском эпитафее) и к «Нови» наводит на мысль о сознательной полемике Тургенева с Достоевским. В обоих случаях емкие смысловые заглавия символичны, эпитафии служат своеобразным ключом для расшифровки заглавий, причем эпитафии представляют собой аллегории, раскрывающиеся путем дополнительного авторского истолкования.

Источником первого (и основного) эпитафее к роману «Бесы», повествующего об исцелении Христом гадаринского бесноватого, послужило Евангелие от Луки (VIII, 32—36). Оттуда же возникло и заглавие романа. Смысл символа «бесы» и евангельского эпитафее к роману был раскрыт Достоевским в ряде писем (наиболее подробно в письмах к А. Н. Майкову от 9/21 октября и 15/27 декабря 1870 г.; см.: П., II, 291 и 301).

Если источником эпитафее к роману «Новь» действительно явились, как указал сам Тургенев, «Записки хозяина-агронома», т. е. какой-то сельскохозяйственный справочник, то, разумеется, отсюда же возникло и заглавие «Новь».<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> См. эпитафее: «Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом. (Из записок хозяина-агронома)». Разыскать точный источник заглавия и эпитафее к «Нови» пока не удалось. Подобная попытка была предпринята В. А. Грозовым, обследовавшим сельскохозяйственные справочники родовой библиотеки Тургенева в Спасском-Лутовинове. См.: Грозов В. А. О заглавии, эпитафее и некоторых реальных источниках романа. — В кн.: Тургеневский сборник, т. V. М.—Л., 1969, с. 313—318.

Тургенев, как и автор «Бесов», чрезвычайно дорожил найденными им заглавием и эпиграфом к роману, так как они отчетливо раскрывали авторский замысел произведения в целом (разъяснения эпиграфа содержатся в письмах Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 26 июля/7 августа 1876 г. и 22 декабря 1876/2 января 1877 г. — Т, Письма, XI, 299 и XII<sub>1</sub>, 43—44).

Следует обратить особое внимание на тот факт, что «Новь» — единственный роман Тургенева, снабженный эпиграфом<sup>21</sup> (предшествующие «Бесам» романы Достоевского также не имеют эпиграфов). Тургенев, избегавший в своем творчестве прямых авторских деклараций, в данном случае отступил от этого правила, так как считал эпиграф необходимым ключом для раскрытия идейного содержания романа.

Наиболее распространенный смысл понятия «новь» в истолковании словарей русского языка — никогда не паханная земля, целина («новь» означает также хлеб нового урожая, а в переносном значении — что-либо новое, вновь появляющееся, возникающее).

«Новь, — разъясняет В. Даль, — непашь, залог, целина». «Подымать или ломать нови, новину — пахать целину». «Новь также хлеб новинный, местами овощ, слетье, вообще что впервые на году появилось».<sup>22</sup>

Тургенев выбрал первый, наиболее употребительный смысл понятия «новь», а именно невозделанная земля, еще не паханная целина, доказательством чему и служит эпиграф к роману, разъясняющий, как следует пахать новь.

Под «новью», непчатой целиной, которую необходимо возделывать глубоко забирающим плугом, чтобы она дала хороший урожай, Тургенев подразумевает русский народ.

«Почва» — синоним понятий «земля» и «целина». Тургенев охотно использует излюбленный символ славянофилов и почвенников, уподоблявших народ почве, тому верхнему слою земли, в котором развивается органическая жизнь, необходимый источник всего сущего. И для Тургенева народ — это почва, основа, фундамент общественного здания, необходимое условие социального прогресса и процветания России в целом. Однако для него это прежде всего невозделанная почва, которую необходимо длительно и тщательно возделывать, чтобы получить богатый урожай.

Эпиграфы к обоим романам (в применении к «Бесам» речь идет об евангельском эпиграфе) содержат указания на пути возрождения и преобразования России, причем эпиграф к «Нови» полемичен по отношению к эпиграфу «Бесов».

<sup>21</sup> Роман «Дворянское гнездо» в журнальной публикации (Современник, 1859, № 1) имел эпиграф из сборника Кирши Данилова, но был снят в последующих изданиях романа. Тургенев отказался и от своего первоначального намерения снабдить эпиграфом роман «Отцы и дети».

<sup>22</sup> Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. II, М., 1979, с. 549.

Идее исцеления и обновления России народной христианской этической правдой, выраженной в эпитафье романа «Бесы», в эпитафье «Нови» противопоставлена идея европейского просвещения народа, осуществляемого демократической интеллигенцией; Евангелию от Луки противостоят «Записки хозяина-агронома».

Тургеневу был глубоко чужд образ народа, призванного нравственно излечить большую европеизмом русскую интеллигенцию. Достоевскому же было не менее чуждо тургеневское представление о той невозделанной почве, которую интеллигенция призвана вспахать «глубоко забирающим плугом» европейской цивилизации (по собственному разъяснению Тургенева, «плуг» в романе «не значит революция — а просвещение» — Т, Письма, XI, 299).

«Поверхностно скользящая соха» — не только пропаганда революционных народнических идей в народе; это в то же время различные ложные, с точки зрения Тургенева, «славянофильские» представления о народе и о характере взаимоотношения с ним интеллигенции.

Тургенев расценивал как «славянофильские» всякие чрезмерные «упования» на народ, как революционные (идеализация крестьянской общины Герценом и народниками, рассматривавшими ее как ячейку социализма), так и мирные (надежды славянофилов и Достоевского на исцеление русской интеллигенции посредством народной православной правды).

«Положим, я не славянофил, — писал Нежданов другу Силину, — я не из тех, которые лечатся народом, соприкосновением с ним: я не прикладываю его к своей больной утробе, как фланелевый набрюшник. . . я сам хочу действовать на него, — но как? Как это совершить?» (Т, Соч., XII, 226).

В свое время критик В. Авсеенко, используя тургеневское сравнение, уподобил славянофилов пустопорожним сосудам, которые ластятся к народу в поисках «живой воды». Уподобление отношения славянофилов к народу фланелевому набрюшнику было не менее метко и язвительно. Не лечиться у народа, а лечить его, не просвещаться у народа, а просвещать его — такова была формула Тургенева и западников, определяющая основной характер взаимоотношений интеллигенции и народа.

Общую антиславянофильскую направленность «Нови», выраженную уже в эпитафье к роману, Достоевский уловил очень чутко и быстро реагировал на нее, как было показано выше, в яварском и февральском выпусках «Дневника писателя» за 1877 г.

«Роль образованного класса в России — быть передателем цивилизации народу, с тем чтобы он сам уже решил, что ему отвергать или принимать, — эта в сущности скромная роль, хотя в ней подвизались Петр Великий и Ломоносов, хотя ее приводит в действие революция, эта роль, по-моему, еще не кончена», — писал Тургенев «непоследовательному славянофилу» Герцелю еще в 1862 г. (Т, Письма, V, 51).

В романе «Ночь» эта идея, не изменившись по существу, получила дальнейшее углубление и конкретизацию в образе народного просветителя Соломина.

Ограничение самодержавия путем конституции, уничтожение всех пережитков крепостничества, последовательная европеизация во всех областях русской общественной жизни путем дальнейших буржуазно-демократических преобразований «сверху», просвещение интеллигенцией народных масс «снизу» — вот существенные моменты общественно-политической и культурной программы Тургенева в этот период. Причем Тургенев считал, что необходимым условием русского прогресса должно явиться пробуждение, просвещение и постепенное приобщение к сознательному участию в гражданской жизни страны огромных масс освобожденного от крепостной зависимости темного и безграмотного народа, пребывающего в пореформенный период в крайне тяжелом состоянии.

Эту длительную, трудоемкую, незаметную работу и призвана выполнить демократическая интеллигенция, вышедшая из народа, используя возможные легальные формы (народные школы и больницы, земство, артели и др.).

Программа скромной и незаметной, но необходимой просветительской деятельности интеллигенции в народе была изложена Тургеневым в письмах к А. П. Философовой 1874—1875 гг. В России 1870-х годов, пишет Тургенев, время Базаровых уже прошло, и для «предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума — ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие, терпение <...> нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже низменной работой» (Т, Письма, X, 295). Далее Тургенев поясняет, что «низменная работа» — это «учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т. д.». «Мы вступаем в эпоху *только полезных людей* ... и это будут лучшие люди <...> Народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего хорового развития, разложения и сложения; ей нужны помощники — не вожаки, и лишь только тогда, когда этот период кончится, снова появятся крупные, оригинальные личности» (там же, с. 295—296).

Интеллигенции, по мнению писателя, давно пора бросить мысль о «сдвигании гор с места» — «о крупных, громких и красивых результатах», а довольствоваться скромной полезной деятельностью (Т, Письма, XI, 33).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Это и ответ Тургенева на давний вопрос Д. И. Писарева, не удовлетворенного образом Литвинова: «Иван Сергеевич, куда вы девали Базарова? <...> Неужели же Вы думаете, что первый и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца? <...> Если же он жив и здоров и остается самим собою, в чем не может быть никакого сомнения, то каким же образом это случилось, что Вы его не заметили?» (Писарев Д. И. Соч., т. 4. Л., 1956, с. 424—425).

Связь программы общественного служения, изложенной Тургеневым в письмах к А. П. Filosoфовой, с деятельностью Соломина, организовавшего на фабрике у Фалеева больницу, школу, а позднее в Перми завод на артельных началах, несомненна.

Черновые записи в подготовительных материалах к «Нови»: «почва!», «когда не Павлы будут готовы, а Дутики», «Якушкина!»<sup>24</sup> — отражают размышления Тургенева о путях русского прогресса. О той реальной почве, на которую могли бы опереться сторонники «безотлагательных действий», спорят в романе Маркелов и Нежданов (главы XVI и XX), ее не видит «трезвый» Соломин, и только Кисляков, в двадцать два года решивший «все вопросы жизни и науки», «отыскал, наконец, почву» (глава XVII).

По мысли Тургенева, русский народ в своей массе (не сознательные Павлы, а темные, невежественные Дутики) не созрел для пропаганды новых идей, и потребуются длительное время для его воспитания и просвещения. Эту задачу и призваны выполнить просветители Соломины. Когда в народе будет много Павлов и когда среди интеллигенции будет много Соломиных, дело русского прогресса быстро двинется вперед.

Соломин в понимании Тургенева не обычный буржуазный «постепеновец», рассчитывающий на реформы «сверху», а «постепеновец снизу», народный деятель и просветитель, веривший в возможность «легального переворота» во имя народа и при помощи народа.<sup>25</sup> Убеждение Тургенева в необходимости для русского прогресса деятелей типа Соломина свидетельствует о дальнейшей демократизации его просветительских взглядов: в роли просветителей в «Нови» выступают уже не лучшие представители дворянства, как в «Рудине», «Дворянском гнезде» и «Дыме», а выходцы из народной среды, с которыми писатель связывал надежду на будущее обновление России. Да и самая программа Соломина, рассчитанная на просвещение интеллигенцией широких слоев народа «снизу», несомненно шире и значительнее тех задач, которые ставили перед собой дворянские просветители Лаврецкий и Литвинов, стремившиеся разумно хозяйничать в собственных имениях и тем самым способствовать улучшению быта крестьян. В 1870-е годы подобное служение делу русского прогресса, «европейской цивилизации» уже кажется Тургеневу недостаточным.

Возможно, что в начале 1860-х годов Достоевский с большим сочувствием воспринял бы образ Соломина как полезного деятеля на народной ниве. Ведь распространение интеллигенцией грамот-

---

<sup>24</sup> Павел и Дутик — персонажи романа «Новь». Е. М. Якушкина — мещанская помещица, знакомая Тургенева; занималась культурно-просветительской деятельностью среди крестьян.

<sup>25</sup> Об идейной близости Соломина к «легалистам», с которыми полемизировал П. Л. Лавров на страницах «Вперед!», см.: Буданова Н. Ф. Тургенев и Лавров в 70-е годы. (Непериодическое обозрение «Вперед!» как источник «Нови»). — В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 88—109.

ности в народе писатель предлагал в то время в качестве «первого шага» для практического претворения сближения «нашей образованности» с «почвой». В понимании просветительской, цивилизаторской роли интеллигенции по отношению к народу Достоевский во многом сближался тогда с Тургеневым.<sup>26</sup> Во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» (1861) Достоевский высмеял великие притязания «лишних людей» на грандиозную деятельность и, подобно Тургеневу 1870-х годов, призвал их удовлетвориться скромной просветительской деятельностью в народе: «Научите хоть одного мальчика грамоте; вот вам и деятельность»; «снизойдите, снизойдите до мальчика» — таковы иронические призывы Достоевского, обращение к «нашим талантливым натурам», к «нашим обленившимся байронам» (18, 67—68).

В романе «Новь» близкие идеи развивает Соломин, который советует Марианне, мечтающей о подвиге, ограничиться скромной, незаметной работой среди крестьян: «...ребеночка вы помете или азбуку ему покажете... вот вам и начало»; «шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва, и большая жертва, на которую немногие способны» (Т, Соч., XII, 220—221).

Однако в 1877 г. Соломин и его программа не вызвали у Достоевского никакого сочувствия.<sup>27</sup>

В отличие от Тургенева, связывавшего общественно-политический и культурный прогресс России в первую очередь с необходимостью усвоения русским народом достижений европейской цивилизации, автор «Дневника писателя» за 1876—1877 гг. на передний план выдвигал идею усвоения «европеизированной» русской интеллигенцией нравственных ценностей народа (преклонение перед «народной правдой»), утраченных ею в результате отрыва ее от народа.

Полемика в «Дневнике писателя» 1876—1877 гг. с автором «Дыма» и «Нови» способствовала окончательному формированию комплекса нравственно-философских идей, получивших законченное выражение в Пушкинской речи.

---

<sup>26</sup> О «почвенничестве» Достоевского 1860-х годов и его отношении к западникам и славянофилам см.: Кирпотиц В. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966; Фридлендер Г. М. У истоков почвенничества (Ф. М. Достоевский и журнал «Светоч»). — Известия АН СССР, 1971. Серия литературы и языка, № 5, с. 411—416; Нечаева В. С. 1) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». М., 1972; 2) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». М., 1975; Туниманов В. А. Творчество Достоевского. 1854—1862. Л., 1980. См. также комментарии к томам 18—20 Полного собрания сочинений Достоевского.

<sup>27</sup> На основе приведенной выше аналогии между высказываниями о «мальчике» Достоевского и тургеневского Соломина А. И. Батюто в упоминавшейся выше статье «Достоевский и Тургенев в 60—70-е годы» сделал вывод об «единомыслии» Тургенева и Достоевского «в области (...) народного просвещения» (см.: Русская литература, 1979, № 1, с. 43—44). Однако вывод «об единомыслии», базирующийся на сопоставлении взглядов Достоевского начала 1860-х годов и Тургенева второй половины 1870-х годов, вступает в явное противоречие с реальным фактом неприятия автором «Дневника писателя» за 1877 г. Соломина и его программы.

В. Е. ВЕТЛОВСКАЯ

PATER SERAPHICUS

Мнение о том, что Pater Seraphicus в «Братьях Карамазовых» восходит ко второй части «Фауста» Гете, принятое комментаторами,<sup>1</sup> не имело ни строгих доказательств, ни опровержений. Трагедия Гете действительно отозвалась некоторыми существенными мотивами в последнем романе Достоевского, как об этом свидетельствуют черновые материалы и окончательный текст «Братьев Карамазовых», а также косвенное признание писателя, промелькнувшее в одном из писем: «Два же рассказа (черта, — В. В.) о исповедальных будочках хотя и легкомысленны, но уже вовсе кажется не сальны. То ли иногда врет Мефистофель в обеих частях Фауста?» (П., IV, 190).

Pater Ecstaticus, Pater Profundus и Pater Seraphicus появляются в заключительной сцене трагедии. Вот то, что касается «серафического отца», если следовать переводу Н. А. Холодковского:

Хор блаженных младенцев

Где мы, отче? Мы не знаем!  
Кто мы, добрый? Разреши!  
Счастье жизни мы вливаем:  
Жить — блаженство для души!

Pater Seraphicus

Дети, полночью вы взяты  
Рано с сердцем молодым:  
Для родителей — утраты,  
Прибыль — ангелам святым!  
Вы почували душою,  
Что любви исполнен я;  
Но, счастливые судьбою,  
Незнакома вам земля,  
В око вы мое войдите,  
Чтобы мир земной обнять:  
Как своим, вы им смотрите,  
Чтобы землю созерцать.

<sup>1</sup> См.: например: Чижевский Д. И. Словарь личных имен в произведениях Достоевского. — В кн.: О Достоевском, вып. II. Прага, 1933, с. 16 (третья пагинация); Matlow R. E. The Brothers Karamazov. Novelistic Technique. 's-Copenhagen, 1957, p. 17. См. также комментарий Л. П. Гроссмана к «Братьям Карамазовым»: Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 10-ти т., т. 10. М., 1958, с. 503.

*(Воспринимает их в себя)*

Вот вам лес, гора крутая,  
Вот вода течет рекой  
И, шумливо пробегая,  
Сокращает путь крутой!

Блаженные младенцы

Ум виденье поражает,  
Но печально — не снести,  
Ужас сердце нам стесняет.  
Добрый, милый, отпусти!

Pater Seraphicus

Выше, выше подымитесь  
И, растя там без конца,  
Укрепитесь, насладитесь  
Лицезрением Творца!  
Путь к блаженству и спасенью  
В жизни духа вековой —  
Есть святое откровенье  
Вечных тайн любви святой.

Блаженные младенцы

*(кружась около высочайшей вершины)*

Руки смыкая,  
Все мы летим толпой  
Вверх, воспевая  
Песню любви святой.  
Слову внимайте,  
Верьте душою —  
Бога узрите  
Вы пред собою.<sup>2</sup>

Только с известной натяжкой можно увязать Pater Seraphicus «Фауста» со старцем Зосимой в «Братьях Карамазовых». Между тем это наименование возникает в важнейшей сцене романа.

Иван, закончив свою речь перед братом (книга «Pro и contra»), не добился вполне той цели, которую перед собой ставил. «Ты мне дорог, — говорил он здесь Алеше, — я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме» (14, 222). «Я, брат, уезжая, думал, — неожиданно заключает он, прощаясь, — что имею на всем свете хоть тебя <...> а теперь вижу, что и в твоём сердце мне нет места, мой милый отшельник <...> Ну иди теперь к твоему Pater Seraphicus, ведь он умирает; умрет без тебя, так еще, пожалуй, на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания, целуй меня еще раз, вот так, и ступай» (14, 240—241). Новое имя Зосимы, предложенное Иваном, Алеша, расставшись с братом, повторяет дважды; при этом на источник такого обо-

<sup>2</sup> Гете И. В. Собр. соч. в переводах русских писателей, изд. под ред. Н. В. Гербеля. Т. II. СПб., 1878, с. 402—403. Ср. ту же сцену в пересказе М. Вронченко: «Фауст». Трагедия. Соч. Гете. Перевод первой и изложение второй части М. Вронченко. СПб., 1844, с. 359—360. Оба издания имелись в библиотеке Достоевского. См.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.—Пг., 1923, с. 23.



значения обращено усиленное внимание: «Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно <...> Поднялся опять, как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него, когда он вошел в скитский лесок. Он почти бежал. „Pater Seraphicus“ — это имя он откуда-то взял — откуда? — промелькнуло у Алеши. — Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу... Вот и скит, господи! Да, да, это он, это Pater Seraphicus, он спасет меня... от него и навеки!» (14, 241).

Pater Seraphicus — имя святого Франциска Ассизского (1181 или 1182—1226), прославленного Данте в XI песни «Рая». Оно было усвоено католической церковью в соответствии с легендой, которая восходит к первому жизнеописанию Франциска, составленному его учеником Фомой Челанским вскоре после смерти святого (1228 г.) и позднее переработанному. Затем та же легенда была пересказана в житии Франциска Ассизского, написанном св. Бонавентурой, генералом ордена францисканцев (1260 г.), и далее регулярно повторялась (и повторяется) во всех последующих жизнеописаниях основателя ордена.<sup>3</sup>

Согласно этой легенде, Франциск еще при жизни был удостоен особой благодати. Однажды после продолжительного поста, проведенного в полном уединении и молитве, в день праздника Воздвижения креста, он увидел серафима с шестью сверкающими крыльями, который стремительно спускался к нему с небесной выси. Когда серафим приблизился, Франциск разглядел между огненных крыльев фигуру человека с распростертыми руками, пригвожденного к кресту. Явление страдающего Христа в облике серафима пронзило душу святого радостью и мукой, оставив в ней некий священный жар, а на теле Франциска тем временем таинственно запечатлелись знаки ран, подобных крестным ранам Христа (стигматы).<sup>4</sup> Видение серафима на горе Алверне, посетив-

---

<sup>3</sup> Оба жизнеописания св. Франциска, составленные Фомой Челанским (раннее, краткое, и позднее, более пространное), вместе с житием, написанным св. Бонавентурой, опиравшимся на своего предшественника, послужили главным источником для дальнейших повествований о Франциске Ассизском. Вся фактически-легендарная сторона дела и часто ее интерпретация у поздних биографов Франциска восходят к Фоме Челанскому и Бонавентуре. Оба жития, написанные Фомой Челанским, и два средневековых сборника рассказов о Франциске (первый — «Speculum Perfectionis» («Зерцало совершенства»), основывающийся на втором жизнеописании Фомы Челанского, и второй — «Fioretti» («Цветочки»)) были опубликованы на русском языке в извлечениях и отрывках, см.: Книга о св. Франциске. Celano. Speculum. Fioretti. Предисл. и пер. В. Конради. СПб., 1912.

<sup>4</sup> См., например: Chavin F. E. Histoire de Saint François d'Assise (1182—1226). Paris, 1816, p. 271—272 (видение серафима здесь цитируется по житию св. Бонавентуры); Ozanam A. F. Saint François. — In: Ozanam A. F. Oeuvres complètes, vol. 5. Ed. 2. Paris, 1859, p. 74—75. Интересуясь житием Франциска Ассизского, Достоевский, судя по всему, обращался к французским источникам. У нас нет данных, чтобы установить, какие именно книги и когда были у него в руках. Мы преимущественно ссылаемся на Озанама, французского писателя, исследования которого о Франциске, францисканской поэзии и вообще католическом средне-

шее Франциска незадолго до смерти, и таинственная его стигматизация — кульминационный момент его жития. Каждый год 17 сентября сначала только францисканцы, а затем и вся католическая церковь стали торжественно отмечать праздник Стигматов св. Франциска.<sup>5</sup> В службе на этот праздник (да и вообще в церковных чтениях, посвященных святому) он именуется: «Vir Seraphicus» и «Pater Seraphicus».<sup>6</sup> Эпитет «серафический», находящийся в прямой связи с легендой, по отношению к Франциску сделался постоянным, и наименование «Pater Seraphicus» прочно за ним закрепилось.<sup>7</sup>

Ряд прямых и косвенных мотивов сближает старца Зосиму в «Братьях Карамазовых» с Франциском Ассизским. Непосредственному появлению старца в романе предшествует диалог между помещиком Максимовым и членами «нестройного семейства», направляющимися в келью Зосимы: «— Видите ли, мы к этому старцу по своему делу, — заметил строго Миусов, — мы, так сказать, получили аудиенцию „у сего лица“, а потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе.

— Я был, был, я уже был... Un chevalier parfait! — и помещик пустил на воздух щелчок пальцем.

— Кто это chevalier? — спросил Миусов.

— Старец, великолепный старец, старец... Честь и слава монастырю» (14, 33). Странная аттестация православного монаха — un chevalier parfait («совершенный рыцарь») — нам представляется стоящей в том же ряду, что и позднейшая — Pater Seraphicus. Та и другая напоминают о Франциске Ассизском.

В молодости Франциск был так глубоко увлечен рыцарскими идеалами, что след этого увлечения навсегда остался в его жизни. Эпоха крестовых походов, рыцарских турниров, рыцарской поэзии вошла в плоть и кровь Франциска, и существуют предания о том, что будущий подвижник, не являясь дворянином (но всегда отли-

---

ковье были хорошо известны современникам Достоевского и во Франции, и в России. Из всех биографов, писавших в XIX в. о Франциске Ассизском, вплоть до Сабатье, автора знаменитой книги (Sabatier P. Vie de Saint François d'Assise. Paris, 1893), Озанам был одним из самых популярных. Ссылки на другую, позднейшую литературу здесь представляются позволительными потому, что интерпретация францисканских сказаний в ней вполне традиционна, а сами эти сказания восходят, как говорилось, к одной основе — древнейшим жизнеописаниям Франциска.

<sup>5</sup> См.: Chéranse R. P. L., de. Saint François d'Assise. Paris, 1892, p. 284.

<sup>6</sup> См., например: Messe pour la fête des Stigmates. — In: Chavin F. E. Histoire de Saint François d'Assise, p. 122, 125 (вторая пагинация).

<sup>7</sup> Оно, конечно, было памято Гете. Среди произведений Лопе де Вега два, посвященные Франциску Ассизскому, называются «Romance al Seraphico padre san Francisco» и «Sonetos al Seraphico padre san Francisco» (на языке оригинала и во французском переводе они приведены в кн.: Chavin F. E. Histoire de Saint François d'Assise, p. 345—348, LXIV—LXVI). Эпитет «серафический» со временем был перенесен и на одного из первых биографов Франциска — св. Бонавентуру (Doctor Seraphicus), и на весь орден францисканцев, который стал именоваться «серафическим» орденом.

чаясь куртуазной изысканностью и благородством манер), в юности мечтал о рыцарском посвящении и обетах. «При всей противоположности рыцарство и монашество в век Франциска нередко сочетались, — пишет один из позднейших авторов. — Эпоха крестовых походов создала тип монашествующего рыцаря или воинствующего монаха; в эту эпоху возникли ордена рыцарей „храма“ и рыцарей „госпиталя“ в Иерусалиме. Название крестоносца (Cru-ciger) усваивал себе как воин, снаряжавшийся для освобождения гроба господня, так и паломник, спешивший в Иерусалим ради покаяния».<sup>8</sup>

Именно к поре молодости Франциска, когда он, окруженный восхищенными друзьями, председательствовал на их пирах, легенда относит его «пророческий» сон. Франциск увидел себя посреди великолепного дворца, залы которого были полны оружия, богатых доспехов и сверкающих щитов, висящих на стенах. На вопрос, кому принадлежит этот дворец и блестящее оружие, Франциск услышал, что все это уготовано ему и его рыцарям («tout cela serait à lui et à ses chevaliers»). «Не следует думать, — пишет далее по этому поводу Озанам, — что впоследствии слуга божий забыл это видение или усмотрел в нем не более как наваждение злого духа: он признал в нем небесное указание и считал, что следует ему, создавая религиозную жизнь братьев миноритов, которые были в его глазах вроде странствующих рыцарей, так же предназначенных для возмещения обид и защиты слабых. Это сравнение ему нравилось, и, когда он хотел похвалить тех из своих учеников, которых выделял по причине их усердия и святости, он говорил: „Вот мои паладины Круглого Стола“».<sup>9</sup> Перенося в монашескую жизнь понятия рыцарского обихода, Франциск любил именовать себя и своих учеников рыцарями или воинами Христа. Одному из тех, кто желал вступить в его союз, он говорил: «Брат мой <...> ты просишь, чтобы господь принял тебя в свои слуги и рыцари»; и другому: «Я сделаю тебя воином Христа».<sup>10</sup>

Как всякий истинный рыцарь (это сравнение в повествованиях о его жизни стало привычной формулой), Франциск избрал себе Даму, которой горячо поклонялся. Этой Дамой была Нищета. В соответствии с символическим духом времени воспринимая конкретное как идеальное и идеальное как конкретное, Франциск персонифицировал это отвлеченное понятие, и строй его чувств по отношению к избранной им Даме был таков, как если бы она действительно была облечена плотью. Во всем средневековье, пишет Озанам, нельзя найти песни более смелой и слов более пламенных, чем эта молитва св. Франциска: «Господи, смилуйся надо мной и госпожой Нищетою. Вот она сидит на навозе, она, царица

<sup>8</sup> Герье В. Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви. М., 1908, с. 13—14.

<sup>9</sup> Ozanam A. F. Saint François, p. 53.

<sup>10</sup> Chéran-cé R. P. L., de. Saint François d'Assise, p. 59, 67.

всех добродетелей; она жалуется, что ее друзья ее презрели и стали ее врагами <...> Вспомни, господи, что ты пришел из обители ангелов, чтобы взять ее себе в супруги и иметь от нее множество сынов, преисполненных совершенства <...> Именно она приняла тебя в хлеву и в яслях, и именно она, сопутствуя тебе всю жизнь, позаботилась о том, чтобы тебе негде было приклонить свою главу» и т. д.<sup>11</sup>

Целью рыцарского служения Франциска стал идеал евангельского совершенства («иметь <...> множество сынов, преисполненных совершенства»). Тот эпитет, который, говоря о Зосиме, употребляет помещик Максимов («un chevalier parfait» вместо обычного «un vrai chevalier» — «истинный рыцарь»), представляется здесь неслучайным. Заповедь совершенства была первой заповедью в правиле ордена францисканцев. По преданию, это случилось так. Когда их было только трое (Франциск и два его ученика), они зашли однажды в бедную небольшую церковь, где до конца прослушали службу. После мессы священник трижды раскрыл Евангелие. И первое, что он прочел, были слова Христа о совершенстве: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах» (Матф., XIX, 21). Второе: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха» (Матф., X, 9—10). И третье: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною» (Матф., XVI, 24). Услышав это, Франциск сказал: «Братья, вот наша жизнь, вот наше правило и правило тех, кто захочет присоединиться к нам».<sup>12</sup> Евангельские слова начинали первый устав, написанный Франциском для братьев миноритов, и именно с заповеди совершенства он стал излагать принципы своего учения папе Иннокентию III, испрашивая у него одобрения.<sup>13</sup> Воплощение в жизнь и неустанная проповедь евангельского совершенства, евангельской бедности и смирения явились главным требованием Франциска по отношению к его ученикам. Сам он уже во втором житии Фомы Челанского, послужившем основным источником для всех дальнейших жизнеописаний Франциска, был назван «образцом» и «зеркалом совершенства».

С тем же кругом ассоциаций, что и «Pater Seraphicus» и «un chevalier parfait», связаны несколько замечаний в описании кельи старца Зосимы. «Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые <...> в углу много икон — одна из них Богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. Пред ней теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах, затем около них деланные херувимчики,

<sup>11</sup> Ozanam A. F. Saint François, p. 55—56.

<sup>12</sup> Chéranisé R. P. L., de Saint François d'Assise, p. 58—59. Ср. также «Цветочки» (Книга о св. Франциске, с. 137).

<sup>13</sup> Gebhart E. L'Italie mystique. Histoire de la Renaissance religieuse au moyen age. 3-e éd. Paris, 1899, p. 95—96.

фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с обнимающею его Mater dolorosa и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий» (14, 37). Огромная икона Богородицы, гравюры с итальянских художников прошлых столетий и католический крест с обнимающею его Mater dolorosa соединены в келье старца, очевидно, обдуманно.

Култ Богородицы занимает важнейшее место в жизни, учении и поэзии францисканцев. Церковь Марии Ангельской была главным храмом последователей и учеников св. Франциска. Создавая свой орден, Франциск поручил его покровительству Богоматери, отношение к которой окрашивалось у него тем же характером рыцарского послушания, что и отношение к Христу: «Он хотел с самого начала поверить ей свои радости в прошлом, свои заботы в будущем; и, перенося в монашескую жизнь один из самых священных обычаев рыцарства, он выдержал бдение почета и провел первую ночь в молитвах у ног своей госпожи, как если бы должен был быть опоясан мечом рыцаря Иисуса и Марии; он и был таким рыцарем на самом деле».<sup>14</sup>

В одном из видений Франциска, где он спрашивает у Христа особой милости к церкви Марии Ангельской, разговор между Христом, Марией и их рыцарем ведется так, как будто он происходит при феодальном дворе: «„О трижды пресвятой господь! Поскольку я обрел благодать в твоих глазах, я, который всего лишь пепел и прах и самый ничтожный из грешников, я заклинаю тебя со всем почтением, на какое способен: соблаговоли ниспослать верующим в тебя великую милость — пусть все, кто, исповедуясь и каясь, посетят этот храм, получают здесь полное отпущение и прощение всех грехов“. Затем, обратившись к Марии, он продолжал: „Я молю присноблаженную деву, твою родительницу, заступницу рода человеческого, ходатайствовать пред тобой в моем деле“ <...> Мария вступает за Франциска, и Иисус, который не может ни в чем отказать своей матери, склоняет к ней взор, полный любви, затем сразу переводит его на своего слугу. „Франциск, — говорит он, — ты просишь многого, но ты удостоишься милостей еще больших. Я дарую то отпущение грехов, о котором ты просишь, при условии, что оно будет утверждено и подтверждено моим наместником, ему одному я дал полную власть связывать и разрешать в этом мире“. При этих словах видение исчезло, и Иисус, сопровождаемый присноблаженной матерью и ангельской свитой, вернулся в недоступное святилище, где обитает царственная Троица».<sup>15</sup>

Такого рода отношение к Христу и Богоматери вообще обычно для католического средневековья. Приводя соответствующие параллели к различным мотивам «Божественной Комедии», А. Н. Веселовский среди прочего упоминает о Джакомо, итальянском поэте XIII в., у которого «в небе заведен феодальный

<sup>14</sup> Chérancé R. P. L., de Saint François d'Assise, p. 79.

<sup>15</sup> Там же, с. 146—147.

порядок, Богоматерь — рыцарская дама», она держит свой двор и дарит своим поклонникам богатых коней.<sup>16</sup> Веселовский имеет в виду стихи Джакомоно, цитированные и Озанамом, впервые обратившим серьезное внимание на значение францисканской поэзии. Вот их прозаический перевод: «И вот за почитание своей особы эта благородная дева, носящая венец в небе, дает своим рыцарям боевых и парадных коней, таких, о которых никогда не слыхивали на земле. Боевые кони — рыжие, а парадные — белые <...> чтобы восполнить экипировку, которая подобает великим баронам, она дает им также белое знамя, где она изображена победительницей сатаны, этого коварного льва. Таковы рыцари, о которых я только что говорил. Отец, Сын и Дух святой их дали Даме Небесной, чтобы они держались при ней безотлучно».<sup>17</sup>

Но не эта сторона в культе Богоматери, целиком определяемая временем и теми формами идеализации, которые вообще присущи западному средневековью, была главной для Франциска и францисканцев. Богоматерь воспринималась ими прежде всего как воплощение живой скорби о страдающем Христе. Проповедуя евангельское совершенство и полагая путь к нему основной задачей жизни, Франциск требовал от своих учеников непосредственного сочувствия к распятому и страдающему Христу, как если бы это страдание не было отдалено ни временем, ни пространством. По легенде, сам Франциск не мог вспомнить без слез о крестной муке Христа, а так как эта мысль его не покидала, глаза его ослабели от непрерывных рыданий. Скорбящая у креста Богоматерь ярче всего выражала это живое сострадание распятому богу. По-видимому, не случайно именно францисканцу, Якопоне из Тоди (XIII—XIV вв.), принадлежит «тот известный гимн <...> в котором так сильно <...> вылилась францисканская скорбь о Христе в форме материнского плача:

Stabat Mater dolorosa  
Iuxta crucem lacrimosa  
Dum pendeat filius.

(Стояла мать в слезах и скорби у ног креста родного сына)».<sup>18</sup> Возможно, *Mater dolorosa*, обнимающая распятие в келье старца Зосимы, не только привносит в роман тему католичества вообще, но в частном плане исподволь вводит еще одно указание на св. Франциска.

«*Pater Seraphicus*» по отношению к Зосиме срывается с уст Ивана в одной из последних глав книги «*Pro et contra*». В композиции этой книги (и романа в целом) наименование Зосимы, данное Иваном, несет особый смысл. Ведь Иван отсылает Алешу к его духовному отцу после того, как рассказывает брату поэму «Вели-

<sup>16</sup> Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия католичества. — Вестник Европы, 1866, № 12, отд. I, с. 174.

<sup>17</sup> Озанам А. F. Saint François, p. 120.

<sup>18</sup> Герье В. Франциск Ассизский..., с. 327—328.

кий инквизитор» и убеждается в том, что заключенное в ней опровержение Христа не вызвало сочувствия Алеши. Именуя Зосиму в этой сцене «Pater Seraphicus», Иван безусловно думал о Франциске Ассизском, этом «совершенном рыцаре» Христа (о нем и должен был вспомнить читатель, отвечая на вопрос Алеши: «„Pater Seraphicus“ — это имя он откуда-то взял — откуда?»).

Следующая за книгой «Pro и contra» книга «Русский инок» целиком посвящена Зосиме. Ряд звучащих в ней мотивов, относящихся к обстоятельствам жизни и смерти старца, мог бы продолжить параллель между ним и Франциском Ассизским. Но детальный анализ здесь не нужен. Остановимся на важнейшем.

Главная мысль поучений Зосимы заключается в проповеди любви, настолько полной и глубокой, что она, как и у Франциска, обнимает собой все творение — «и целое и каждую песчинку». «Каждый листик, каждый луч божий любите, — говорит старец. — Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну божью постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецело, всемирною любовью» (14, 289). «Пусть безумие у птичек прощения просить, — рассуждает далее старец, возвращаясь к темам, связанным с духовным перерождением его старшего брата, — но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну кашлю да было бы. Всё как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецело любовью мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтоб и они грех твой отпустили тебе» (14, 290). Испытывая такое же чувство восторга и любви к жизни, в каких бы формах она ни воплощалась, Франциск Ассизский, как повествует легенда, проповедовал птицам, убеждая их благодарить бога за то, что он дал им столь чистую сферу, кормит их и одевает. Проповедь начиналась словами: «Братья мои, птички небесные...».<sup>19</sup> Благодаря невинности и детской простоте души, пишет Озанам вслед за Фомой Челанским, Франциск находился как бы в положении первого человека, которому только что открылся мир; и, не отделяя себя от прочих созданий, он воспринимал их с братской нежностью и пониманием: «<...> эти создания в свою очередь отвечали ему таким же повиновением, как и первому человеку, и ради него возвращались к порядку, разрушенному грехопадением».<sup>20</sup>

Наиболее ярким выражением любви к миру явился знаменитый «Солнечный гимн» Франциска Ассизского:

Хвала тебе, господи, и всем твоим созданиям.  
В особенности брату солнцу,  
Которое сияет и светит нам;

<sup>19</sup> Ozanam A. F. Saint François, p. 67—68; Книга о св. Франциске, с. 182—183.

<sup>20</sup> Ozanam A. F. Saint François, p. 65.

Оно прекрасно и лучезарно в своем великолепии  
И тебя знаменует, всевышний.  
Хвала тебе, господи, за сестру лу́ну и за звезды:  
Ты их создал на небе светлыми, драгоценными  
и прекрасными.

Хвала тебе, господи, за брата ветра,  
И за воздух, и за облако, и за ясную и за всякую погоду,  
Которой ты поддерживаешь жизнь своих созданий.  
Хвала тебе, господи, за сестру воду:

Она благодетельна, и смиренна, и драгоценна,  
и целомудренна.

Хвала тебе, господи, за брата огня,  
Которым ты освещаешь ночь,  
И он прекрасен, радостен, могуч и силен.

Хвала тебе, господи, за сестру нашу, мать землю,  
Которая нас поддерживает и питает  
И производит различные плоды, и пестрые цветы, и траву.  
Хвала тебе, господи, за тех, которые прощают из любви  
к тебе

И претерпевают недуги и испытания.  
Блаженны обретающиеся в мире,  
Ибо ты, всевышний, их увенчаешь.

Незадолго до смерти Франциск, тяжело страдавший от многих недугов, добавил еще несколько строк, которыми и кончил свой гимн:

Хвала тебе, господи, за сестру нашу, телесную смерть,  
Ни один человек ее не избегнет.  
Горе тем, которые умрут в смертных грехах.  
Блаженны пребывающие до конца в твоей святой воле,  
Ибо вторая смерть не причинит им зла.<sup>21</sup>

В строгой композиции «Солнечного гимна», где все явления даны в определенной иерархической последовательности, начиная с солнца — подателя жизни (согласно христианской символике, оно соотнесено с Христом) и кончая смертью, прекращающей земную жизнь, все сущее равно вызывает чувство восторженного умиления, хвалы и благодарности. Нельзя сказать, что это чувство было свойственно одному Франциску. Его гимн восходит к известным стихам библейского текста, где заинтересованно-страстное отношение к природе, к явлениям бrenным и преходящим, сказалось с не меньшей силой.

Рассуждая о «Солнечном гимне» Франциска, Озанам говорит о том, что в восторженной поэзии этой хвалебной песни чувствуется присутствие Италии, родины святого, с ее благословенным небом и землей, обремененной цветами.<sup>22</sup> Действительно, все, что славит Франциск, заслуживает хвалы безусловно. Эпитеты, которые он избирает, называя солнце, луну, звезды, ветер и т. д., подчеркивают или их полезность, или их красоту. Упоминание о смерти здесь не звучит диссонансом, ибо речь идет о смерти телесной, являющейся необходимым переходом, пробуждением

<sup>21</sup> Книга о св. Франциске, с. 98—99.

<sup>22</sup> O z a n a m A. F. Saint François, p. 74.



к новой жизни, причем каждый волен сделать ее еще более прекрасной, чем та, которую ему пришлось оставить. Хвала богу в гимне Франциска возникает на бесспорном основании благ земных и в предчувствии благ небесных.

Подобные мотивы повторяются в беседах и поучениях старца Зосимы, включая радостное ожидание смерти, лишь открывающей двери в вечную жизнь: «Благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его <...> Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце» (14, 265). Однако в благословение не будущей, а земной жизни в проповеди старца настойчиво привносится мотив человеческой вины и греховности — обстоятельство, которое лишь мельком затрагивает Франциск в своем жизнеутверждающем гимне, поскольку оно, судя по всему, никак для него не связано с божьей славой: «„...и разговорились мы о красе мира сего божьего <...> Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну божью свидетельствуют <...> Посмотри на коня <...> али на вола <...> какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике. Трогательно даже это и знать, что на нем нет никакого греха, ибо всё совершенно, всё, кроме человека, безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего“. — „Да неужто, — спрашивает юноша, — и у них Христос?“ — „Как же может быть иначе, — говорю ему, — ибо для всех слово, всё создание и вся тварь, каждый листик устремляется к слову, богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего безгрешного совершает сие“» (14, 267—268). И дальше: «... посмотрите кругом на дары божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем» (14, 272). В проповеди Зосимы безгрешная природа поет богу славу, а человек до тех пор не может присоединиться к этому согласному хору, пока не поймет своей вины перед миром и всеми людьми и необходимости заплатить за нее страданием, ибо «воистину всякий пред всеми за всех и за всё виноват»; «... всякий пред всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если б узнали — сейчас был бы рай!» (14, 262, 270).

Эту вину перед всеми людьми и божьим миром вполне осознает грешный Митя. Именно этот герой, перед будущим страданием которого до земли склонился старец, должен, по замыслу Достоевского, закончить «солнечный гимн», начатый в поучениях Зосимы (глава IV «Гимн и секрет» книги одиннадцатой «Брат Иван Федорович»): «Можно найти и там, в рудниках, под зем-

лею, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! <...> Потому что все за всех виноваты <...> О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а богу быть, ибо бог дает радость <...> истай человек в молитве! Как я буду там под землей без бога? Врет Ракитин: если бога с земли изгонят, мы под землей его сретим! <...> И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость! <...> Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землею! <...> Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно <...> И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я емь! В тысяче мук — я емь, в пытке корчусь — но емь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, — это уже вся жизнь» (15, 31). Гимн Мити обнимает все сущее той самой «всецелою, всемирною любовью», о которой говорит старец и которая в данном случае восходит к богу из недр земли, уже совсем не «обремененных цветами». Этот особый поворот и привносит Достоевский в тему «солнечного гимна», имеющего в виду действительно весь мир без изъятия, не только в его светлой радости, но и в скорби.

Аналогичные мотивы возникают в творчестве Достоевского до «Братьев Карамазовых». В этом смысле любопытны черновые записи к «Подростку», связанные с Лизаветой Смердящей, не вошедшие затем в окончательный текст: «Лизавета Смердящая: Пошли меня, смердящую, не в рай к тебе светлый, а в крошечную тьму, дабы и там в огне и муке кричала тебе: „Свят, свят еси и любви иной не имею <...> до тех пор кричать хочу, что и черти уверуют“»; «Смердящая Лизавета. Не прощай, Христос, меня единую не прощай, а во ад спусти. Жечь будут, а я тебя славословить буду, а я любить буду. Без страдания жить не могу. Дай пострадать». И дальше: «Лизавета Смердящая: Прости весь ад и всех грешников прими к себе, а меня одное вместо всех оставь мучиться, и оставит одное (из любви). Мало тебе блаженства! Сатана отступится» (16, 138, 140, 143; ср. с. 141).

Своеобразной параллелью к этой славе, идущей из глубины страдания (за всех и вся), как в гимне Мити, так и в экзистенциальных восклицаниях Лизаветы служит характерное высказывание Якопоне из Тоди, поэта-францисканца, упоминавшегося выше в другой связи: «Я хотел бы также от всего сердца, — говорит он, — чтобы в смертный час бесы отправили мою душу в обитель

страданий, чтобы там она могла вынести все мучения, назначенные за мои грехи, за грехи тех праведников, которые страдают в чистилище, и даже за грехи отверженных и демонов, если это возможно; и так до Страшного суда и дольше еще, как это будет угодно божественному величию. И сверх всего, мне было бы очень приятно, было бы высшей радостью, если бы все те, ради которых я страдал, раньше меня оказались бы в царствии небесном, так, чтобы когда я наконец появился там после них, они все вместе возгласили, что ничем не обязаны мне».<sup>23</sup>

При очевидной близости сказанного здесь словам Мити или Лизаветы, оно им в сущности противоположно. У героев Достоевского любовь к миру и богу заявлена в гармоническом союзе, а готовность к самозакланию за всех и вся (собственно — путь Христа), лишенная сознания всякой заслуги, для них является лишь единственно возможным способом адекватного выражения этого двойного чувства. Оно проявляется здесь до полного самозабвения и с такой силой, что черти должны «уверовать», а сатана «отступиться», ибо если ад со всеми его муками огласится «осанной», то ни на земле, ни под землей не останется больше места для осуждения творца. Что касается высказывания Якопоне, то заключающаяся в нем любовь к миру и еще более к богу невольно вызывает сомнение, но представляется несомненной любовью говорящего к самому себе. Слова францисканца исполнены по сути такой глубокой гордыни, что она невольно ставит говорящего в сопернические отношения с богом (по части милосердия и любви). Кажется даже, что говорящий себя ему предпочитает. Если вернуться к «Братьям Карамазовым», то чувство, высказанное францисканцем, желающим взять на себя грехи мира и тем осчастливить всех, могло бы по самому характеру своему скорее принадлежать Великому инквизитору, чем Христу.

Здесь необходимо более внимательно присмотреться к Франциску Ассизскому как «истинному рыцарю Христа», поскольку старец Зосима в «Братьях Карамазовых» назван «Pater Serrhicus» преимущественно в этой связи. Напомним, что стигматизация Франциска в католической традиции рассматривается в качестве высшей награды «серафиму из Ассизи» за жизнь, в основе которой лежало буквальное следование по стопам Христа. Уже первые жизнеописания Франциска и сборник «Fioretti» (чудеса и деяния святого) отмечают такую близость «серафического отца» его божественному образцу, что на взгляд благочестивого сознания, воспитанного в другой христианской традиции, она была бы кощунственной. Мифотворчество в этом роде, начатое первыми жизнеописаниями, в дальнейшем продолжалось, и в конце XIV в. францисканец Варфоломей Пизанский в книге «О сходстве жизни блаженного Франциска с жизнью господина нашего Иисуса Христа» нашел 46 пунктов такого сходства.<sup>24</sup> Но Фран-

<sup>23</sup> Ozanam A. F. Le bienheureux Jacopone de Todi. — In: Ozanam A. F. Oeuvres complètes, vol. 5. 2 éd. Paris, 1859, p. 144—145.

<sup>24</sup> См. в кн.: Герье В. Франциск Ассизский..., с. 276.

диск в этом позднейшем мифотворчестве в конце концов повинен довольно отдаленно.

В отношении самого Франциска к Христу важен один момент, который Достоевский должен был отметить с особым пристрастием. Дело в том, что в чудесных видениях Франциска Христос являлся святому не только в облике страдающей за человечество и униженной плоти, но также в качестве предводителя небесного воинства, в царственном блеске и славе, наделенный всеми атрибутами власти. И этот другой Христос, не страдающий, а державный, судя по всему, произвел на Франциска не меньшее впечатление, чем первый. Франциск рассматривал свой орден как армию, организованную и дисциплинированную, и в понятие «рыцаря» или «воина» Христа вкладывал смысл не только фигуральный. К тому времени, когда Франциск собрался упорядочить религиозную жизнь своих сподвижников и получить одобрение папы, у него сложился определенный план. Как повествует один из позднейших биографов Франциска, этот план заключался в следующем: «Воздвигнуть крест в сердцах, утвердить его на вершине социального здания, а для этого объединить, организовать все элементы добра, сделать из них постоянную армию и дать ей в качестве главы наместника Иисуса Христа»,<sup>25</sup> т. е. папу, римского первосвященника, заменившего новым титулом наместника божия свое прежнее звание вселенского епископа и преемника апостола Петра.

В первый же устав, написанный для ордена Франциском, помимо нескольких заповедей из Евангелия, требования бедности и целомудрия, входило и требование строгого послушания. Во втором, более пространным правиле, составленном основателем ордена незадолго до смерти, это требование сохранилось. С величайшим простодушием, которое на сторонний взгляд может быть трактовано и как величайшая гордыня, Франциск убеждал своих адептов следовать этому правилу неукоснительно, как Евангелию: «Будь благословен монах, который следует этому правилу! Ибо оно — книга жизни, надежда спасения, суть Евангелия, путь совершенства, ключ рая, узел вечного союза. Носите его в своем сердце — все, всегда, повсюду, и пусть ничто не разлучает вас с ним, ни жизнь, ни смерть»<sup>26</sup> и т. д. Через некоторое время по возникновении ордена францисканцев, руководствующийся этим уставом, представлял собой вполне организованное воинство. В один из отмечавшихся орденом торжественных праздников кардинал Уголин захотел, «словно генерал, командующий армией, сделать смотр многочисленным фалангам воинов Христа, которые расположились на равнине <...> Это, действительно, была отборная армия великого царя, армия мирная и победоносная,

---

<sup>25</sup> Chéran sé R. P. L., de. Saint François d'Assise, p. 66.

<sup>26</sup> Цит. по кн.: Chéran sé R. P. L., de. Saint François d'Assise, p. 229 (вторая, расширенная редакция жизнеописания Франциска, составленного Фомой Челанским).

безоружная и всемогущая, восхищавшая дисциплиной и героизмом».<sup>27</sup>

Но Франциск не только внес обет послушания (обычный обет монашеских сообществ) в свой устав, а и усилил это требование до обязанности абсолютного повиновения.<sup>28</sup> Распоряжения самого Франциска, адресованные его собратьям, стоящим на более низких ступенях иерархической лестницы, имели характер военного приказа: «Я, брат Франциск Ассиизский, генерал ордена, приказываю тебе, именем повиновения, тебе, брату Анджели из Пизы, отправиться в Англию и там взять на себя обязанности провинциального министра. С богом».<sup>29</sup> Не удивительно, конечно, что биографы Франциска, как пишет Озанам, «присуждают ему все титулы воинской славы, и <...> святой Бонавентура, прежде чем закончить рассказ о жизни и подвигах своего учителя, восклицает: „И вот теперь, доблестный рыцарь Христа, носите оружие этого непобедимого владыки, который обратит в бегство ваших врагов. Держите выше знамя этого всевышнего царя: при виде его все воины божественной армии воспрянут духом. Ныне исполнилось пророческое видение, согласно которому вы, глава рыцарства Христова, должны были облечься в небесные доспехи“».<sup>30</sup>

Организуя свой орден на основе безусловного повиновения, Франциск сравнивал совершенного монаха с бездыханным трупом, который «не рассуждает, почему его тревожат, не заботится о том, куда его поместят, не настаивает, чтобы изменили его положение».<sup>31</sup> Эту формулу Франциска о слепом повиновении, лучше чем что бы то ни было другое из его учения, впоследствии усвоил Игнатий Лойола и, создавая новый орден, орден иезуитов (тоже «истинных воинов Христа»), сделал правило беспрекословного подчинения авторитету важнейшей заповедью своего устава. В руках высших представителей этого нового союза оно стало могучим орудием власти. Впрочем, иезуиты унаследовали и еще одну черту ордена св. Франциска, которую францисканцы всегда вменяли себе в особую заслугу, — это преданность папе.<sup>32</sup> В том видении Франциска, о котором говорилось выше, где Христос появляется в блеске царственности, во главе бесчисленного множества небесных сил, он соглашается исполнить просьбу святого и даровать полное отпущение грехов лишь при условии, что оно будет утверждено папой, ибо именно ему, наместнику Христа, дана полная власть «связывать и разрешать» здесь, на земле. Оставалось сделать только шаг, чтобы, упомянув бога в своем девизе («ad maiorem gloriam Dei»), реально целиком подчинить себя папе и, руководствуясь интересами ордена в частности и ка-

<sup>27</sup> Там же, с. 165—166.

<sup>28</sup> Герье В. Франциск Ассиизский..., с. 169.

<sup>29</sup> Chéran sé R. P. L., de. Saint François d'Assise, p. 171.

<sup>30</sup> Ozanam A. F. Saint François, p. 54.

<sup>31</sup> Герье В. Франциск Ассиизский..., с. 169.

<sup>32</sup> Chéran sé R. P. L., de. Saint François d'Assise, p. 168.

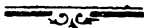
толичества в целом, допустить все средства для достижения не только небесных целей. Это та ситуация, о которой Иван и Алеша рассуждают в «Великом инквизиторе»: «— А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова? — Да так и должно быть во всех даже случаях, — опять засмеялся Иван. — Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано <...> „все, дескать, передано тобою папе и все, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе“» (14, 228).

Вводя имя Франциска Ассизского в свой роман, Достоевский не мог, да и вряд ли хотел, отвлечься от тех сторон личности и деятельности «серафического отца», стоявшего в начале католического движения, которые были сочувственно восприняты или видоизменены в ходе его дальнейшего развития. За Франциском Ассизским, этим *un chevalier parfait*, автору «Братьев Карамазовых» представлялась фигура Христа, не только согбенного под крестной ношей, но и Христа могущественного, наделенного всеми знаками силы и власти. Вот почему имя «Pater Seraphicus» по отношению к Зосиме (наряду с безусловно почтительным смыслом) в романе Достоевского имеет полемический подтекст. И не случайно, а вполне обдуманно вслед за аттестацией Зосимы, принадлежащей Ивану и идущей в заключение главы «Великий инквизитор» — «Pater Seraphicus», появляется аттестация автора, вынесенная в название отдельной книги — «Русский инок». Эта новая характеристика Зосимы, не отменяющая предыдущую, а тесно связанная с нею, означала, по замыслу Достоевского, указание на русский способ следования «по стопам Христа» и на русское понимание Христа. Этой теме, к которой задолго до «Братьев Карамазовых» Достоевский то и дело обращался (особенно настойчиво в «Дневнике писателя»), и посвящена в основном книга «Русский инок». Вкратце это русское понимание Христа, противостоящее в сознании Достоевского его западному варианту, было выражено тем же Иваном в предисловии к его поэме: «У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде царь небесный  
Исходил благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу» (14, 226). Христа, принесшего себя в жертву за грехи «всех и вся», который еще так живо волновал Франциска Ассизского, и должна, по мысли Достоевского, вернуть Западу Россия (проповедь Зосимы, путь Мити Карамазова), с тех пор как там этот кроткий облик страдающего и сострадающего бога был окончательно забыт за державной его статью. В системе воззрений Достоевского такое забвение означало измену идее братской любви и торжество идеи власти и подчинения, торжество Великого инквизитора.

# СООБЩЕНИЯ. ЗАМЕТКИ



И. Д. ЯКУБОВИЧ

## ДОСТОЕВСКИЙ В ГЛАВНОМ ИНЖЕНЕРНОМ УЧИЛИЩЕ (Материалы к летописи жизни и творчества писателя)

В предисловии к «Жизни и трудам Ф. М. Достоевского» Л. П. Гроссман писал: «А. С. Долинин поделился со мною ценными результатами своих разысканий в архивах Инженерного училища, установивших ряд неизвестных дат в истории школьных лет Достоевского».<sup>1</sup> В тексте летописи эти материалы имеют только ссылку: «сообщил А. С. Долинин».

Работа над Полным собранием сочинений писателя заставила обратиться к розыскам архива Инженерного училища. Как выяснилось, материалы его были переданы в сентябре 1941 г. из Ленинграда в Центральный государственный военно-исторический архив СССР в Москве. При просмотре описей архива обнаружилось, что против названий многих архивных дел за интересующий нас период с 1837 по 1843 г. имеется глухая помета «выбыло», «нет». Отыскать следы этих материалов не удалось. К ним, к сожалению, относятся списки о получении жалованья с расписками Достоевского, рапорт и приказ о его отпуске, упомянутые Л. П. Гроссманом.<sup>2</sup>

В сохранившейся части архива обнаружены «Приказы по Главному инженерному училищу» за 1837—1839 гг. и 1841—1842 гг.<sup>3</sup> Эти приказы, подписанные начальником училища генерал-лейтенантом В. Л. Шарнгорстом, касаются всего учебного процесса в целом. Главным образом это списки преподавателей, распоряжения об их перемещениях и поощрениях, списки учащихся по классам с особыми отметками отличившихся и неуспевающих, сведения о переводе воспитанников в высшие классы, расписания вступительных, полугодичных и годичных экзаменов.

Среди приказов есть и такие, которые в какой-то мере воскрепают перед нами быт воспитанников (например, предписа-

<sup>1</sup> Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.—Л., 1935, с. 9.

<sup>2</sup> Там же, с. 35.

<sup>3</sup> ЦГВИА, ф. 351, оп. 1, № 6—8, 10—11.

ние, «как кондукторы и офицеры должны раскланиваться на улицах со встречными» или в какой одежде «следует появляться» в театре, на балу и т. п.). Имеется и распоряжение о воспрещении воспитанникам носить калоши и очки, так как «слабые здоровьем не могут находиться в числе учащихся».

В огромном количестве подобных приказов есть и ряд сведений, дополняющих хронологическую канву жизни писателя за 1837—1842 гг. или дающих документальное подтверждение уже ранее известных фактов.

Братья Михаил и Федор Достоевские лето 1837 г. по приезде в Петербург занимались в пансионе К. Ф. Костомарова, подготавливаясь к поступлению в училище. 1 сентября оба они были представлены генералу Шарнгорсту среди других кандидатов к поступлению. «Генерал обошелся со всеми ласково, и всем приказано быть в готовности», — писали братья отцу (П., I, 44).

Приказ по училищу от 2 сентября 1837 г. за подписью Шарнгорста гласил: «По случаю имеющего начаться приемного экзамена кандидатов прошу г-на доктора статского советника Волькену приступить к освидетельствованию кандидатов начиная с 3-го числа, причем, на основании повеления его императорского высочества генерала-инспектора по Инженерной части, присутствовать г-дам полковнику Ломовскому и подполковнику Фере. Список кандидатов с отметкою состояния их здоровья прошу представить ко мне за общим подписанием». Этому-то медицинскому освидетельствованию и обязан был М. М. Достоевский тем, что по слабости здоровья (кроме того, он еще, страдая сильной близорукостью, носил очки, а это, как видно из приказов, «строго воспрещалось») не был допущен до вступительных экзаменов в училище.

Запись от 8 сентября позволяет восстановить даты приемных экзаменов, предметы, которые должен был сдавать уже один Ф. М. Достоевский, и списки преподавателей, принимающих экзамены у 43 претендентов к поступлению: «15-го числа сего месяца начнется приемный экзамен по следующему расписанию:

Арифметика и геометрия: 15 и 16 числа. Алгебра и геометрия: 17 и 18. Русский язык и география: 20 и 21 числа. История: 22 и 23 числа. Французский язык: 24 числа. Немецкий язык и рисование: 25 числа. Экзаменаторами назначаются:

по Закону божию:

Арифметике и алгебре:

Геометрии:

Немецкому языку:

Французскому языку:

Русскому языку:

Истории:

Географии:

Рисованию:

г-н протоиерей Полиектов.

шт.-капитаны Кирпичев и Степанов.

капитан Черневский.

г-да титулярные советники Станкевич и Штерн.

г-да надворные советники Трипо, Аккерман, Федри де Пиньи и г-н Бассет.

г-н титулярный советник Ивановский.

г-н титулярный советник Ивановский и подпоручик Минквиц.

подпоручик Минквиц.

шт.-капитан Реймерс.



Для экзамена по закону божию определенных дней не назначать, но представляется г-ну протоиерею Полиектову произвести оный в те дни, когда время ему то дозволит. Экзамен будет начинаться ежедневно в 8 часов утра).

Следующие сведения, касающиеся Ф. М. Достоевского, относятся уже к 1838 г.

Приказ от 16 января:

«На открывшиеся в кондукторской роте вакансии пенсионеров с утверждения его императорского высочества генерал-инспектора по Инженерной части, зачисляются следующие кандидаты.

Кондукторами:-

1. Перебаскин Александр	15 лет	4 <sup>4</sup>
2. Куроедов Иван	17 »	4
3. Тотлебен Густав <sup>5</sup>	14 »	4
4. Тизенгаузен	16 »	3
5. Готовский Михаил	17 »	3
6. Князь Волконский Владимир	17 »	3
7. Патон Оскар	14 »	4
8. Безобразов Федор	17 »	3
9. Головачев 1-й Александр	15 »	3
10. Тизенгольд Роберт	14 »	4
11. Достоевский Федор	15 »	3
12. Тарновский Константин	15 »	4
13. Паукер Ермолай	14 »	3
14. Каврайский Василий	14 »	4
15. Осипов Павел	16 »	3
16. Головачев 2-й Николай	14 »	4
17. Родионов Виктор	15 »	4
18. Руссау Евгений	14 »	4
19. Моисенко-Великий Василий	14 »	4
20. Хлебников Константин	15 »	4
21. Обресков Александр	16 »	4
22. Ялинский Александр	14 »	4
23. Адам Вильгельм	15 »	4

Вследствие сего предписываю вышеозначенных кандидатов по спискам кондукторской роты зачислить налицо кондукторами и на верность службы привести к присяге». На приказе помета: «При собрании рот было читано».

Сведения данного приказа позволяют прокомментировать письма братьев Достоевских к отцу. М. М. Достоевский писал: «Брат держал экзамены с честью. Мы наверно полагали, что он будет в числе первых <...> Несмотря на все это он стал 12-м; ибо теперь, вероятно, смотрели не на знания, но на лета и на

<sup>4</sup> Цифра указывает средний балл, полученный на экзаменах.

<sup>5</sup> У Достоевского в письмах (П., I, 173, 180) и у Григоровича в воспоминаниях о годах учения в Инженерном училище (Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961, с. 43) упомянут их однокашник Адольф Тотлебен, младший брат Э. И. Тотлебена. Среди биографических материалов героя Крымской войны Э. И. Тотлебена приводятся сведения лишь об одном его брате. Ср.: Шильдер Н. Граф Э. И. Тотлебен, его жизнь и деятельность, т. 1. СПб., 1885, с. 5. Видимо, в списке кондукторов дано другое его имя. Полное его имя было Адольф-Густав.

время, с которого начали учиться. Поэтому первыми стали почти все маленькие и те, которые дали денег, т. е. подарили» (П., IV, 229). В приведенном выше списке принятых пенсионеров Достоевский числится, правда, не двенадцатым, а одиннадцатым; этот факт, огорчивший «брата донельзя», не объясняется, конечно, возрастом, среди названных первыми есть лица старше Достоевского, а лета будущего писателя, возможно специально, уменьшены. Ему шел тогда уже семнадцатый год. М. М. Достоевский одной из главных причин отказа ему в приеме считал то, что оба брата вступали в один год и на казенный счет (П., IV, 229). Однако в училище было довольно много братьев. В списках зачисленных в 1838 г. было, например, два Головачева, одновременно обучались братья Тотлебены. На казенный счет не был принят и Ф. М. Достоевский, за него было внесено А. А. Куманиным 950 руб. серебром.

Достоевский имел средний балл — три. Этот балл учитывал и занятия «по фронту», и успехи в рисовании. Экзамены по этим предметам проводились в училище после основных экзаменов, с сентября по январь. Судя по приказам, этим предметам в училище придавалось особое значение, а именно в них Достоевский отставал. Он писал отцу несколько позднее: «Я плохо рисую, как Вам известно <...> и это мне много повредило <...> на рисование смотрят более математики» (П., IV, 237).

Сохранились «Списки воспитанникам Главного инженерного училища с аттестациею по поведению и по фронту и кто из них подвергнулся за поступки взыскаию»<sup>6</sup> за 1838 г., подаваемые в канцелярию училища ежемесячно. При высшей оценке в 10 баллов Достоевский, шедший в списке кондукторов семьдесят четвертым, за январь 1838 г. имел по поведению 5, по фронту 2, за февраль — соответственно 5 и 3, за март—июнь — 5 и 4, за июль и август — 6 и 4, за сентябрь — 6 и 5, за октябрь—ноябрь — 6 и 4 балла. А 3 января 1839 г. по училищу был отдан приказ: «По представленной командиром кондукторской роты полковником Фере аттестации о поведении и знании фронтовой службы кондукторов за декабрь 1838 г. по фронтовой службе оказываются слабыми...» — далее в числе тринадцати других воспитанников назван Ф. М. Достоевский. Из этих отстающих было предписано «составить особую команду и проводить им ежедневное учение». Недаром М. М. Достоевский писал отцу о брате: «Их очень много мучают фронтом» (П., IV, 233), а сам Федор Михайлович о «фрунтовых учениях» и позднее, в годы солдатчины, вспоминает с содроганием (П., I, 145—146).

В письме к отцу М. А. Достоевскому от 4 февраля 1838 г. Достоевский сокрушается о своей большой загруженности: «Вообразите, что с раннего утра до вечера мы в классах, едва успеваем следить за лекциями. Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже ни минутки, чтобы следить хоро-

<sup>6</sup> ЦГВИА, ф. 351, оп. 1, № 522.

шенько на досуге днем слышанное в классах. Нас посылают на фрунтовое учение, нам дают уроки фехтования, танцев, пения... Наконец ставят в караул и в этом проходит все время» (П., IV, 235).

Приказы начальника училища дают возможность проследить за ходом учебного процесса детально. Кондукторы всех четырех классов и офицеры верхнего и нижнего классов должны были сдавать экзамены трижды в год: третные, полугодичные и годовичные. Каждый раз сдавалось до десяти предметов. Поступив в середине января 1838 г. в третий кондукторский класс (минуя низший четвертый), Достоевский уже в апреле держал третной экзамен. В приказе за 24 марта 1838 г. читаем: «По случаю праздника светлой недели ученье в классах прекращается в субботу 26-го марта до 11 апреля. По сему предписывается: 1) Всем чинам, к Училищу принадлежащим, на страстной неделе по долгу христианскому приобщиться св. тайн. 2) Во время праздников кондукторам строго соблюдать правила, означенные на отпускных билетах, и на улице быть всегда чисто и совершенно исправно одетыми, исполняя с точностью все, что к наблюдению предписано. 3) В понедельник 11-го апреля начнется третной экзамен <...> По сему приглашаю обучающихся офицеров, а равно и кондукторов пользоваться предстоящим свободным временем для повторения наук и для приготовления себя надлежащим образом к сему экзамену». Экзамены Достоевскому предстояли по следующим дисциплинам: 11 апреля — география и французский язык, 12-го — алгебра и немецкий язык, 13-го — история, 14-го — русский язык, 16-го — закон божий, 20-го — геометрия, 22-го — смотр чертежей.

Май 1838 г. был занят подготовкой к «пышному блестящему майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская» (П., IV, 237), а 7 июня уже был отдан приказ о выступлении в летние лагеря: «Вследствие приказания по военно-учебным заведениям от 6-го июня о выступлении в лагерь 11-го числа июня, кондукторские классы сего числа кончаются. Вследствие сего предписываю: 1) Взятые кондукторами из библиотеки книги сдать обратно в оную 8-го числа в 8 часов утра. 2) Сдать в библиотеку для хранения классные чертежи. 3) Занятия в лагерях должны состоять из решения геометрических практических задач и в съемке и нивелировании местности, в разбитии и дефилировании полевых укреплений и в производстве саперных и линейных работ». Далее следует предписание повторять в лагерях «пройденные в классах предметы», «дабы приготовить себя к имеющему быть после лагеря экзамену».

Лагерная жизнь под Петергофом продолжалась два месяца. 16 августа 1838 г. в кондукторских классах возобновились занятия. Сразу же появились распоряжения о подготовке к годовичному экзамену. «Экзамен имеет начаться рассматриванием рисунков, и только те офицеры и кондукторы будут допущены к дальнейшему экзамену по наукам, у коих рисунки в исправности, осталь-

ные же затем в науках экзаменованы не будут и останутся в том же классе на другой год». Смотр рисунков состоялся 30 сентября, а с 1 октября начались годовичные экзамены. Сдавались те же предметы, что и в апреле, а закончилось все 26 октября публичным экзаменом. Результатом его был перевод в следующий класс. В списках переведенных учащихся Достоевский не значился. Об этом он писал отцу 30 октября 1838 г.: «Еще лишней год дрянной ничтожной кондукторской службы!» (П., I, 49).

В феврале 1839 г. Достоевский снова сдает полугодичный экзамен. Никаких сведений об успехах его зафиксировано в приказах не было. К счастью, этот курс был ускоренный — в мае состоялся годовичный экзамен, 11 июля 1839 г. был отдан по училищу приказ: «На основании годовичного экзамена и состоявшейся по оному конференции в присутствии всех г-д преподающих переводятся в высшие классы: <...> Во 2-й кондукторский класс: <...> № 3. Достоевский <...> № 6. Григорович». Д. В. Григорович поступил в училище на год раньше Достоевского, но Федор Михайлович был принят сразу в третий кондукторский класс. Григорович же, учившийся не блестяще, отстал, и, таким образом, они учились 1839 год в одном классе. Затем Григорович ушел из училища. Он писал: «Пройдя каким-то образом во второй класс, предшествующий последнему, я пришел к сознанию, что дальше идти нет мне возможности».<sup>7</sup>

Дальнейший путь Достоевского вплоть до окончания училища был благополучен. Никаких особых замечаний о нем в приказах не встречается. Лето 1839 г., с 22 июня по 6 августа, кондукторы провели под Петергофом, а 16 августа вновь начались занятия, продолжавшиеся до 21 декабря, т. е. до рождества. Со 2 января 1840 г. проходил полугодичный экзамен. Во втором кондукторском классе экзаменовались: 3 января по алгебре, 4-го — по русской словесности, 5-го — по фортификации, 8-го — по истории, 9-го — по немецкому языку, 10-го — по артиллерии, 11-го — по французскому языку, 12 января состоялся смотр чертей.

За 1840 г. приказы по училищу не сохранились. За 1841 г. сохранились расписания полугодичных и годовичных экзаменов. В январе 1841 г. Достоевский, будучи в первом кондукторском классе, должен был сдать: 7 января — фортификацию, 8-го — историю, 9-го — французский язык, 11-го — аналитику, 13-го — геодезию, 14-го — закон божий и начертательную геометрию, 15-го — физику, 17-го — архитектуру, 18-го — ситуацию и русскую словесность. В апреле же начинался годовичный экзамен, которым заканчивался четырехгодичный курс обучения в кондукторских классах. Снова сдавались: 22 апреля — аналитика, 26-го — геодезия, 29-го — начертательная геометрия, 3 мая — фортификация, 7-го — артиллерия, 10-го — физика, 13-го — французский, 16-го — русский язык, 21-го — история, 24-го — архи-

<sup>7</sup> Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с. 51.

тектура, 27-го — закон божий, 28-го — черчение (фортификация), 31-го — черчение (архитектура), 2 июня — черчение (начертательная геометрия) и 3 июня — черчение (ситуация).

Достоевский имел полное право воскликнуть: «Ах, брат, ежели бы ты только имел понятие о том, как мы живем!»; и далее: «Такое зубрение, что боже упаси, никогда такого не было. Из нас жилы тянут, милый мой» (П., I, 61, 62). Можно только удивляться, как при такой загруженности Достоевский успевал прочесть все те книги, о которых он пишет брату («весь Гофман русский и немецкий», «почти весь Бальзак», Гете, Ж. Санд, Гюго, «вызубрил Шиллера», Полевой, Шатобриан и др.).

Июль 1841 г. кондукторы провели опять в лагере под Петергофом. 9 августа по училищу был отдан приказ о переводе Достоевского в нижний офицерский чин. Здесь же приказ о его производстве: «Высочайшим его императорского величества приказом в 5 день августа 1841 г. производится из кондукторов в полевые инженеры-прапорщики». Достоевский был среди лучших, «неспособные» были представлены в гарнизонные инженеры. Для будущего писателя начался с этого момента новый этап жизни. Кончилась поднадзорная жизнь в стенах Инженерного замка, началась «вольная», «независимая» (П., I, 65) жизнь — прапорщики-офицеры могли жить уже на частной квартире.

В нижнем офицерском классе приступили к занятиям 18 августа. Сохранились расписания полугодичных и годичных экзаменов. 17 января Достоевский сдавал дифференциальные и интегральные исчисления, 19-го — фортификацию, 22-го — статику, 23-го — тактику, 24-го — строительное искусство и состоялся смотр чертежей. Перерывы в занятиях были только по случаю рождественских каникул, с 23 декабря по 2 января, и пасхальных, с 3 по 19 апреля. Год закончился вновь экзаменом. 19 мая сдавались дифференциальные и интегральные исчисления, 22-го — статика, 25-го — физика, 27-го — начертательная геометрия, 30-го — тактика, 2 июня — строительное искусство, 4-го — фортификация, 6-го — смотр чертежей. 21 июня 1842 г. «гда офицеры нижнего класса отправляются в селение Колтуши для практической съемки».

Летом офицеры должны были составить отчеты о проделанных работах. «По рассмотрении журналов и планов, представленных г-дами обучающимися офицерами о практических занятиях своих в продолжение сего лета, оказывается следующее...». Далее следуют небольшие рецензии на журналы каждого офицера. Отзыв о работе, представленной офицером Достоевским, был сравнительно с другими очень кратким: «Журнал составлен па скорую руку и хотя в нем нет больших ошибок, но не мешало бы более подробное изложение работ, вообще видно, что к составлению его мало приложено старания». 5 августа — приказ о переводе Достоевского в высший офицерский класс.

19 августа в книге приказов зафиксировано: «Его императорское высочество генерал-инспектор по Инженерной части от

15 сего августа за № 37 изволил отдать по Инженерному корпусу следующий приказ: высочайшим его императорского величества приказом, последовавшим августа в 11 день, производятся по экзамену состоящие при Главном инженерном училище полевые инженеры: <...> из прапорщиков в подпоручики — Достоевский...» и т. д.

Начался последний учебный год для Достоевского в Инженерном училище.

С 10 декабря 1842 г. офицеры сдавали полугодичный экзамен: 10-го — законоведение, 11-го — фортификацию, 12-го — строительное искусство, 14-го — минералогию, 15-го — химию, 17-го — теоретическую механику, 19-го — прикладную механику, 21-го — закон божий и после перерыва с 23 декабря по 2 января происходил смотр чертежей. Приказы по училищу за 1843 г. не сохранились.

## А. В. ДРУЖИНИН О МОЛОДОМ ДОСТОЕВСКОМ

(Публикация А. Л. Осповата)

Литературное наследие Александра Васильевича Дружинина (1824—1864) — беллетриста, критика, переводчика — собрано и изучено далеко не во всем объеме.<sup>1</sup> Этому не приходится удивляться, если принять во внимание признание Дружинина в его неопубликованной автобиографии: «Полного собрания своих сочинений не издавал, списка им не имеет».<sup>2</sup> Отсутствие точного представления о работах Дружинина этих лет затрудняет и анализ того существенного сдвига в его воззрениях (на рубеже 1840—1850-х годов), который определил переход воспитанника «натуральной школы» на позиции защитника теории «чистого искусства».<sup>3</sup> Цель настоящего сообщения — ввести в оборот отрывок из неизвестной статьи Дружинина 1848 г., который содержит примечательный отзыв о творчестве молодого Достоевского.

Датировка статьи не вызывает сомнений: даже по дошедшему до нас фрагменту очевидно, что она построена по типу ежегодных обзоров русской литературы, практиковавшихся в критике со времен Белинского; поскольку же речь здесь идет о произведениях, появившихся в 1848 г., то работу над статьей следует отнести к концу этого года. Резонно предположить, что статья предназначалась для «Современника» (где тогда Дружинин исключительно сотрудничал), но в первом номере этого журнала за 1849 г. появился аналогичный обзор П. В. Анненкова — «Заметки о русской литературе прошлого года».<sup>4</sup> В «Современнике» одновременно

<sup>1</sup> См., например, публикации последних лет: Герштейн Э. Новый источник для биографии Лермонтова. Неизвестная рукопись А. В. Дружинина. — Литературное наследство, т. 67. М., 1959, с. 615—644; Зельдович М. Г. Неопубликованная статья А. В. Дружинина о Некрасове. — Некрасовский сборник, т. IV. Л., 1967, с. 241—266.

<sup>2</sup> ГПБ, ф. 265, № 1, л. 2 об.

<sup>3</sup> См.: Чуковский К. Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 11—76; Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики середины XIX века. Л., 1973, с. 48—51, 79—80; Рябцева Т. Ф. А. В. Дружинин в «Современнике» начала 1850-х годов («История одной картины»). — В кн.: Н. А. Некрасов и его время, вып. IV. Калининград, 1979, с. 137—142.

<sup>4</sup> См.: Современник, 1849, № 1, отд. 3, с. 1—28. Анненков, очевидно, написал статью еще осенью 1848 г., до отъезда в Симбирск (см.: Егоров Б. Ф. П. В. Анненков — литератор и критик 1840-х—1850-х годов. — Учен. зап. Тартуского унив., 1968, вып. 209, с. 65), что могло каким-то образом остаться неизвестным Дружинину.

с обзором Анненкова увидели свет роман Дружинина «Жюли» и первое его «Письмо иногороднего подписчика (...) о русской журналистике», где сочувственно рецензируя «Белые ночи»,<sup>5</sup> он, однако, не использовал материал интересующей нас статьи. И в двух следующих «Письмах иногороднего подписчика...», содержащих отзвывы о «Неточке Незвановой»,<sup>6</sup> публикуемый ниже фрагмент не отразился.

Первое «Письмо иногороднего подписчика...», датированное декабрем 1848 г., было первым выступлением Дружинина в качестве литературного критика (если не считать статью «Джемс Фенимор Купер», написанную вероятнее всего Дружининым,<sup>7</sup> но все же не имевшую отношения к текущим процессам в отечественной словесности). Поскольку логично предположить, что новую форму ежемесячных обзоров Дружинин решил ввести в «Современнике» только после того, как узнал о «приоритете» Анненкова по отношению к ежегодным обзорам, то интересующую нас статью можно рассматривать как его несостоявшийся критический дебют.

Начало критической деятельности Дружинина совпало с «мрачным семилетием», когда он потерял надежду на то, что его беллетристика, следовавшая канонам «натуральной школы», имеет шансы на прохождение в печать. Как раз 17 января 1849 г. цензура запретила повесть «Воспитанница»,<sup>8</sup> и отныне повествовательные и драматургические опыты Дружинина носили уже иной характер. Возможно, его отход от традиций 40-х годов объясняется не только прагматическими соображениями и он испытывал в ту пору внутренний кризис (как следствие общего кризиса «натуральной школы»), — как бы то ни было, уцелевший фрагмент из статьи 1848 г. зафиксировал эстетическое «брожение». Дело даже не в том, что из всех произведений Достоевского, написанных между «Бедными людьми» и «Белыми ночами», Дружинин выделил «Двойника» (что не соответствовало итоговой оценке этой повести, данной Белинским в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года»<sup>9</sup>); гораздо более существенно, что, определяя конфликт «Слабого сердца» как «антагонизм, несогласие» «духовной природы» человека с «жизненными событиями», критик отметил устарелость и вторичность этой «мысли». Очевидно, что упрек в подражании Шекспиру, Пушкину и другим писателям адресован — в этом контексте — прежде всего прозаикам «натуральной школы», которые часто описывали трагедию обездоленного человека, сокрушенного «первой радостью, первой улыбкой судьбы». В отличие от критики 40-х годов Дружинин не стремился предсказать дальнейший путь писателя, не наставлял его: как можно судить по данному фрагменту, статья не предполагала каких-либо итоговых выводов.

За исключением повести «Полянка Сакс» (1847), память о которой (как показывает работа над «Бесами» и «Подростком») надолго сохранилась в творческом сознании Достоевского, литературная деятельность Дружинина воспринималась писателем с неизменным скепсисом и даже враждебно. В первом дошедшем до нас письме брату после каторги (от 22 февраля 1854 г.) читаем: «... от Дружинина тошнит» (П., I, 140). «Переписчик» (т. е. «Иногородний подписчик») высмеивается в «Селе Степанчикове» (см.: 3, 70); негативные упоминания о Дружинине встречаются и в публицистике 60-х годов (см.: 20, 82, 84). Однако, как уже отмечалось комментаторами (см.: 2, 488), изменения, внесенные Достоевским в текст «Белых ночей» в 1860 г., были сделаны не без влияния упо-

<sup>5</sup> См.: Современник, 1849, № 1, отд. 5, с. 43—44; Дружинин А. В. Собр. соч., т. 6. СПб., 1865, с. 14—15.

<sup>6</sup> См.: Современник, 1849, № 2, отд. 5, с. 185—187; № 3, отд. 5, с. 67—69; Дружинин А. В. Собр. соч., т. 6, с. 27—29, 63—66.

<sup>7</sup> См.: Современник, 1848, № 7, отд. 3, с. 1—20. Ср.: Богград В. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М.—Л., 1959, с. 492.

<sup>8</sup> Сохранился цензурный экземпляр этой повести (см.: ГПБ, ф. 265, № 6).

<sup>9</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X. М., 1955, с. 40—41.

мянутого выше отзыва Дружинина в первом «Письме иногороднего подписчика...». Это обстоятельство придает дополнительный интерес публикуемому фрагменту.

Фрагмент статьи Дружинина (он включает и завершающие строки отзыва о Я. П. Буткове<sup>10</sup>) печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 3, № 13, л. 1—2 об.

<...> подробностей, зато нигде растянутость не доведена до такой степени. Залетаев, выигравший карету и катающийся в ней по Невскому проспекту без усталости и отдыха,<sup>1</sup> — его фиолетовый прислужник, весь ряд этих небритых, синих и заборных людей вроде Громотрясова, Рыловоротова и компании поневоле смешат вас, и смешат от чистого сердца. Иногда вам хочется спросить: «да откуда же автор выискал эти странные лица», — но вы тотчас же забываете свой вопрос и смеетесь от души. Но вот повесть начинает вас уже не так занимать: она тянется и не может окончиться, лица перед вами все те же, все те же фризковые, фиолетовые и подбитые физиономии, те же Рыловоротов и Громотрясов, Залетаев по-прежнему катается по Невскому на запятках, у него тот же фиолетовый человек... Вам становится скучно, и повесть, столько раз вызывавшая вас на улыбку, оканчивается зевотою.

Говоря о статьях, преимущественно назначенных для легкого чтения, упомянем о маленьких рассказах г. Достоевского (Ф. М.) (в Смеси Отеч. Зап.), и упомянем только затем, чтобы отсоветовать автору приниматься за этот род статей. Талант автора «Бедных людей» не имеет довольно гибкости, слог его не слишком легок и игрив для этого рода, и, кроме того, его запутанность и туманность причиною, что статьи эти читаются с некоторым напряжением. Признаемся откровенно, что после «Хозяйки» мы опасались за г. Достоевского, эта повесть была до такой степени странна, скучна и непонятна, что мы видели в ней окончательный упадок таланта, окончательную решимость г. Достоевского придерживаться какого-то неслыханного и неестественного направления. Тем приятнее было нам в отделе словесности «Отечественных записок» встретить две новые повести — «Слабое сердце» и «Рассказ бывалого человека»,<sup>2</sup> из которых убедились мы, что г. Достоевский воротился на прежнюю дорогу и говорит с нами языком понятным, напомнившим нам время его успеха, время «Бедных людей». Однако же обе указанные нами статьи во всех отношениях ниже этого последнего произведения.

Основная идея повести «Слабое сердце» очень замечательна, но ее нельзя назвать новою. Человек, взросший под гнетом нужды и несчастья, которого первая радость, первая улыбка

---

<sup>10</sup> Любопытно, что в третьем «Письме иногороднего подписчика...» Дружинин писал: «Эти два имени (Достоевский и Бутков, — А. О.) как-то срослись между собою, одно из них напоминает о другом; отозвавшись о повестях г. Достоевского, нельзя умолчать о таковых же г. Буткова» (Современник, 1849, № 3, отд. 5, с. 69; Дружинин А. В. Собр. соч., т. 6, с. 66).



судьбы сокрушила как тростинку, — не есть предмет новый для правоописателя. Иначе и быть не может: везде, где действует человек, интереснейшим предметом для наблюдения является антагонизм, несогласие его духовной природы с жизненными событиями. На несоразмерности сил наших с потребностями и событиями видится целый ряд бессмертных произведений. Гамлет, Рене, Оберман,<sup>3</sup> Онегин и Печорин — все это члены того же семейства. Романы и повести живут подобными сюжетами. И так мысль «Слабого сердца» не в состоянии вынести на себе целого произведения,<sup>4</sup> как это было, например, с Голядкиным, где основная идея, по рельефности своей и оригинальности, заставляла прощать автору бледность и запутанность подробностей.<sup>5</sup>

Исполнение повести «Слабое сердце» неудачно. Мы не можем привязаться ни к одному из действующих лиц, — нам жаль героя повести, но мы не любим его, он нам как-то непонятен, его детские выходки неловки и непривлекательны, — мы не находим в нем частички самих себя, как это было с Макаром Алексеевичем.<sup>6</sup> Короче сказать: он вял. Ночные сцены перед сумасшествием проникнуты болезненным колоритом, они не могут не произвести действия на читателя, но это действие как-то посредственно, это рассказ о какой-то замечательной болезни, это не самая болезнь. Мы слушаем рассказ о больном, слушаем его с участием, но сам больной не стоит перед нашими глазами... Других замечательных лиц в повести нет: Аркадий, друг жениха, лицо невероятное. У нас в Петербурге не любят на каждом шагу обниматься со своими друзьями, и бедная, скромная часть нашего народонаселения до крайности сосредоточена и молчалива в своих привязанностях и антипатиях.

Сцена в магазине у М-ше Леру производит на читателя впечатление, подобное фальшивой музыкальной ноте. Тут что-то не так, что-то не верно... Картина Петербурга в морозный вечер, когда ряды палат грозно высятся в сумраке и дым, выходя из труб сжатými столбами, рисует на светлом небе фантастические узоры, очень эффектно оканчивает повесть. Заметим к случаю, что г. Достоевский никогда не пропускает случая после патетической сцены нарисовать какую-нибудь сцену Петербурга, картину туманную, грустную и угрюмую. Как бы удачно ни была написана подобная картина, не следует ей беспрестанно возобновляться при одних и тех же обстоятельствах.

<sup>1</sup> Речь идет о повести Я. П. Буткова «Невский проспект, или Путешествия Нестора Залетаева» (Отечественные записки, 1848, № 2; Бутков Я. П. Повести и рассказы. М., 1967, с. 297—386).

<sup>2</sup> «Слабое сердце» было опубликовано в «Отечественных записках» (1848, № 2). Под общим заглавием «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного)» были напечатаны рассказы «Отставной» и «Честный вор» (Отечественные записки, 1848, № 4).

<sup>3</sup> Речь идет о главных героях повестей «Рене, или Следствия страсти» (1802) Франсуа Рене де Шатобрлана (1768—1848) и «Оберман. Письма, изданные г. Сенанкуром» (1804) Этьенна Ливера Сенанкура (1770—1846).

<sup>4</sup> Ср. суждение П. В. Анненкова: «Литературная самостоятельность, давняя случаю, хотя и возможному, но до крайности частному, как-то

странно поражает вас...» ([Анненков П. В.], Заметки о русской литературе прошлого года. — Современник, 1849, № 1, отд. 3, с. 3). Обзор критических отзывов о «Слабом сердце» см.: 2, 477—488; см. также: Замочкин И. И. Ф. М. Достоевский в русской критике, ч. 1. 1846—1881. Варшава, 1913, с. 1—32.

<sup>5</sup> Ср. последнее высказывание Достоевского о Голядкине: «... мой главный подпольный тип (надеюсь, что мне простят это хвастовство в силу собственного сознания в художественной неудаче типа)» (Литературное наследство, т. 83. М., 1971, с. 310—311; на близость суждений Дружинина и Достоевского мое внимание обратил В. А. Свительский).

<sup>6</sup> Имеется в виду герой «Бедных людей» Макар Девушкин.

И. Д. ЯКУБОВИЧ

## НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТЗЫВ О ПОВЕСТИ «ДЯДЮШКИН СОН»

«Дядюшкин сон» — первое произведение, с которым Достоевский выступил в печати после каторги. Отзывы о повести, конечно, очень интересовали его. Достоевский неоднократно просил брата передавать ему все мнения: «... прошу тебя, исполни мою просьбу, напиши мне все, что услышишь без утайки о моем романе <...> Пойми, что это для меня чрезвычайно интересно» (П., I, 245). В комментариях к «Дядюшкиному сну» отмечается, что повесть по выходе в свет осталась незамеченной критикой, не было и позднейших прижизненных откликов на нее (2, 514).

Летом 1859 г. Достоевский в письмах к старшему брату дважды упоминает газету «Le Nord»: «Я не получил Le Nord...»; «... получил 2 письма. Первое от Милюкова, с статьей в „Le Nord“... Мне очень хочется ему как можно скорее ответить» (П., II, 599, 600).

«Le Nord» издавалась в Брюсселе. Это была «международная» газета. В каждом ее номере имелся раздел новостей из России. Здесь в № 119 от 29 апреля 1859 г. среди разных новостей из Петербурга имелось сообщение о выходе нового произведения Достоевского «Дядюшкин сон»: «C'est avec une grande satisfaction que nous avons trouvé dans „La Parole russe“ («Rousskoë slovo») un roman de Théodore Dostoëvskii „Un rêve de mon oncle“ («Diaduchkin sone»). Il y a juste dix ans déjà que l'auteur des „Pauvres gens“ ne nous avait plus rien donné. Il est toujours, comme par le passé, humoriste plein de verve et de sensibilité. Il paraît même qu'avec l'âge et l'expérience il a appris à considérer la vie sous un aspect moins triste et moins noir. Il y a plus d'air dans ses tableaux et moins de teintes sombres et de tristesse».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «С огромным удовлетворением мы нашли в „Русском слове“ напечатанным роман Федора Достоевского „Дядюшкин сон“. Прошло уже целых десять лет, как автор „Бедных людей“ не выступал перед публикой. Как и раньше, он — юморист, полный воодушевления и чувствительности. Кажется даже, что с годами и испытаниями он научился смотреть на жизнь менее печально и менее мрачно. В его картинах чувствуется более воздуха, меньше темных и печальных черт» (*франц.*).

Дальше автор статьи подробно излагает сюжет повести. Заканчивается отзыв словами: «Les rédacteurs de *la Parole Russe* nous promettent dans une de leur prochaines livraisons un nouveau roman du même auteur».<sup>2</sup> Этот первый и единственный отклик был, по всей вероятности, написан А. П. Милюковым. На это указывает, во-первых, заключающее статью сообщение о выходе его собственной книги: «On dit aussi qu'ils ont fait l'acquisition des impressions de voyage de Milioukoff, qui auront, je crois pour titre „Athènes et Constantinople“»;<sup>3</sup> во-вторых (и главное), Милюков послал номер именно этой газеты Достоевскому.

В. А. ТУНИМАНОВ

### ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ «ВРЕМЕНИ»

Ф. М. и М. М. Достоевские, приступая к изданию «Времени», придавали огромное значение как первому программному объявлению о подписке на новый журнал, так и специальным, организационным вопросам. История создания первого объявления редакции «Времени» и отклики на него литературных кругов освещены в примечаниях к 18-му тому академического собрания сочинений писателя (18, 229—236). Редакция «Времени», несомненно учтя реакцию журналистов на опубликованное осенью 1860 г. большое объявление, поместила в январской книжке журнала еще одно, дополнительное, в котором, в частности, резко было сказано об отличиях почвенничества от славянофильства (см.: 18, 305—306). Кроме того, в 1861 г. редакция «Времени» особо извещала о тех произведениях, которые, очевидно, по ее мнению, должны были привлечь внимание читателей: об историческом очерке М. И. Семевского «Царица Прасковья» (январь), «Записках из Мертвого дома» (апрель), романе в стихах Я. П. Полонского «Свежее преданье» (май). Наконец, в согласии со всеобщей журнальной программой регулярно помещались в газетах объявления о содержании очередных книжек «Времени», в которых за редкими исключениями давался полный перечень публикуемых материалов, чем и объясняется отсутствие такого рода объявлений, по всей видимости принадлежащих М. М. Достоевскому, в корпусе академического собрания сочинений. Не вошли туда и часто перепечатывавшиеся сокращенные варианты программных объявлений и конторские извещения редакции.

Однако некоторые из этих дополнительных и ежемесячных объявлений расширяют наше представление о первых шагах редакции «Времени», а потому заслуживают внимание исследователя.

<sup>2</sup> Редакторы „Русского слова“ обещают нам в следующих книгах новый роман того же автора» (*Франц.*).

<sup>3</sup> Говорят также, что они (редакторы, — *И. Я.*) приобрели книгу впечатлений Милюкова о его путешествии. Они появятся, по-видимому, под заглавием: „Афины и Константинополь“» (*Франц.*).

Уже после того как в петербургских и московских газетах были помещены большие и сокращенные объявления о подписке на новый журнал «Время», редакция сочла необходимым выступить со следующим обращением к читателям:

«Желая усилить и сделать по возможности разнообразнее и богаче свой отдел внутренней корреспонденции, редакция приглашает всех сочувствующих прогрессу и разделяющих воззрения ее журнала, доставлять ей известия о всех фактах, стоящих гласности. Вся такая корреспонденция будет поручена редакцией одному опытному литератору и таким образом ежемесячно могла бы составлять полную картину нашей внутренней жизни, сделанная по живым источникам, а не по газетным известиям, большею частью неполным. Всех желающих редакция просит адресовать свои письма просто в редакцию журнала „Время“ в Петербурге. К этой просьбе редакция присовокупляет, что так как по существующим законам ей должны быть известны имена корреспондентов, то она покорнейше просит их подписывать имена свои и не скрывать их под псевдонимами. Редакция лишним считает прибавлять, что без согласия корреспондента имя его ни в каком случае не явится в печати».<sup>1</sup>

Это обращение к будущим читателям журнала свидетельствует о большом значении, которое редакция придавала разделу «Внутренние новости». Он был поручен А. У. Порецкому и после майской книжки журнала преобразован в хронику «Наши домашние дела. (Современные заметки)». Редакция «Времени» надеялась на активное участие в делах журнала читателей-корреспондентов, стремилась к постоянным и оживленным контактам с ними. Кстати, позднее, в период издания моножурнала «Дневник писателя», Ф. М. Достоевский установит прямые связи с читателями-корреспондентами, сделает их своего рода его участниками, «сотрудниками».

Извещая о выходе январской книжки «Времени», редакция журнала разослала в газеты объявление, в котором было подробно расписано содержание первого номера, а также перепечатана заметка «От редакции». В объявлении обращалось внимание читателей и на наиболее значительные произведения, печатающиеся в февральском номере «Времени». «В февральской книге мы напечатает историческую монографию М. И. Семевского „Царица Прасковья“, не вошедшую по некоторым причинам в первый номер нашего журнала. С февральской же книги, кроме второй части романа Ф. М. Достоевского „Униженные и оскорбленные“, мы начнем печатание другого романа в трех частях одной известной нашей писательницы».<sup>2</sup>

Объявление об историческом очерке М. И. Семевского было напечатано на задней стороне обложки журнала (январь), но,

---

<sup>1</sup> С.-Петербургские ведомости, 1860, 17 декабря, № 275, раздел «Библиографические известия».

<sup>2</sup> Там же, 1861, 8 января, № 6.

очевидно, редакция решила еще раз напомнить об этой публикации, анонсируя февральский номер. «Роман в трех частях одной известной нашей писательницы», о котором в интригующем тоне сообщала редакция, — это «Женская история» Ю. В. Жадовской. Он был напечатан в февральской, мартовской и апрельской книгах журнала.

В апрельской книжке «Времени» были перепечатаны из газеты «Русский мир» «Введение» и четыре главы первой части «Записок из Мертвого дома». В примечании редакция сообщала: «К продолжению этих „Записок“ мы приступим немедленно по окончании романа „Униженные и оскорбленные“». Но еще ранее в объявлении о выходе второй книжки журнала редакция «Времени» извещала читателей: «Считаем не лишним уведомить наших читателей, что редакция приобрела полные „Записки из Мертвого дома“, сочинение Ф. М. Достоевского. Публике уже известно, что введение к этим „Запискам“ (пять глав) печатается в настоящем году в журнале „Русский мир“, для которого автор „Записок“ уступил эти первые пять глав. Теперь все сочинение будет принадлежать нашему журналу. Полные „Записки из Мертвого дома“ состоят из двадцати пяти глав, и все сполна будут напечатаны в нашем журнале в течение настоящего года».<sup>3</sup>

В этом же объявлении редакция обещала: «Мы имеем тоже основательную надежду напечатать во „Времени“ в нынешнем же году несколько произведений известнейших и любимейших наших беллетристов». В 1861 г. журнал напечатал «Женитьбу Бальзамина» А. Н. Островского (сентябрь) и «Крестьянские дети» Н. А. Некрасова (октябрь). Анонимный характер объявления о произведениях «известнейших и любимейших наших беллетристов» объясняется желанием редакции оставаться верной сформулированному в программе принципу: «Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании» (18, 40).

Печатание «Записок из Мертвого дома» было завершено только в 1862 г. Объем книги при этом сократился до двадцати двух глав, включая «Введение».

Возможно, одной из причин, вызвавшей сокращение объема книги, являлись цензурные опасения автора (см. рассказ Достоевского, воспроизведенный А. П. Милюковым в «Литературных встречах и знакомствах»: 4, 233—235). Отчасти были и другие причины, побудившие Достоевского сократить первоначально намечавшийся объем книги. Их объясняет автор-повествователь в 9-й главе («Побег») второй части: «Записывать ли всю эту жизнь, все мои годы в остроге? Не думаю. Если писать по порядку, кряду, все, что случилось и что я видел и испытал в эти годы, можно бы, разумеется, еще написать втрое, вчетверо больше глав, чем до сих пор написано. Но такое описание поневоле станет наконец слишком однообразно» (4, 220). К такому выводу Достоевский мог прийти в апреле 1862 г. Но годом ранее пи-

<sup>3</sup> Там же, 14 февраля, № 36.

сателю, возможно, представлялись другими и объем книги, и срок завершения работы над ней. Таким образом, приведенные выше строки редакционного объявления несомненно должны быть учтены в творческой истории «Записок из Мертвого дома».

И. А. БИТЮГОВА

## ДОСТОЕВСКИЙ И Р. Р. ШТРАНДМАН

Опубликованное 14 января 1874 г. в № 2 «Гражданина» обозрение «Из текущей жизни» состоит из четырех главок. Первую из них, самую большую и представляющую художественно построенное и композиционно завершенное целое — очерк о Родиоше Ш., В. В. Виноградов приписал Достоевскому, высказав попутно предположение о принадлежности писателю и всех трех других заметок.

Очерк о Родиоше — полемический отклик на повесть В. П. Буренина («Маститого беллетриста») «Недавняя история», печатание которой началось в № 353 «С.-Петербургских ведомостей», от 23 декабря 1873 г. В повести Буренина в фельетонно-сатирических тонах рисуется образ опустившегося и слившегося, живущего на содержании дочери Жана Провиантова, который, сочетая фантастическую ложь с действительностью, рассказывает о своей молодости, о 1848 годе, когда «вспыхнул вулкан революции». Он же в это время «был поглощен другим вулканом», «затоплен по горло иною лавой — вулканом любви огнедышащей Цицилии», которая вдохновила его на создание полубезумно-романтической поэмы «Пеликан на развалинах мира». О конце Провиантова говорилось в продолжении повести, появившемся в № 358 «С.-Петербургских ведомостей», от 28 декабря 1873 г.: он в пьяном виде падает из окна третьего этажа и разбивается. Подчеркивая важность для Достоевского проблемы людей «сороковых годов» и приведя свидетельства о его интересе в 70-е годы к Буренину, Виноградов доказывал принадлежность Достоевскому очерка о Родиоше на основе анализа его стиля.<sup>1</sup>

В очерке фигурируют два персонажа: главный герой очерка Родиоша Ш. и «давнишний знакомый» повествователя, «причисляющий себя с некоторой гордостью к „людям сороковых годов“». Как удалось установить, прототипом Ш. является Роман Романович Штрандман (1822—1869?),<sup>2</sup> петрашевец, один из состави-

<sup>1</sup> Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 573—611.

<sup>2</sup> До сих пор дата рождения Штрандмана указывалась приблизительно — 1823 г., уточнена она исследователями биографии Шевченко (1 октября 1822 г.); дата смерти в литературе о петрашевцах не указывалась, но дана под вопросом в академическом собрании сочинений Белинского и в «Шевченковском словнике» (Шевченківський словник, т. II. Київ, 1977).

телей «Карманного словаря иностранных слов...» (ч. I, 1855<sup>3</sup>), привлекавшийся к расследованию, но «не подвергшийся взысканиям», критик и обозреватель, печатавшийся анонимно в конце 40-х годов, начиная с 1847 г., в «Современнике» и «Отечественных записках», а возможно и в других менее значительных изданиях,<sup>3</sup> умерший в нищете и безвестности.

О том, что за Родиошей Ш. скрывается Шtrandман, свидетельствует совпадение «краткой биографии» Родиоши, приведенной в очерке, с реальной биографией его прототипа. Родиоша родился «на берегах Невы», поступил в университет, но «протянул» только два курса и уехал на юг, в Малороссию, в качестве домашнего секретаря и компаньона большого барина. Пробыв там года два, он вернулся в Петербург, занялся писательством, «прильнув к одному из тогдашних молодых литературных кружков». Некоторое время он печатал «небольшие, но живые библиографические статейки», но «случайное распадение кружка сбило его и с этой дороги»; через какое-то время он «скрылся из Петербурга, кажется в Москву», а через несколько лет снова появился. Шtrandман, родившийся в Петербурге, учился в Петербургском университете вместе с В. Н. Майковым, но не окончил его по болезни и уехал вместе с князем В. М. Репниным, помещиком Полтавской губернии, в его имение Яготино как домашний учитель его дочери (здесь в 1843 г. со Шtrandманом познакомился Т. Г. Шевченко<sup>4</sup>). Вернувшись в Петербург, он занял место письмоводителя II отделения Вольного экономического общества, а затем и IV отделения. Шtrandман был известен среди петрашевцев и в кругу Белинского; тогда же он начал публиковаться (в очерке оба кружка слиты в один, а в словах о «случайном» его распадении скрыт намек на процесс петрашевцев). В середине —

---

<sup>3</sup> Установлено, что Шtrandманом написаны ряд разделов «Современных заметок» для «Современника» за 1847 г. — в № 3 раздел I, в № 4 заметка «По поводу статьи „О средствах к уменьшению преступлений“», в № 10 раздел II (см.: Боград В. Журнал «Современник», 1847—1866. Л., 1959, с. 62, 64, 77, 480, 485), а также «Внутренние известия» в № 3 «Отечественных записок» 1847 г. (см.: Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., 1959, с. 383). В некоторых работах, начиная с В. И. Семевского, в списке статей Шtrandмана ошибочно фигурируют «Внутренние известия» из № 3 «Отечественных записок» за 1848 г. Причина путаницы — в описке Ф. В. Булгарина, который в «Записке о цензуре и коммунизме в России», приложенной к его письму Л. В. Дубельту от 6 марта 1848 г., назвал Шtrandмана автором «Внутреннего обозрения» за 1848 г., однако фразу, подтверждающую это, привел из статьи 1847 г. (см.: Голос минувшего, 1913, № 3, с. 228). При этом Булгарин обозначил приведенную им цитату из статьи как «заключительные слова», хотя они стоят почти в самом начале статьи. Из более поздних работ Шtrandмана известна только статья «Лирическая поэзия последователей Пушкина» (об Н. М. Языкове) в № 2 «Московского обозрения» за 1859 г., также анонимная.

<sup>4</sup> В 1847 г. на следствии по делу Кирилло-Мефодиевского братства Шевченко допрашивали о знакомстве его со Шtrandманом (см.: Шевченківський словник, т. II, с. 392—393).

конце 50-х годов он уезжал в Москву и вновь возвратился.<sup>5</sup> Таким образом, биография Р. Р. Штрандмана воспроизведена в очерке довольно точно.

Ряд моментов из биографической канвы жизни Штрандмана мог быть известен Достоевскому. В 1845—1846 гг. Штрандман был посетителем пятниц Петрашевского. Иногда собрания кружка происходили у самого Штрандмана. Многие из петрашевцев знали его и как одного из вкладчиков, способствовавших устройству коллективной библиотеки (совещание о ее организации состоялось на квартире у Штрандмана).<sup>6</sup> Правда, в начале 1847 г., когда у Петрашевского начал бывать Достоевский, Штрандман, В. А. Милютин, В. В. Стасов, М. Е. Салтыков-Щедрин сгруппировались вокруг В. Н. Майкова, образовав особый кружок. Однако Достоевский мог слышать о Штрандмане, и в частности о его связях с петрашевцами, как от прежних участников пятниц, так и от В. Н. Майкова, через которого Достоевский, скорее всего, и познакомился с прототипом очерка и имел возможность узнать об обстоятельствах его жизни. Штрандман был приятелем В. Н. Майкова еще с университетских лет, вместе с ним в 1844—1845 гг. работал над первой частью «Карманного словаря...» (В. Н. Майков был и главным составителем, и редактором). По свидетельству Салтыкова-Щедрина в повести «Брусин», где изображен майковский кружок с прозрачным буквенным обозначением некоторых имен, в 1847 г. члены этого кружка виделись очень часто, бывая друг у друга несколько раз в неделю, и знали все о каждом с «изумительной подробностью».<sup>7</sup> В эту пору со Штрандманом в семье Майковых, по-видимому, встречался и Достоевский. Так, в письме к А. У. Порецкому от января 1847 г. Достоевский писал, что он был у Майковых, когда были получены и «сообщены» ему пришедшие одна за другой две записки от Штрандмана о билетах на итальянскую оперу (бенефис с участием Д. Борси); он извещал своего адресата, что на них всех записали общую ложу (II, I, 105). Упоминание о совместном посещении итальянской оперы тем более интересно, что в очерке аналогичное событие играет важную роль в обрисовке образа

<sup>5</sup> См. о Штрандмане: Дело петрашевцев, т. I. М.—Л., 1937, с. 181; Петрашевцы. Сб. материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. III. М.—Л., 1928, с. 364; Семейский В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. I. М., 1922, с. 64; Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XIII. М., 1959, с. 767; Тургенев и круг «Современника». М.—Л., 1930, с. 15—16; Макашин С. Салтыков-Щедрин. Биография. М., 1949 (по указателю); Воспоминания К. Н. Бестужева-Рюмина... СПб., 1900, с. 56 (здесь, как и в книге В. И. Семейского, есть данные, подтверждающие авторство Штрандмана по отношению к статье об Языкове в «Московском обозрении»).

<sup>6</sup> Салтыкову-Щедрину был послан следственной комиссией письменный запрос о присутствии его на этом совещании, на который он дал отрицательный ответ; однако показания Штрандмана и других участников подтверждали этот факт (см.: Макашин С. Салтыков-Щедрин. Биография, с. 166, 272—275).

<sup>7</sup> См.: Макашин С. Салтыков-Щедрин. Биография, с. 183.



Родноши и подано как драматизированная сценка, несущая на себе след живых впечатлений.

Как сотрудник «Отечественных записок» и «Современника» Штрандман фигурирует в письмах 1847 г. И. И. Панаева к Тургеневу и Белинского к В. П. Боткину.<sup>8</sup> Из-за его статьи в начале 1847 г. возник даже особый спор у А. В. Никитенко, бывшего тогда официальным редактором «Современника», с издателями журнала, которые первоначально единодушно были «сильно» взволнованы исключением статьи Штрандмана, а потом согласились с доводами Никитенко.<sup>9</sup> Достоевский, близкий к кругу Белинского и знавший лиц, с ним связанных, внимательно следил за обоими журналами, а порой был и заранее осведомлен, что в них будет опубликовано.<sup>10</sup> Таким образом, он мог читать «небольшие, но живые» статьи Штрандмана.

Позднее Штрандман был привлечен к участию в журнале «Время» как переводчик. Ему принадлежит напечатанный в № 2 «Времени» за 1861 г. перевод «Процесса Ласенера».<sup>11</sup> В «Записных тетрадах» Достоевского среди заметок 1862 г. перечислены лица, которым необходимо «написать»; в списке этом значится и Штрандман.<sup>12</sup>

Так как критико-публицистическая деятельность Штрандмана не получила специального освещения, остановимся вкратце на ней, оттенив те моменты, которые могли привлечь к ним интерес и сочувствие Достоевского.

Все три написанных Штрандманом раздела «Современных заметок» в мартовской, апрельской и октябрьской книгах «Современника» 1847 г. посвящены вопросам общественно-экономической и культурной жизни России, которые репаются с позиций гуманно мыслящего, прогрессивно настроенного человека. Уделяя большую часть первого обзора теме тяжелого положения бедняков, Штрандман проводит мысль о необходимости не индивидуальной, зачастую сентиментально-показной филантропии, а составления плана разумной организации благотворительных учреждений, положительные зачатки которой он видит в московском и петербургском «человеколюбивых» обществах, приюте для служанок, организованном в Петербурге, воскресных классов в Иванове. Приведа далее сведения о выставке «сельских произведений» в с. Боголюбове, о добыче золота на Урале и в Сибири, о численности и положении мещанского сословия в Москве,

<sup>8</sup> См.: Тургенев и круг «Современника». М.—Л., 1930, с. 12; Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XII, с. 357.

<sup>9</sup> Никитенко А. В. Дневник, т. I. Л., 1955, с. 301—302.

<sup>10</sup> Так, например, в письме М. М. Достоевскому от 17 декабря 1846 г. Достоевский сообщал еще до выхода в свет первого номера некрасовского «Современника» о том, что журнал этот «выступает блистательно» и что у него «уже завязалась перестрелка» с «Отечественными записками».

<sup>11</sup> См.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». М., 1972, с. 112.

<sup>12</sup> Литературное наследство, т. 83. М., 1971, с. 155.

Штраудман возвращается к разговору «об улучшении участи бедных и малых мира сего» и завершает свою часть «заметок» сравнением трех появившихся в печати различных мнений о взаимоотношениях между крестьянами и управляющим. Первым двум, одно из которых, как показано в обзоре, является завуалированным (под видом прославления «добрых качеств» русского народа и призыва заслужить его любовь и уважение) утверждением целесообразности применения решительных мер для пресечения в самом начале будто бы случайных «беспокойств», а другое — открытым выражением патриархально-крепостнических воззрений (одобрительное восприятие типа управляющего, умеющего пользоваться нагайкой и в то же время тепить помещика сказками о Бове и Еруслане), противопоставляется ответ третьего автора, выступающего за исчезновение нагайки и самого понятия о ней вместе с «прелестью» упомянутых «чудных рассказов» как пути от «самопроизвольного» к подлинно «законному управлению», основанному на нравственном начале. Сам Штраудман, устранившись от участия в этом споре, отмечает, что о «подобных вопросах нужно говорить или много, или не говорить ничего», и тем сам подчеркивает серьезность и сложность крестьянского вопроса в России.

Во втором принадлежащем Штраудману разделе апрельских «Современных заметок» дается информация о деятельности различных ученых обществ (Географического, Минералогического, Археолого-нумизматического). Особо выделяя как главную функцию этих учреждений связь между наукой и общественной жизнью, Штраудман сообщает о принятии решений об издании для широкого читателя «Географического ежегодника», систематическом выпуске статистических сведений о России, подготовке словаря географической терминологии, об экспедициях на Урал и в Сибирь и об изучении этнографического типа, быта и языка местных народностей, о состоянии геологических наук в стране и т. п. Из отчета ректора Петербургского университета извлекаются сведения о количестве обучающейся молодежи и трехгодичном путешествии профессора университета Диттеля по Востоку с заездом в прежде недоступный Курдистан. Рецензия «По поводу статьи „О средствах к уменьшению преступлений“» в составе октябрьских «Современных заметок», подписанная «Р. Ш.», направлена против абстрактности подхода к решению вопроса о мерах искоренения правонарушений, в частности лишь провозглашения, а не конкретного рассмотрения роли труда, переселения, надзора, обеспечения, просвещения, этического воспитания в исправлении преступников. Разделяя мысль о необходимости ознакомления с уголовными законами широких слоев населения, убеждение в том, что «право, непознанное народом, для которого оно написано, — мертво», Штраудман, однако, и тут раскрывает противоречащие этим взглядам положения автора статьи, впадающего в отвлеченные красноречивые рассуждения об «образовании сердца» в «согласном» семейном кругу, на который «государство

обязано иметь влияние». Затронутые Штрандманом экономический, крестьянский и юридический вопросы обсуждались и в кругах петрашевцев; волновали они также в ту пору и Достоевского (см.: 18, 142—143, 145, 146, 148, 162, 178).

Статьи Штрандмана могли оставить след в памяти писателя и своей живой и непринужденной формой. Характерен, например, зачин апрельского обзора, открывающегося остроумной насмешкой над распространенными в русском интеллигентном обществе выражениями «утешительный факт» и «отрадное явление», которые порой раздаются по поводу того, что «Нева вскрылась, запретили продавать корюшку, Иван Иванович решительно и печатно объявил, что он на праздниках не будет рассылать карточек. . .» и т. п. В качестве иллюстрации подобных публикаций приводится столь же иронично воспроизведенное, в ложно-патетических тонах, газетное объявление с выражением благодарности «градоначальнику» за насаждение «тенистого сада», а на самом деле жалких деревьев, из «Мертвых душ» Гоголя, о тонком понимании юмора которого Родионом Ш. упоминалось в очерке. Эта реальная деталь психологического портрета Родиоша гармонирует с высокой оценкой гоголевского юмора самим Достоевским, который также часто обращался к нему в собственной публицистике и прозе. Так, например, в главе «По поводу выставки» из «Дневника писателя» за 1873 г. Достоевский пишет о юморе Гоголя как о проявлении одной из характерных черт национального своеобразия великого художника, глубоко ощущаемой соотечественниками и вместе с тем трудной для воспроизведения в переводах на иностранные языки (см.: 21, 68—69).

Во «Внутренних известиях» мартовской книги «Отечественных записок» 1847 г. Штрандман воссоздает картину оживления периодической печати, открытия или обновления ряда газет и журналов, проникновения их в «толпу», возникновения направлений, борьбы, а «следовательно, жизни». В ходе этого критического обзора трижды упоминается Достоевский. Один раз используется ссылка на эпизод с Голядкиным, внезапно вспомнившим свою неловкую остроу и покрасневшим, для сравнения с ним состояния «остряка», изошряющегося в пустых насмешках над самим фактом активизации печатных органов.<sup>13</sup> Характеризуя введенный в «С.-Петербургских ведомостях» отдел «фельетона» как «болтовню порядочного светского человека» и вышучивая отрицательный отзыв в нем о ранних произведениях Достоевского, Штрандман пишет: «. . . из всех явлений литературы 1846 года, не без основания назвав по имени одного г. Достоевского, он (автор отзыва, — И. Б.) в „Двойнике“ и „Прохарчине“ видит только утомительность и скуку и утверждает, что только самые прилежные читатели, и то по обязанности, прочли эти повести до конца. Впрочем, вообще фельетон этот так мило ветрен, что смешно бы было навязывать ему какую-нибудь ответственность в суждениях

<sup>13</sup> Отечественные записки, 1847, № 3, отд. VIII, с. 74

о предметах серьезных». <sup>14</sup> Третье упоминание встречается в абзаце, типичном для Штрадмана по своему образно-разговорному стилю и содержащем в связи с известием о возобновлении «Сына отчества» близкие к Белинскому высказывания о назначении журналистики: «„Сын отчества“!.. Помним, что у нашего отчества был такой „Сын“, но вдруг он исчез, стусебался, как говорит Достоевский, — умер или пропал без вести — не знаем. Теперь опять появился. . . Но это не тот, это другой. Видно, бог дал новорожденного, — здравствуй, малютка! Осмотрели мы „Сына“ тщательно. Оказалось, что ничего! ребенок как ребенок. Из любви к отчеству, конечно, мы желали бы <..> его детям больше даров небесных; но мало ли какие желания может внушить любовь!.. „Сын“ пока занимается сказочками и басенками, — пускай! это хорошо! Басни изопряют ум. Это, разумеется, шалость, но шалость не вредная. . . Вот когда „Сын“ возмужает в интеллектуальном-то отношении, разовьется, когда окружающие предметы перестанут быть для него безразличными, — тогда он будет смотреть на вещи иначе, не увлекаясь ничем — ни предрассудками, ни предубеждениями; тогда он сам откажется от своих басенок, обратится к басням И. А. Крылова и из житейской мудрости увидит ясно, что закон разумной общественной жизни повелевает вникать в ее потребности, в настоящий порядок дел, действовать сообразно этим потребностям, этому порядку». <sup>15</sup> Молодого Достоевского вряд ли могли оставить равнодушным эти неоднократные признания его писательского авторитета, защита его творчества от критических нападков.

От литературы в своих мартовских «Внутренних известиях» Штрадман переходит к перекликающимся неоднократно с вышедшими в том же месяце «Современными заметками» сообщениям об организованных при поместье Буромка Полтавской губернии больнице, детском приюте, начальной, рисовальной и ремесленной школах, о статье в «Московских ведомостях» с предложением учреждения в России высших сельскохозяйственных курсов для дворянского сословия, в эффективности которых высказывается сомнение (ввиду того, что разумное ведение хозяйства «возможно только при рациональных отношениях основных элементов всякого богатства, то есть труда и капитала»), и о спорах по вопросу о функциях управляющего в деревне (с приведением тех же противоречащих друг другу мнений), о выставке сельских произведений в Боголюбове, о лекциях Шевырева о Гомере, Данте и Шекспире, графа де Сюзора о французской литературе (отрицательное суждение), Рюо о французской «легкой поэзии» XVIII в. (проникновение в «историю», «сознание современных идей», «способность передавать дух времени немногими резкими чертами»), о соответствующих потребности «внести интересы науки в массу» собраниях Русского Географического обще-

<sup>14</sup> Там же, с. 75.

<sup>15</sup> Там же, с. 82.

ства по поводу издания «Географического ежегодника» и Минералогического общества с докладом С. Куторги о путешествии по С.-Петербургской губернии, об открытии в Новороссийске училище для детей горцев, о действиях «Общества посещения бедных», способного проникнуть более глубоко, чем частные лица, «к самому корню зол». Интересно отметить, что мартовские «известия» Штрандмана находят соответствие в фельетоне «Петербургской летописи» Достоевского от 1 июня 1847 г., в обобщенной оценке тех же событий общественной и литературной жизни (появление новых имен, журналов и изданий, в том числе и охарактеризованных Штрандманом иллюстраций Е. Бернардского и А. Агина к «Мертвым душам» и сборника карикатур М. Неваховича «Ералаш», отношение к деятельности благотворительных и ученых обществ; см.: 18, 28).

Сообщение в обзоре Штрандмана о смерти Н. М. Языкова, современника и товарища Пушкина, «звездочки из потухшего созвездия», с кратким упоминанием о достоинствах и недостатках его поэзии, получит развитие в последней известной статье Штрандмана 1859 г. «Лирическая поэзия последователей Пушкина». В этой статье Штрандман рассматривает поэзию Языкова в тесной связи с основными периодами его биографии и духовной эволюции, видя в том и другом характерное отражение состояния русского общества в послепушкинскую эпоху. Основные критерии его совпадают с эстетическими принципами Белинского, отзыв которого о ранней «музе» Языкова, прикидывающейся «вакханкою», приводится в статье. Сравнивая его юношескую «дерптскую» любовную лирику со стихами Кольцова, Лермонтова и Некрасова, Штрандман оттеняет отвлеченность, холодность эротизма Языкова, его нравственный индифферентизм. Наивысший взлет его поэзии критик видит в стихах о природе, написанных в Тригорском, в общении с Пушкиным. Выделяя среди стихотворений последующих периодов отдельные грациозные элегии, напрашивающиеся на музыку, или такие удачи, как «Утро», «Послание к Денису Давыдову», «Послание к К. К. Павловой» (первое, из Италии), «Морское купание», а также менее художественные по форме, но замечательные по идее, по высоколирическому полету мысли стихотворения «Молитва», «Гений», «К музе», Штрандман говорит об упадке таланта Языкова, о преобладании в его поэзии поздних лет риторизма, славянофильских тенденций. Достоевскому, очевидно, эта статья осталась неизвестной, так как он в пору ее опубликования в «Московском обозрении» находился еще в Семипалатинске, но он мог знать другие написанные Штрандманом в конце 40-х годов анонимные «библиографические» заметки и рецензии, исходящие из тех же эстетических установок (об интенсивных «библиографических» занятиях Штрандмана в молодости сохранилось — кроме упоминания в очерке о Родиоше — и его собственное эпистолярное свидетельство).

Второй персонаж очерка о Родиоше — ощущающий себя человеком 40-х годов, «давнишний знакомый» автора, навестивший

последнего на рождественских праздниках. Рассказывая о Родиоше и напомнив о своем обычае хранить все «приятельские письма и даже записочки», он говорит, что сберег и несколько посланий своего умершего сверстника, и, достав из кармана два из них, читает их вслух. Сохранившиеся в архиве Пушкинского Дома письма Р. Р. Штрандмана к А. Н. Майкову (ИРЛИ, № 16981) проясняют, что «знакомый» автора очерка — А. Н. Майков. Рассказчик сообщает, что корреспонденция его с Родиошей длилась «года четыре». И действительно, письма Р. Р. Штрандмана к А. Н. Майкову охватывают 1865—самое начало 1869 г. (их шесть). Как и характеризуются они в очерке, писаны они «все на одну и ту же болезненно-тяжелую тему»: крайняя нужда, голод, холод, безуспешные большей частью поиски работы и еще более безнадежные попытки напечататься, скитания, болезнь, просьбы о минимальной помощи. Сопоставление писем с очерком свидетельствует о том, что автор его не только на слух был знаком с этими письмами, но и внимательно в них вчитался, воспроизведя по образцу их два типовых письма Родиоши, передавая характерные особенности писем Штрандмана — сообщения о невзгодах, общие заключения о бедности в сочетании с крылатыми историко-литературными образами или французскими изречениями, свидетельствующими о его культуре и душевном изяществе. Автор очерка соответствующим образом оформляет и просьбу Родиоши: «Le pain est cher et la misère est grande,<sup>16</sup> — знаю, но такой недостаток в хлебе, такую бедность, как у меня, — вряд ли встретите. В полном уповании, что на эти, с страшной душевной болью написанные строки не воспоследует энергичного ответа: „Бог пошлет“, остаюсь и проч.» (ср., например, окончание записки Штрандмана к А. Н. Майкову от 11 января 1867 г.: «Ко всему этому прими во внимание совершенную голодуху; как ни живуч я, а теперь меня ветер качает. Умоляю тебя, многодостойный Аполлон Николаевич, облегчи мое всячески мучительное положение посильным подаянием. Нестерпимо больно!»).

Наибольший интерес для нас представляет очень длинное (на 6 листах) шестое письмо Штрандмана А. Н. Майкову, от 9 февраля 1869 г., написанное, вероятно, незадолго до смерти слабевшим почерком, с многочисленными перечеркиваниями и вставками.<sup>17</sup> В нем рассказывается о событиях более чем полугодовой давности: о временной работе у А. П. Милюкова, о пребывании в больнице Марии Магдалины, бесчеловечный главный врач которой распорядился о переводе его за город, а фактически о выписке его из больницы, раздетым на мороз, о потере по дороге из больницы аттестата чиновника, как бы представляющего вид на жительство, и поселении в какой-то гладильной в доме раскольника

<sup>16</sup> Хлеб дорог, а нищета велика (*франц.*).

<sup>17</sup> В письме перечеркнут ряд горьких подробностей: видимо, Штрандман собирался его переписать, но отослал письмо А. Н. Майкову в таком виде, не в силах этого сделать (он сообщал, что пишет его 8 часов).

Протопопова, который его обирал, воровал еду, заменял потребные ему на день « $\frac{1}{4}$  фунта» свежего хлеба черствой «глиною», о переговорах по поводу устройства его в качестве переписчика бумаг (в том числе и иностранных) в Обществе страхования от огня, о новой болезни и водворении в Обуховскую больницу со столь же жестокими правами и о предошущении смерти.

По мотивам этого письма создано второе письмо Родиоши, отправленное из дома, населенного такими же бедняками, откуда он боится выйти без верхней одежды, чтобы тапиться в одну, другую, третью больницу, с упоминанием даже « $\frac{1}{3}$  фунта хлеба», на который «издержана последняя копейка»; с письмом этим перекликаются концовка рассказа о его судьбе и ряд сквозных образов, проходящих через весь очерк. Так, признание Родиоши: «Я, видите ли, живу в столярной под верстаком... т. е. мне там позволено почевать», — восходит к тому месту письма Штрандмана, где он сравнивает комнату в доме раскольника, в которой ему отведено место и в которой по 7 раз в день накаливают утюги, с «кузницей», и сообщает, что он спит в ней на полу (при очень низкой в остальное время дня и ночи температуре). Попытка устройства в Обществе страхования от огня, когда его «приодели» и какой-то старичок-пенсционер Общества привел его с рекомендацией, а он, договорившись уже о работе, на обратном пути в большом «летнем сапожке», который «вихлял» на ноге, «сковырнулся» на мраморной лестнице, получает вариационное развитие в эпизоде, где Родиошу, попавшего в полицию без рубашки, лишь прикрытым пальто, участковый рекомендует на работу к книгопродавцу-издателю. Полученная от падения болезнь — контузия реберного костяка (в письме Родиоши — «опухоль»), в соединении со старой болезнью и замерзанием явившаяся причиной повторного попадания в больницу, указывается в обобщенном виде и в очерке о Родиоше: «из-под верстака переселился он, одержимый каким-то воспалением, в знакомую уже ему больницу, а из нее — прямо на кладбище...».<sup>18</sup>

Таким образом, пришедший к автору очерка его «давнишний знакомый» А. Н. Майков явно предоставил ему письма Штрандмана.

Гротескно-фантастическому буренинскому развенчанию человека 40-х годов в очерке противостоит иное решение вопроса о типах людей того времени, более близкое, как отметил уже В. В. Виноградов, Достоевскому.

Наиболее сложен вопрос об атрибуции очерка. Автором его могли быть и Ф. М. Достоевский, и А. У. Порецкий — оба сотрудники «Гражданина» в 1873—1874 гг., друзья молодости А. Н. Майкова и Р. Р. Штрандмана. Оставляя этот сложный вопрос в данной

---

<sup>18</sup> В архиве ИРЛИ сохранились также письмо Р. Р. Штрандмана к Л. Н. Майкову от 1 августа 1868 г. (ИРЛИ, № 8892) и письмо его, вероятно той же поры, к Н. А. Некрасову (см.: Литературное наследство, т. 51—52. М., 1949, с. 549).

заметке открытым (доводы В. В. Виноградова в пользу авторства Достоевского могут быть дополнены рядом других аргументов, которые будут изложены нами в комментарии к очерку о Родиоше в отделе «Dubia» Полного собрания сочинений Достоевского, однако, по мнению редакции, они не решают вопроса до конца), мы преследовали в ней иную задачу: привлечь внимание к фигуре одного из забытых русских литераторов, сотрудника «Современника», «Отечественных записок» и «Времени», образ которого продолжал жить в памяти его друзей — Достоевского, Майкова и Порецкого — в 1870-х годах.

Н. П. ПРОЖОГИН

### ДОСТОЕВСКИЙ ВО ФЛОРЕНЦИИ В 1868—1869 гг.

В четвертом томе издания «Достоевский. Материалы и исследования» опубликован автограф Достоевского, свидетельствующий о том, что, находясь во Флоренции в 1862 г., писатель посещал «Научно-литературный кабинет Дж. П. Вьёсе».<sup>1</sup>

Однако в этой существующей и ныне библиотеке, с читальным залом при ней, сохранился не один, опубликованный в названном томе, а три автографа Достоевского. Я обнаружил их несколько лет назад в архиве «Кабинета Вьёсе», как обычно сокращенно называют в Италии эту библиотеку.

Но вначале остановимся на том, что представляет собой сам «Кабинет Вьёсе», сыгравший заметную роль в новой истории Италии. Вернемся и к первому из трех автографов Достоевского — это позволит уточнить и дополнить уже опубликованные о нем сведения.

Основатель флорентийской библиотеки Джованни Пьетро Вьёсе (Онелла, ныне — Империа, 29 сентября 1779 — Флоренция, 28 апреля 1863) родился в семье эмигранта из Женевы. Однако сам Дж. П. Вьёсе считал себя итальянцем. В первые годы своей самостоятельной жизни он занимался торговлей, по коммерческим делам посетил многие страны, в том числе и Россию, о которой оставил еще не опубликованные записки.<sup>2</sup> Не получив систематического образования, будучи самоучкой, он проявлял живой интерес как к общественным и естественным наукам, так и к литературе, и уже в молодости собрал библиотеку, состоявшую из книг на различных европейских языках.

В 1819 г. Дж. П. Вьёсе обосновывается во Флоренции — в то время столице великого герцогства Тосканского. Очевидно, его привлекла туда относительная политическая терпимость режима этого небольшого итальянского государства, что в период рестав-

<sup>1</sup> См.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 4. Л., 1980, с. 174—175.

<sup>2</sup> См.: Viusseux e il «Viusseux». Catalogo delle Mostre. Firenze, 1979, p. 14.



рации, последовавшей за крушением наполеоновской империи, и Священного союза было в Европе довольно редким явлением. Уже в следующем году он открывает там «Научно-литературный кабинет», носивший с самого начала его имя, а впоследствии приступает и к изданию журналов, из которых наиболее важную роль в развитии общественно-политической мысли в Италии сыграли «Антолоджиа» («Антология») и «Архивιο сторико» («Исторический архив»). Позже Антонио Грамши отмечал, что Вьёсс сумел создать вокруг себя «центр интеллектуальной пропаганды по организации и „конденсации“ руководящей интеллектуальной группы буржуазии Рисорджименто».<sup>3</sup>

Вьёсс придал своей культурно-просветительской деятельности совершенно необычную для Италии того времени форму. Будучи представителем нового класса буржуазии, чуждый духу придворного патернализма, не имевший ничего общего с меценатством в традиционном смысле этого понятия, он и во Флоренции, сохранявшей еще многие черты феодализма, вел свои дела на знакомой и близкой ему по духу коммерческой основе. Так, Вьёсс выплачивал гонорары авторам издававшихся им журналов, но и взимал плату за пользование библиотекой.<sup>4</sup> Понимая, какую выгоду может принести привлечение к числу читателей последней многочисленных иностранцев, приезжавших, а часто и подолгу живших во Флоренции, он стал выписывать из разных стран, включая Россию, книги и периодические издания (до пятидесяти названий газет и журналов).

Возможность получить в «Кабинете Вьёсс» русские газеты и должна была привлечь Достоевского, который во время своих заграничных путешествий часто жаловался на отсутствие «газетных известий с родины».<sup>5</sup>

В настоящее время «Кабинет Вьёсс» размещается на нижнем этаже знаменитого дворца эпохи Возрождения — палатцо Строцци. Сохраняя первоначальную функцию, он превратился теперь и в своего рода культурно-исторический памятник — библиотеку с подбором литературы, характерной для периода борьбы за объединение Италии и становления единого итальянского государства. На его стеллажах имеются, в частности, полные комплекты ряда русских журналов второй половины XIX — начала XX в.

Большой интерес представляет составленная сотрудниками «Кабинета Вьёсс» картотека имен наиболее известных лиц, как итальянских, так и иностранных, пользовавшихся услугами библиотеки за более чем столетнюю историю ее существования и оставивших записи в регистрах. С этой картотекой меня познакомил служащий библиотеки Маурицио Босси, любезно

<sup>3</sup> Gramsci Antonio. Quaderni del carcere, vol. II. Torino, 1975, p. 812.

<sup>4</sup> См.: Spadolini G. Vieusseux a Firenze — impresario di cultura (a 200 anni della nascita). — La Stampa, 1979, 18 novembre.

<sup>5</sup> См.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981, с. 193.

приславший затем фотокопии записей, сделанных рукой Достоевского. Они проливают дополнительный свет на жизнь писателя во Флоренции как в 1862 г., так и во время второго, более длительного его пребывания в этом городе — в 1868—1869 гг.

Регистры «Кабинета Вьёсё» — это большого формата книги типа канцелярских. В верхней части каждой страницы типографским способом по-итальянски напечатано: «Мы, нижеподписавшиеся, вступаем в члены Научно-литературного кабинета Дж. П. Вьёсё». Отметим, что сама эта формула указывает на необходимость собственноручной подписи читателей. Рядом с типографским текстом, как правило, проставлены от руки год заполнения и порядковый номер страницы, которая ниже делится на три вертикальные графы. В первую вписан месяц, во вторую — число. Третья графа отведена для подписей читателей и пометок, именно здесь указываются их адреса и оплаченное время пользования библиотекой.

Подпись Достоевского впервые появляется в регистре № 5 на странице 273. Она относится к 16 (4) августа 1862 г. и, как уже говорилось, опубликована (по фотокопии А. Н. Гедройца). В качестве дополнения к сопровождающей эту публикацию краткой заметке добавлю, что гостиница-пансион «Швейцария», где останавливались в 1862 г. Достоевский и Страхов, была расположена на углу улиц Торнабуони (одной из центральных во Флоренции) и Винья Нуова. Номер же комнаты (№ 20) свидетельствует, что Достоевский жил на втором (по принятому у нас счету — на третьем) этаже.

Во время Достоевского «Кабинет Вьёсё» помещался в палаццо Буондельмонте на площади Санта Тринита, которую пересекает улица Торнабуони, на расстоянии одного квартала от гостиницы-пансиона «Швейцария», в нескольких минутах ходьбы от него.

В апреле 1867 г. Ф. М. Достоевский со второй своей женой Анной Григорьевной выехали из Петербурга за границу, где пробыли в общей сложности более четырех лет.

Во Флоренцию, ставшую с 1865 г. временной столицей Италии, Достоевские приехали из Милана в конце ноября 1868 г., очевидно в самых последних числах месяца. Анна Григорьевна даты не уточняет. Но последнее из дошедших до нас писем, отправленных Федором Михайловичем из Милана, датировано 9 ноября (28 октября ст. ст.), а первое из Флоренции — 23 (11) декабря (П., II, 146, 148).

«Во Флоренции, к нашей большой радости, нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами, и мой муж ежедневно заходил туда почитать после обеда, — вспоминала А. Г. Достоевская. — Из книг же взял себе на дом и читал всю зиму сочинения Вольтера и Дидро на французском языке, которым он свободно владел».<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Там же, с. 194.

Несомненно, А. Г. Достоевская имеет в виду уже знакомый нам «Кабинет Вьёсё». В его регистре № 7 на странице 111 под датой 17 декабря (5 декабря ст. ст.) 1868 г. рукою Достоевского по-французски написано: «Г-н Теодор Достоевский, улица Гвиччардини № 8, на втором этаже» («M-r Theodore Dostoiewsky, via Guicchiardini (так!) № 8, au second»). Здесь же библиотекарем, также по-французски, отмечено: «Оплачен 1 месяц пользования библиотекой» («1 mois à la Bibliothèque payé»).

В своей фамилии букву «в» Достоевский на этот раз обозначает латинским «w», а не «v» (как в 1862 г.), что должно быть связано с иной, чем прежде, латинской транскрипцией фамилии в его паспорте. Слово «улица» написано по-итальянски. В названии же ее допущена ошибка. Улица носит имя знаменитого флорентийского историка XVI в. Достоевский вставил в это имя лишнее «h», написав «Guicchiardini» (читается «Гвиккардини») вместо «Guicciardini».

Сопоставляя время приезда во Флоренцию с датой записи, можно заключить, что Достоевским понадобилось около трех недель, чтобы подыскать себе скромную квартиру (опять-таки на третьем, по принятому в России счету, этаже). Иначе трудно понять, почему писателю, так равный к русским газетам, не записался в библиотеку раньше.

Улица Гвиччардини находится на левом берегу Арно и ведет от понте Веккио (Старого моста) к дворцу Питти. Дом, в котором предположительно жили Достоевские, известен как «дом Фабриани».<sup>7</sup> Замечено, что Достоевский предпочитал селиться в угловых зданиях. «Дом Фабриани», стоящий почти напротив Палаццо Питти (как и гостиница-пансион «Швейцария»), не представляет в этом отношении исключения. Здание выходит боковой стороной на узенькую, как щель, улочку, через которую переброшена арка. На лицевом фасаде этого старого, внешне ничем не примечательного строения с неперменными во Флоренции зелеными ставнями-жалюзи теперь висит мраморная мемориальная доска с надписью: «Здесь на рубеже 1868 и 1869 годов Федор Михайлович Достоевский завершил роман „Идиот“».<sup>8</sup>

Закончив работу над «Идиотом», Достоевский возобновил посещения «Кабинета Вьёсё». Об этом свидетельствует третья, также неизвестная у нас запись, сделанная им в том же регистре № 7 на странице 120 и датированная 2 февраля (21 января ст. ст.) 1869 г. На этот раз она ограничивается лишь подписью во

---

<sup>7</sup> См.: Dentler Cl.-L. Famous Foreigners in Florence. 1400—1900. Firenze, 1964, p. 68.

<sup>8</sup> Заметим, что употребленный в этой надписи итальянский оборот «in questi pressi» менее категоричен, чем русское «здесь», и может быть переведен как «где-то здесь». Возможно, что при установлении мемориальной доски дом, в котором жили Достоевские, не был точно определен. Теперь, когда в регистре «Кабинета Вьёсё» обнаружена запись Достоевского с указанием адреса, следовало бы пропереть, какой дом по ул. Гвиччардини носил в то время № 8.

французской транскрипции: «Th. Dostoiewsky». Рядом библиотечный служащий приписал по-итальянски: «Адрес тот же, что прежде <...> месяцев» оплачено 1<sup>o</sup> «?»». Многоточием в угловых скобках я отмечаю здесь непередаваемый в русском переводе артикль множественного числа и следующий за ним неразборчивый знак, судя по всему — цифру, обозначающую число оплаченных месяцев пользования библиотекой. Все же, по-видимому, стесненный в средствах Достоевский внес плату лишь за один месяц; на это, несмотря на артикль множественного числа, указывает другой, приписанный ниже знак, который может быть прочтен как цифра «1» с добавленной к ней буквой «o» — окончанием итальянского «uno», т. е. опять-таки «один».

Попутно отмечу, что в числе русских книг, которыми располагает «Кабинет Вьёсё», имеются и произведения Достоевского. Это два тома романа «Преступление и наказание» в петербургском издании 1867 г., тот же роман в берлинском издании И. П. Ладыжникова 1922 г. и «Братья Карамазовы» в петербургском издании 1881 г. Учитывая время пребывания Достоевского во Флоренции, можно было предположить, что на первой из этих книг имеется автограф писателя. Самих книг я, однако, в «Кабинете-Вьёсё» не застал: пострадавшие от обрушившегося на Флоренцию в ноябре 1966 г. наводнения, они все еще, даже более десяти лет спустя, находились в реставрационной мастерской. Но М. Босси по моей просьбе звонил туда по телефону. Ответ был получен отрицательный — никаких надписей на книгах Достоевского нет.<sup>9</sup>

В. Д. РАК

## СПОР ДОСТОЕВСКОГО С Н. К. МИХАЙЛОВСКИМ В 1875 г.

Изучение творческой истории «Подростка» привело в свое время А. С. Долинина к выводу о том, что в романе был «как бы услышан»<sup>1</sup> призыв, которым заканчивалась рецензия Н. К. Михайловского на роман «Бесы», появившаяся в февральской книжке «Отечественных записок» за 1873 г.: «Пока вы занимаетесь безумными и бесноватыми citoуен'ами и народной правдой, на эту самую народную правду налетают, как коршуны, citoуен'ы благоразумные, не беснующиеся, мирные и смирные, и рвут ее с алчностью хищной птицы, но с аллюрами благодетелей человечества. Как! Россия, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, — и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира!

<sup>9</sup> Подробнее о пребывании Достоевского во Флоренции см.: Прожогин Н. Достоевский во Флоренции. — Иностранная литература, 1981, № 8, с. 237—244.

<sup>1</sup> Долинин А. С. В творческой лаборатории Достоевского. (История создания романа «Подросток»). Л., 1947, с. 156.

Вы сосредоточиваете свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! В вашем романе нет беса национального богатства, беса самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла <...> Вы не за тех бесов ухватились <...> Рисуйте действительно нераскаянных грешников, рисуйте фанатиков собственной персоны, фанатиков мысли для мысли, свободы для свободы, богатства для богатства. Это ведь тоже *citoyens du monde civilisé*, но *citoyen*'ы, отрицающие свой долг народу или недодумавшиеся до него <...> Значит они-то именно и составляют искомую вами противоположность Власам и дерзостным мужикам, практикующим искупительное страдание и только в нем находящим примирение со своею измученною совестью».<sup>2</sup> Все содержание «Подростка», где «тема денег, „богатства для богатства“ играет <...> исключительную роль», свидетельствует, по мнению А. С. Долинина, о том, что Достоевский со вниманием отнесся к совету критика и «разработал тему, указанную ему Михайловским».<sup>3</sup> Высказав первоначально свою мысль в виде осторожного предположения («как бы»), ученый впоследствии облек ее в категорическую формулировку бесспорного факта, хотя аргументацию ничем не усилил: «В „Подростке“ призыв этот явно услышан».<sup>4</sup>

Серьезные возражения против утвердившейся в литературоведении на основе этого вывода концепции, согласно которой «Подросток» создавался под влиянием Михайловского, выдвинул недавно Е. И. Семенов. Достоевский, рассуждает он, уловил и воплотил в персонажах «Бесов» такие глубинные явления и процессы буржуазного общества, которые во всей полноте и сущности обнаружались только в XX в. «Михайловский по ряду исторических и гносеологических причин не имел возможности оценить *антибуржуазный* пафос <...>, проявившийся в „Бесах“, несмотря на реакционные *политические* тенденции писателя». В своей рецензии, продолжает Семенов, он фиксировал внимание Достоевского «на тех приметах капитализации России, которые были ясны и рядовому непредвзятому наблюдателю», а Достоевский, более прозорливый, в это время искал «в настоящем *не проявившиеся* еще актуально черты *будущего* общественного развития». Другими словами, Михайловский не мог ничего подсказать Достоевскому, чего тот не знал бы и не видел бы, так как понимал действительность глубже и пронизательнее критика-народника. Последний, заключает Е. И. Семенов, «мог предоставить своими статьями немаловажный психологический и идеологический материал писателю, который пристально вглядывался в своих молодых современников, пытаясь различить смутные черты создаю-

<sup>2</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 1. СПб., 1896, с. 871—872.

<sup>3</sup> Долинин А. С. В творческой лаборатории Достоевского, с. 156—157.

<sup>4</sup> Долинин А. С. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.—Л., 1963, с. 13.

щей действительности, но никак не *инспирировать* художественную идею „Подростка“». <sup>5</sup>

Судя по откликам на это полемическое выступление, точка зрения А. С. Долинина сохранила многих своих приверженцев. С нею согласен автор новейшего монографического исследования литературно-критического наследия Михайловского; из статьи Е. И. Семенова он привел лишь первую, утвердительную часть процитированного выше заключения, игнорировав и тем самым оспорив вторую, отрицательную, которая собственно является основной, выражая пафос статьи. <sup>6</sup> По-прежнему «своеобразный ответ Достоевского на призы Михайловского» видит в «Подростке» В. Б. Смирнов, <sup>7</sup> полагающий, что «упреки» Е. И. Семенова «в адрес А. С. Долинина основаны явно на недоразумении и лишены доказательности». <sup>8</sup>

Проблема была поднята и обсуждается до сих пор на уровне сопоставления лишь самых общих формулировок идейно-художественных концепций автора романа и публициста революционно-демократического журнала. Вместе с тем остались незамеченными важные детали, проливающие свет на то, как воспринимал писатель в 1875 г. высказанное ему пожелание и какой ответ дал он своему оппоненту.

С этой точки зрения представляют большой интерес заметки на шестнадцатой странице третьей <sup>9</sup> черновой тетради (16, 168—169). Исследованиями установлено, что две заметки подсказаны статьей Михайловского «Десница и шуйца Льва Толстого» (май 1875), <sup>10</sup> а дополнительное сопоставление обнаруживает связь с нею и ряда других записей. Таким образом, на странице находится довольно пространный черновой набросок, в котором движение мысли Достоевского следует за ходом рассуждений Михайловского; среди прочих затрагивается и вопрос о «бесе национального богатства».

Отправной точкой становится приведенная Михайловским цитата из статьи Толстого «Яснополянская школа за ноябрь и де-

<sup>5</sup> Семенов Е. И. Был ли Михайловский идейным вдохновителем автора «Подростка»? — Филологические науки, 1976, № 1, с. 98. Статья включена в первую главу книги того же автора «Роман Достоевского „Подросток“ (проблематика и жанр)» (Л., 1979, с. 4.—15), где конечный вывод сформулирован несколько иначе (см. ниже).

<sup>6</sup> Слинко А. А. Из истории русской демократической критики. Литературно-критическое наследие Н. К. Михайловского. Воронеж, 1977, с. 70.

<sup>7</sup> Смирнов В. Б. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток» в журнальном контексте «Отечественных записок». — В кн.: Русская журналистика в литературном процессе второй половины XIX века. Пермь, 1977, с. 12.

<sup>8</sup> Там же, с. 27—28, примеч. 26.

<sup>9</sup> Согласно нумерации, присвоенной в Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского (17, 393). В дальнейшем эти заметки цитируются без указания тома и страниц.

<sup>10</sup> См.: Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. — В кн.: Литературное наследство, т. 83. М., 1971, с. 65—66; Кийко Е. И. Достоевский и Ренан. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 4. Л., 1980, с. 114—115.

кабрь месяцы» (1862): «Но если удовлетворять одному национальному чувству, что же останется из всей истории? 612, 812 года и все».<sup>11</sup> Достоевский категорически не согласен и, записав этот ошибочный, в его представлении, тезис своими словами, близкими, впрочем, к оригинальному тексту, начинает спорить: «Глубоко неверно и ужасно грубо...».

Статья преследовала цель опровергнуть бытовавшее мнение о Толстом как о «квасном патриоте» и славянофиле, который «падает ниц перед всем, что отзывается пресловутой и едва ли кому-нибудь понятной „почвой“», и «верит в какое-то мистическое величие России».<sup>12</sup> Михайловский устанавливает расхождение взглядов писателя со славянофильской доктриной по двум важным пунктам. Во-первых, толстовскому пониманию исторического процесса в корне чуждо представление «о великой роли, предназначенной провидением славянскому миру, совершенно посягнуть мир романо-германский».<sup>13</sup> Во-вторых, в то время как славянофилы подразумевают под «народом» некую «стихийную совокупность людей, говорящих русским языком и населяющих Россию», Толстой «не признает этого единства русских людей или, по крайней мере, усматривает в нем такие два крупные обособления, что считает возможным приравнять их отношения к отношениям враждебных национальностей».<sup>14</sup> Славянофилы убеждены, что «рознь идеалов и интересов высших и низших слоев совокупности русских людей» была порождена петровскими реформами. По Толстому, подчеркивает Михайловский, «интересы „общества“ и народа <...> всегда противоположны», и, хотя писатель не высказывался в этом смысле относительно допетровской Руси, «из общего характера <...> его воззрений» следует, что он должен признавать раздельное существование этих групп и в тот период, а потому «роста и развития московской <...> Руси <...> никогда не изобразит розовыми, угодными для славянофилов красками».<sup>15</sup> В качестве доказательства этой интерпретации взглядов Толстого и приведена цитата из статьи «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы». Сочувственно комментируя суждение писателя, сложившееся из наблюдений за реакцией учеников на рассказы об Отечественной войне, Михайловский усматривает в нем понимание того обстоятельства, что «1612, 1812 года и отчасти времена монгольского ига суть единственные моменты национальной русской истории, в которые не было никакой розни между целями и интересами „общества“ и народа»; в другие эпохи рознь была отчетливо выраженной, и потому свершавшиеся тогда события, какими бы блестящими и важными ни выглядели

<sup>11</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 8. М., 1936, с. 96. Михайловский опустил в цитате слово «одному» (Михайловский Н. К. Соч., т. 3. СПб., 1897, с. 449).

<sup>12</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 3, с. 450.

<sup>13</sup> Там же, с. 447.

<sup>14</sup> Там же, с. 448.

<sup>15</sup> Там же, с. 449—450.

они в глазах «общества», не будят в народе «никаких необыденных чувств», поскольку «не имеют с ним жизненной связи».<sup>16</sup>

Взглядам Толстого, как их изложил Михайловский, автор «Подростка» в черновой заметке противопоставляет свое убеждение в том, что патриотическую значимость приобретает любой факт национальной истории, «если осмыслить его в русском духе», т. е. показать, что «мы всегда и везде, в 1000 лет, в доблестях наших и в падении нашем, в славе нашей и в унижении нашем, были и остались русскими, своеобразными, сами по себе». В нюансы интерпретации Достоевский не вникает: частности не имеют, очевидно, для него интереса, коль скоро расхождение точек зрения начинается с самого коренного вопроса — отношения к России. Толстой и Михайловский сливаются в данном случае для него в одно лицо — «западника», выразителя пренебрежительного, оскорбительного мнения о русском народе, не верящего в него и не понимающего его мирозерцания, его идеалов. На странице появляется вторая заметка, навеянная «Десницей и шуйцей Льва Толстого»: «Не мысль славянофильская о том, что Россия предназначена к великой роли в будущем относительно западной цивилизации, противна западникам, а идея, одна мечта о том, что Россия тоже может подняться, быть чем-нибудь хорошим, благообразным; Россию они ненавидят — вот что прежде всего». Заключение звучит более резко, чем даже крайне недоброжелательный отзыв о западниках сороковых годов в очерке «Старые люди»: «К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего» (21,9). Это заключение в одной тональности с теми сильными выражениями, которые употреблены в письме к А. Н. Майкову от 28 (16) августа 1867 г., где рассказывается о ссоре с Тургеневым: «...все, что есть в России чуть-чуть самобытного, им ненавистно, так что они его отрицают и тотчас же с наслаждением обращают в карикатуру...» (П., II, 31; ср. «Бесы» и подготовительные материалы к ним: 10, 33—34; 11, 75, 111).

Категорический вывод Достоевского относительно западников, сформулированный в разбираемых заметках к «Подростку», отразил, очевидно, и мысли, которые писатель обдумывал к намечавшейся в 1873 г., но не вышедшей на страницы печати и оставшейся в разрозненных черновых записях полемики с Михайловским вокруг вопроса о различии интересов народа и нации. В январской книжке «Отечественных записок» за тот год Михайловский писал: «Прежде всего надобно определить взаимные отношения двух наиболее ясных понятий о народе: народ как нация и народ как совокупность трудящихся классов общества. С первого взгляда кажется, что эти понятия совпадают и что если различие их важно, то только в том отношении, что понятие нации, совмещающей в себе все классы общества, шире понятия народа,

<sup>16</sup> Там же, с. 449.



который есть только сумма известных классов. Но это далеко не верно. Что понятия нации и народа в своем практическом выражении иногда действительно совпадают, т. е. что национальное дело бывает иногда тождественно с народным делом, — это так. Но это бывает только иногда. Что же касается до сравнительной широты понятия нации, то это просто оптический обман <...> В обществе, имеющем пирамидальное устройство, всевозможные улучшения, если они направлены не непосредственно ко благу трудящихся классов, а ко благу целого, ведут исключительно к усилению верхних слоев пирамиды».<sup>17</sup>

В изложении и аргументации этого «одного из самых важных и общих социологических законов»<sup>18</sup> Достоевский увидел теоретическое обоснование «западнических» стремлений лишить русский народ его самобытности и превратить его в бледную копию европейского. В черновой тетради он отметил: «Мы приняли все дары Европы и приняли с яростию тем с большею, что сердцевину-то мы никак не могли принять, т. е. непосредственную живую жизнь Европы. И когда там даже самые общие философские и социальные учения принимают национальный оттенок, у нас Н. Михайловский толкует о том, что *национальное* вредно народу» (21, 253). Эта запись находится среди подготовительных заметок, в которых, обдумывая ответ критикам «Бесов», писатель обосновывал и развивал свое отрицательное мнение о либералах-западниках и социалистах. Несколько позже, прочтя рецензию Михайловского и приступив к набрасыванию возражений, он прежде всего вспомнил январские рассуждения критика: «Н. Михайловский». <...> Национальность не нужно. А из этого следует, что если народ вас не послушается, то вы тотчас же на него рассердитесь и от него отступитесь. И какие же вы деспотики! Нет, вот желай этого, потому что это разумно. Да он прямо скажет вам, что это не разумно, потому что вы предпринимаете приросту его» (21, 253—254).

В рецензии на «Бесов» Михайловский утверждал, что автор романа, подметив лишь патологические формы «беса служения народу», «просмотрел общий характер *citoyen*'ства, характер, достойный его кисти по своим глубоко трагическим моментам».<sup>19</sup> Достоевского не убедили представленные критиком доказательства исторической невиновности «*citoyen*'ов» в разрыве с народом, не смягчило его и признание о «минутах страшного страдания», когда «мучит <...> совесть бедных *citoyen*'ов, признающих свой долг» перед народом и «мучительно напрягается <...> их мысль, взвешивая способы погашения долга».<sup>20</sup> В 1875 г. западнические «*citoyen*'ские» воззрения он в такой же степени считает антирусскими и антинародными, как и в период «Бесов» и «Гражда-

<sup>17</sup> Там же, т. 1, с. 828—831.

<sup>18</sup> Там же, с. 830.

<sup>19</sup> Там же, с. 869.

<sup>20</sup> Там же, с. 872.

нина». Однако теперь он знает и другую разновидность «citoyen'-ства» — представленный Версильовым русский «тип всемирного болениа за всех», который служит России, «выставляя» «ее главную мысль», пока она не заговорит своим собственным, народным голосом, «хранит в себе будущее России» (13, 376—378).<sup>21</sup> Естественно поэтому, что, внеся в тетрадь замечание о ненависти западников к этому самому будущему, Достоевский противопоставляет взглядам Толстого—Михайловского «исповедь» Версильова, которая к этому времени уже, очевидно, сложилась во всех своих основных положениях:<sup>22</sup>

«Версильов». Идея о дворянстве и лучших людях.

Версильов. Освободили народ дворяне, а чиновники только у них мысль украли».

Определив сущность западнической оценки национальной истории, Достоевский переходит к следующему вопросу, затронутому в «Деснице и шуйце Льва Толстого» и непосредственно касающемуся темы «беса национального богатства».

У славянофилов Михайловский отмечает «бессознательное тяготение к провозу европейской контрабанды под флагом начал русского народного духа».<sup>23</sup> Опираясь на пространную цитату из газеты «День», в которой говорилось о необходимости проведения железных дорог по Украине для ее хозяйственного развития, он показывает, что славянофильская доктрина служит объективно идеологической опорой нарождающегося отечественного капитализма:<sup>24</sup> «С паясничеством или без паясничества, но славянофилы всегда очень удобно справлялись с материальными благами проклятой ими европейской цивилизации. Они только „духа“ европейского не любили, они предпочитали начала русского или славянского духа <...> Славянофилы никогда не протестовали против утверждения в России европейских форм кредита, промышленности, экономических предприятий. Они требовали только, чтобы производительные силы России и ее потребители находились в русских руках. Так например, они требовали покровительства русской промышленности, попросту говоря, высоких тарифов. Обставляя это требование <...> рассуждениями о величии России и восклицаниями о каликах переходящих и киевских колоколах, славянофилы не смущались тем, что покровительственная торговая

<sup>21</sup> См. подробно: Кийко Е. И. Русский тип «всемирного болениа за всех» в «Подростке» (по материалам черного автографа). — Русская литература, 1975, № 1, с. 155—161.

<sup>22</sup> В Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского разбираемые заметки напечатаны в корпусе подготовительных материалов, датированных 8 (20) сентября—декабром 1874 г.; но они не могли быть записаны ранее выхода «Десницы и шуйцы Льва Толстого» — ранее мая 1875 г.

<sup>23</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 3, с. 456—457.

<sup>24</sup> О связях славянофилов в лице И. С. Аксакова с московской буржуазией см.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978, с. 127—166. Автор приходит к выводу о том, что «линия <...> на превращение славянофильства в идеологию крупной буржуазии являлась господствующей тенденцией в развитии пореформенного славянофильства» (там же, с. 165).

политика выгодна не России, а русским заводчикам. Под покровом киевских колоколов и калик переходящих они, сами того не замечая, стремились ускорить появление в России господствующих в Европе отношений между трудом и капиталом, т. е. того, что сами они готовы были отрицать на словах и что составляет самое больное место европейской цивилизации. Гарантируйте русским фабрикам десяток-другой лет отсутствия европейской конкуренции, и вы не отличите России от Европы в экономическом отношении. Недаром весьма просвещенные русские заводчики проникаются необычайною любовью к России всякий раз, когда заходит речь о тарифе». <sup>25</sup> Экономические перемены, которым всеми силами способствуют славянофилы, должны, заключает логически Михайловский, изменить «нравственный характер русского рабочего люда», так что «в конце концов знаменитых начал русского духа не останется даже на семена». <sup>26</sup>

Парадокс этот не ставит Достоевского в тупик. <sup>27</sup> «Бес национального богатства» действительно вырвался на волю и гуляет по России. Автор «Подростка» это хорошо знает; но тревога, которую бьют «Отечественные записки», не находит у него отклика. Бояться этого «беса» свойственно западникам, которые, оторвавшись от родной почвы, не понимают России и, рассуждая о ее будущем, прикладывают к ней европейский, для нее непригодный аршин. Тот, кто в отличие от них видит, в чем состоит сущность «русского духа», не испытывает страха перед этим «бесом», ибо ему известна сила, которая не даст России свернуть на западный путь. Приблизительно на такие мысли, по-видимому, натолкнули Достоевского предупреждения Михайловского, и, стоя на этой точке зрения, записывает он в тетради ответ, который предполагает включить в «исповедь»:

«Версцилов». Был бы только русский дух, т. е. дух Христов, и все хронологические необходимости зла Европы немислимы в России (заводчики, тариф), никто не захочет пользоваться во вред меньшим братьям, ибо *счастье жизни, забаву* жизни найдут в другом, т. е. не в золоте, а в самоотвержении.

— Так ли, возможен ли такой рай?

— А если невозможен, то идеал и стремление к нему всегда будут возможны. Не умирал лишь бы Христос в русском сердце, и хоть бы ночь кругом, все-таки можно будет стремиться изо всех сил к светлой точке. Стало быть, жить будет весело, только бы идея не умирала. Вот когда умрет самая идея и примется европейская, не равенства внутреннего, а равенства механического, вот тогда все пропало».

<sup>25</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 3, с. 454—455.

<sup>26</sup> Там же, с. 456.

<sup>27</sup> Отталкиваясь, возможно, от реминисценций этого парадокса, а не от концепции Михайловского о консервативном характере русского рабочего вопроса и социализма (см.: Кирпотин В. Я. Достоевский и Белинский. Изд. 2-е, дополн. М., 1976, с. 199—201), предложит Достоевский свой парадокс о западниках в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г.

В выражении «механическое равенство» всплывает проблематика рецензии Михайловского на «Бесов».

Рецензия явилась для Достоевского, по его собственному признанию, сделанному под свежим от нее впечатлением («Гражданин», 1873, 19 февраля, № 8), «в некотором смысле <...> как бы новым откровением» (21, 54). Из хорошо известного и часто цитируемого заявления писателя в статье «Две заметки редактора» («Гражданин», 1873, 2 июля, № 27) явствует, что ему внезапно открылись совершенно неожиданные повороты мысли критика и идеологическая концепция его предстала в странном свете. Согласия с оппонентом это «откровение» отнюдь не заключало. Напротив, по ходу чтения рецензии возникли возражения, касавшиеся основных пунктов ее содержания, как их понял Достоевский: положения о консервативном характере социализма в России и тезиса, согласно которому, как он изложен в «Двух заметках редактора», «социализм не атеистичен, <...> социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его» (21, 157). Утверждений, облеченных в подобные фразы, в рецензии нет; в этих формулировках контаминировалось несколько замечаний Михайловского как из рецензии, так и из других его статей, хронологически к ней близких.<sup>28</sup> В частности, усмотрев в десятом номере «Гражданина» признаки отступления рукотворимого Достоевским органа от категорического и враждебного неприятия социализма, Михайловский в мартовской статье 1873 г. обратился непосредственно к редактору журнала-газеты, убеждая его не бояться этого «движения»: «Никакое общество не обязано проходить через все метаморфозы, которым подверглись его старшие в историческом порядке родичи. Здесь имеет место закон не наследственный, а педагогической передачи особенностей. Передача эта совершается двумя путями — положительным и отрицательным <...> Если мы видим, что, например, известная комбинация обстоятельств порождает в Европе резню, то какой, с позволения сказать, черт потянет нас к этой комбинации? Конечно, мы постараемся обойти ее, должны, по крайней мере, стараться изо всех сил, и можем отступить только перед заведомо неизбежностью».<sup>29</sup>

Достоевский увидел во всех увещеваниях Михайловского лишь тактический прием оппонента, решившего сделать противной стороне успокоительную уступку: «Главное, никак не могу понять, что хотел мне сказать г-н Н. М., уверяя меня, что социализм в России был бы непременно консервативен? Не думает ли он меня этим как-нибудь утешить, предположив, что я консерватор во что бы то ни стало. Смею уверить г-на Н. М., что „лик мира

<sup>28</sup> См.: Долинин А. С. Последние романы Достоевского, с. 11—13; Кирпотин В. Я. Достоевский и Белинский, с. 186—194; Семенов Е. И. Роман Достоевского «Подросток», с. 12. См. также комментарий к «Двум заметкам» (21, 467—468).

<sup>29</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 1, с. 901—902.

сего“ мне самому даже очень не нравится» (21, 157). В 1875 г. Достоевский не мог не вспомнить своего расхождения во мнениях с Михайловским по этому вопросу. Его оценка социализма в подготовительных материалах к «Подростку» заключала поэтому и своего рода ответ на рецензию. Осталась она, как видно из слов о «механическом равенстве», столь же отрицательной, как и в период создания «Бесов», и в 1873 г. Усилия Михайловского переубедить писателя не достигли цели.

Уверенность Достоевского в том, что «бес богатства» будет изгнан из России «самоотвержением», нашла опору в суждениях Н. Н. Страхова, сжато суммированных в «Деснице и шуйце Льва Толстого» в виде следующего тезиса: «Россия гарантирована от толков об „общем благосостоянии“ и от духа зависти, гарантирована глубокими началами русского народного духа, которому противен „житейский материализм“». <sup>30</sup> Вопрос об «общем материальном благосостоянии» был одним из главных пунктов полемики в 1872—1873 гг. между Михайловским и Страховым вокруг книги Э. Ренана «La réforme intellectuelle et morale» (1871). <sup>31</sup> Ренан и вслед за ним Страхов видели в «развитии материальных стремлений у рабочих и у крестьян» <sup>32</sup> фактор, оказывающий отрицательное влияние на духовно-нравственное состояние общества, порождающий разъединение людей и угасание таких «благородных стремлений» прошлых времен, как воинская доблесть, патриотизм, «энтузиазм к прекрасному», жажда славы и др. «Социальные вопросы, — писал Ренан, — совершенно заглушили вопросы национальные и патриотические (...). Наша политическая философия содействовала нашему падению». <sup>33</sup> Михайловский признавал возможность сочетания «материальных стремлений» и духовных идеалов, приводя в пример европейских социалистов. <sup>34</sup> Достоевский следил за спором, очевидно, с самого начала, тогда же, наверное, составил свое мнение об аргументации и выводах столкнувшихся сторон и, по всей видимости, как-то сохранил его в памяти. <sup>35</sup>

В «Деснице и шуйце Льва Толстого» речь о взглядах Страхова заходит в связи с «трогательной идиллией» славянофилов, которая отождествляет «интересы и цели „незанятых классов“ (древней или повой России) с интересами классов занятых,

<sup>30</sup> Там же, т. 3, с. 458.

<sup>31</sup> О полемике см.: 17, 284—285; Кийко Е. И. Достоевский и Ренан, с. 114—115.

<sup>32</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 1, с. 716.

<sup>33</sup> Цит. по: Михайловский Н. К. Соч., т. 1, с. 717.

<sup>34</sup> Там же, с. 724.

<sup>35</sup> Сборник «Гражданина», в котором была напечатана рецензия Страхова на книгу Ренана (ч. I. СПб., 1872), имелся в библиотеке Достоевского (см.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. М.—Пг., 1922, с. 50). О взглядах Страхова, солидаризировавшегося с Ренаном, говорилось кратко и в рецензии Михайловского на «Бесов» (см.: Михайловский Н. К. Соч., т. 1, с. 870). Наконец, ответ Страхова Михайловскому был напечатан в «Гражданине» (1873, 30 апреля, № 18) в период, когда редактором был Достоевский.

вдвигая их в национальное единство».<sup>36</sup> Соглашаясь с отзывом Страхова о Ренане как о «французском славянофиле» в этом отношении, Михайловский приводит характерную цитату, подтверждающую такую оценку: «Ренан смотрит на вещи так: „<...> Демократ называет глупцом крестьянина старого порядка, работавшего на своих господ, любившего их и наслаждавшегося высоким существованием, которое другие ведут по милости его пота <...> В настоящем состоянии общества преимущества, которые один человек имеет над другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствием или благородством другого кажется дикостью; но не всегда так было. Когда Губбио или Ассиз глядел на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовал. Тогда все участвовали в жизни всех; бедный наслаждался богатством богатого, монах — радостями мирянина, мирянин — молитвами монаха, для всех существовало искусство, поэзия, религия“».<sup>37</sup> Разъяснив с помощью этой цитаты сущность славянофильской «идиллии», Михайловский указывает на полную противоположность ей взглядов Толстого, который «утверждает, что „молодшему брату“ <...> нет никакой причины радоваться на „кавалькаду молодого господина“».<sup>38</sup> В отличие от славянофилов, подчеркивается в статье, Толстой меряет цивилизацию «не началами русского духа и не какими-нибудь возвышенными мерками смиренномудрия и терпения, а „общим благосостоянием“», он ее отрицает только потому, что она оказывается бесполезной «молодшему брату» именно с точки зрения благосостояния.<sup>39</sup>

Ответ Достоевского — логическое продолжение предыдущей заметки, в которой была высказана точка зрения, очень близкая к страховскому пониманию «русского духа» как фактора, спасающего Россию от губительного «житейского материализма». В тетради следует запись: «Ренан славянофил. Крестьяне смотрят на пышную свадьбу своего господина и радуются, Михайловский и Толстой негодуют на мужиков на том основании, что пышность свадьбы их господина несколько не увеличивает их благосостояния. И Толстой и Михайловский даже считают священным долгом своим образумить скорее мужика и разъяснить ему, что он глуп, если счастлив счастьем своего господина, что счастье господина не увеличивает его благосостояния. Таким образом, и Толстой и Михайловский забывают, что крестьянин этот ведь все-таки счастлив же. И, вразумляя его, отнимают у него счастье. Почему? Враги они что ли его? Нет, а потому, что задались ложною мыслию, что счастье заключается в материальном благосостоянии, а не в обилии добрых чувств, присущих человеку».

Все содержание заметки (особенно отчетливо последнее предложение) перекликается с мыслью о второстепенности идеи

<sup>36</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 3, с. 457.

<sup>37</sup> Там же, с. 457.

<sup>38</sup> Там же, с. 458.

<sup>39</sup> Там же.

«претворения камней в хлеба», которая уже была намечена в подготовительных материалах (16, 44—45, 78, 283) и бегло затронута в самом романе (13, 173), затем появляется в черновых записях к «исповеди» Версилова (16, 431), но в окончательный ее вариант не войдет.<sup>40</sup> В этой идее видел Достоевский зерно социалистического учения, что раскрывает его заметка от 6 октября 1874 г. (16, 164) и что он подробно разъяснит в известном письме к В. А. Алексееву от 7 июня 1876 г. (II, III, 211—213). Эта прочно уже устоявшаяся в сознании писателя ассоциация тянет нить его размышлений к наброску «Социалистам», в котором демонстрируется несостоятельность их надежд «прельстить человека выгодой, умственным расчетом его выгоды»: «Господи, какой плохой расчет с вашей стороны: да когда же человек делал то, что ему выгодно? Да не всегда ли, напротив, он делал то, что ему нравилось, а не то, что ему выгодно, нередко сам видя во все глаза, что это ему невыгодно» (16, 170).

В 1872 г., полемизируя с Ренаном и Страховым, Михайловский задал вопрос: «Разве желание наделить всех и каждого материальным благосостоянием не способно составить идеал, вызвать высокие чувства, великие мысли?»<sup>41</sup> Помнил его Достоевский или нет, но логика спора с Михайловским—Толстым привела к ответу на него, и ответ этот был отрицательный.

«Десница и шуйца Льва Толстого» была седьмой статьей цикла «Записки профана». В том же номере «Отечественных записок» была напечатана и восьмая — «Несколько мелочей», посвященная разбору реферата П. Е. Пудовикова «Кустарная промышленность», в котором доказывалась необходимость «внести в труд кустарей правильное распределение, словом — сделать из них фабричных рабочих».<sup>42</sup> Выступая в соответствии со своими народническими взглядами за охранение кустарных промыслов от экспансии капиталистической промышленности, Михайловский указывал, что распространение фабричного производства несло с собою ухудшение жизненных условий и разложение нравов русского крестьянина. Для доказательства этого тезиса он заимствовал несколько примеров из статьи священника К. Веселовского «О фабрикации полотен в г. Вязниках Владимирской губернии»,<sup>43</sup> в том числе следующую сцену расчета рабочих:

«— Подмастерье Данило Прохоров Занозин, — здесь?

— Здесь-с, ваше высокостепенство.

— Тебе, брат, нынче больно много причитается к выдаче, — смотри-ко-сь, — ведь 39 руб., шутка сказать!.. Ведь это, братцы, вы меня в раззор разорите; ну-ко-ся 39 руб.!

— Да! слава те господи! Копил все, ваше высокостепенство, — к празднику нужны... оброк... подати...

<sup>40</sup> О развитии этой мысли см.: 17, 283.

<sup>41</sup> Михайловский и Н. К. Соч., т. 1, с. 731—732.

<sup>42</sup> Труды Вольного экономического общества, 1874, т. 3, вып. 1, сентябрь, с. 65—86.

<sup>43</sup> Там же, т. 2, вып. 4, август, с. 434—449.

— Нет, брат, этак нельзя... вот тебе тридцать, а девять с костей долой; чай не помнишь, за тобой грешки были?

— Никаких грехов супротив вашего высокостепенства не сознаю-с, а что касательно скостки... прошу помиловать... За что?

— А! еще стал разговаривать... получи 29 рублей, а рубль еще с тебя штрафу... не гордыбачь!».<sup>44</sup>

Из статьи Михайловского эта сцена, подобные которой повторялись в Вязниках, по словам автора, «несколько десятков раз в продолжение суток», перешла в «Подросток», в рассказ о купце Скотобойникове:

«А народ рассчитывал произвольно; возьмет счеты, наденет очки: „Тебе, Фома, сколько?“ — „С рождества не брал, Максим Иванович, тридцать девять рублей моих есть“. — „Ух сколько денег! Это много тебе; ты и весь таких денег не стоишь, совсем не к лицу тебе будет: десять рублей с костей долой, а двадцать девять получай“. И молчит человек; да никто и не смеет пикнуть, все молчат» (13, 314).

Образом Скотобойникова, как и образом Макара Ивановича Долгорукого, Достоевский продолжил и завершил свою полемику с Некрасовым по поводу стихотворения «Влас», начатую в «Гражданине» в 1873 г.<sup>45</sup> Скотобойников — это тот же Влас, но освобожденный от «шутовства», которое Достоевский усмотрел в интерпретации Некрасова; это — Влас, прошедший через горнило очищающих нравственных страданий и воплощающий сформулированную в «Дневнике писателя» за 1873 г. концепцию русского национального характера, согласно которой «самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем» (21, 36). В ее ошибочности пытался убедить писателя Михайловский в своей рецензии: «Легко <...> жить с мыслью о том, что мой народ любит страдать. Но <...> это мысль *citoyen'sкая*. Народ рот разинет, если ее ему представить. Народ может с почтением смотреть на принимающих мученический венец, он может сочувственно относиться к добровольно несущим искупительный крест, он может, наконец, страдать, не замечая этого или не зная выхода, но только *citoyen'у* может придти в голову, что народ хочет, любит страдать, и притом *citoyen'у*, склонному к эксцентрическим идеям и к обобщению патологических явлений».<sup>46</sup>

Работая над образом Скотобойникова, Достоевский, как дает основание предполагать установленный выше факт заимст

<sup>44</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 3, с. 463. По сравнению с оригиналом (см.: Труды Вольного экономического общества, 1874, т. 2, вып. 4, август, с. 449) Михайловский допустил незначительные текстуальные отступления.

<sup>45</sup> См.: Долинин А. С. Последние романы Достоевского, с. 127—133; Туниманов В. А. Достоевский и Некрасов. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 33—66.

<sup>46</sup> Михайловский Н. К. Соч., т. 1, с. 867—868.



ния, держал в уме Михайловского и в этом случае должен был иметь в виду как его рассуждения о «бесе национального богатства» (этим «бесом» одержим Скотобойников), так, несомненно, и возражения критика против того самого тезиса, который закладывался в идейную основу вставного рассказа о купце. Следовательно, образ Скотобойникова содержал ответ Михайловскому, причем и на рецензию, и на очередные тревожные предостережения в статье «Несколько мелочей» о разгуле «беса», грозящем стране непоправимыми гибельными последствиями. Ответ писателя был тот же, что и в разобранных черновых заметках: от «беса богатства» Россию сохранит «русский дух».

Итак, в разгар работы над «Подростком» Достоевский ни с одним положением рецензии Михайловского на «Бесов» согласен не был. Тему, которую ему подсовывал Михайловский, он рассматривал под иным углом зрения, нежели критик «Отечественных записок». Поэтому следует согласиться с окончательным выводом Е. И. Семенова о том, что «не вызывает особого доверия тезис об идейной „переориентировке“ Достоевского именно под влиянием статей публициста-народника».<sup>47</sup>

## УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОММЕНТАРИЮ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО

### «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

#### 1

Главный герой романа «Бедные люди», Макар Девушкин, объясняя Вареньке Доброселовой свое отношение к проблеме материальной небеспеченности, говорит: «Я про подошвы мои и не думаю, потому что подошва вздор и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. Да и сапоги вздор! и мудрецы греческие без сапог хаживали...» (1, 81). Девушкин здесь явно намекает на Сократа, который «всегда босой, в старом плаще — в таком своем постоянном наряде <...> шагнул с улиц площадей Афин в долгую историю. Этот наряд был столь обычен для Сократа, что его восторженный слушатель, Аристодем, увидев его однажды в сандалиях, был весьма удивлен. Выяснилось, что Сократ „вырядился“ на пир к поэту Агафону по случаю его победы в Афинском театре...».<sup>1</sup>

Как пишет современный Ф. М. Достоевскому автор, «когда мороз был так силен, как только можно было себе представить, когда другие либо вовсе не выходили, либо кто выходил, то на-

---

<sup>47</sup> Семенов Е. И. Роман Достоевского «Подросток», с. 15. Однако аргументация Е. И. Семенова в поддержку этого положения не во всем представляется бесспорной.

<sup>1</sup> Нерсисянц В. С. Сократ. М., 1977, с. 102.

въключивал на себя пропасть платья и обуви и закутывал ноги в шерсти и меха, тогда он (Сократ,— *К. Б.*) выходил <...> в той же одежде, какую обыкновенно носил, и босый ходил по льду гораздо легче, чем другие в обуви».<sup>2</sup>

## 2

«... адресуйте, пожалуйста, к мадам Шифон на Гороховую и попросите, во-первых, прислать белошвеек...», — просит Барвара Алексеевна Макара Девушкина (1, 103). Имя хозяйки белошвейной мастерской «говорящее», придумано Достоевским не случайно и имеет иронический смысл, так как «chiffon» по-французски означает «тряпка». Ср. «chiffons de femmes» — «женские тряпки», пренебрежительно — о женской одежде.

*К. А. Баршт*

### «СИБИРСКАЯ ТЕТРАДЬ»

Биографический характер ряда записей из так называемой «Сибирской тетради» (Достоевский называл ее своей «тетрадкой каторжн<ой>» — 21, 259) несомненен. Уже отмечалось, что повторяющиеся здесь пометы, «возможно, имели особое значение для писателя» (4, 310). Однако смысл этих кратких помет оставался неясен по той причине, что ни в одном из случаев их употребления публикаторы «Сибирской тетради» не могли предложить приемлемого варианта их прочтения. По характеру написания второй буквы не поддававшегося прочтению слова ее можно принять за «л», причем как за латинское, так и за русское. Последнее в свое время и предложил Л. П. Гроссман, правда, не решившийся ввести получающееся при этом свое прочтение в текст «Сибирской тетради». В конце публикации, в сноске, он заметил: «Перед некоторыми датами стоит трудно поддающееся расшифровке обозначение: „Елеи“ или „Елен“. Мы заменили его несколькими точками ввиду неуверенности чтения».<sup>1</sup> Последующие публикаторы помечали слово как неразобранное, а если отступали от этого правила, то крайне неудачно его интерпретировали.<sup>2</sup>

Но в одном из случаев употребления слова вторая буква его написана совершенно отчетливо как латинское «h», что и позво-

---

<sup>2</sup> Ведерхольм К. История древней философии, приспособленная к понятию каждого образованного человека, ч. 11. М., 1842, с. 6.

<sup>1</sup> Звенья, т. VI. М.—Л., 1936, с. 438. Если принять первое чтение, можно было бы предположить, что Достоевский употребляет старый вариант слова «елей» — «елеи» (приведен Срезневским в его «Материалах для Словаря древнерусского языка», т. I. СПб., 1893) в смысле «утешение, успокоение». Как увидим ниже, это противоречит смыслу записей.

<sup>2</sup> Так, совершенно уже лишено всякого смысла предложенное одним из публикаторов прочтение «Елец!» (Литературное наследство, т. 83. М., 1971, с. 204; об этом случае употребления слова см. ниже).

ляет прийти к заключению, что перед нами латинское «Eheu» (т. е. междометие «увы» или «ах»).<sup>3</sup>

В результате биографический «пласт» «Сибирской тетради» (ГБЛ, ф. 93, I. 2.5)<sup>4</sup> выглядит так:

1855 г.

- «(eheu)» (с. 21 об.)
- «(Eheu 5 июля)» (с. 23)
- «(Eheu! 28 августа)» (с. 23 об.)

1856 г.

- «(Eheu, 20 марта)» (с. 25)
- «Eheu! 8 мая» (с. 25)
- «(17 августа)» (с. 25 об.)
- «(26 сентября 56. Ожидание)» (с. 26)
- «(17 октября)» (с. 26 об.)
- «(19 декабря 56. Надежда!)» (с. 27)

1857

- «(11 мая)» (с. 27 об.)

1860 г.

- «(Eheu. Отъезд М<аши> 6 сентябр<я> 860)» (с. 28)

Отметим сразу же, что все приведенные записи связаны с именем М. Д. Исаевой и отражают различные моменты сложного, трагического чувства к ней Достоевского, возникшего весной—летом 1854 г. Первая запись, относящаяся, по-видимому, к июню 1855 г., связана с отъездом семьи Исаевых в Кузнецк. 4 июня 1855 г. Достоевский писал Марии Дмитриевне: «Вот уже две недели, как я не знаю, куда деваться от грусти <...> Право, это время похоже на то, как меня первый раз арестовали в сорок девятом году и схоронили в тюрьме, оторвав от всего родного и милого» (П., I, 152). Вторая помета, июльская, вероятно, вызвана той же непроходящей тоской. Запись от 28 августа связана с трагической ситуацией, в которую попала М. Д. Исаева после внезапной смерти мужа. Об этом она писала Достоевскому в частных (несохранившихся) письмах, о которых он в свою очередь сообщал своему другу А. Е. Врангелю (см. письма к нему от 14 и 23 августа 1855 г.: П., I, 155—158, 160—161).

Записи от 20 марта и 8 мая 1856 г. запечатлели события, связанные с получением известий о предполагаемых замужествах Марии Дмитриевны (см. письма Врангелю от 23 марта, 23 мая и

<sup>3</sup> Пример из словарной статьи: «Eheu, fugaces labuntur anni» — «Увы, проходят быстротечные годы!» (Горацій). Ср. со стихами из XIV строфы «Песен» («Carminum») Горація: «Eheu fugaces, Postume, || Postume, labuntur anni || nec pietas moram» («О Постум, Постум! Как быстротечные || Мелькают годы! Нам благочестие || Отсрочить старости не может, || Нас не избавит от смерти лютой»).

<sup>4</sup> См. также: 4, 245—248,

14 июля 1856 г.: П., I, 168—177, 186—193) и отчаянием, в котором находился Достоевский все время, пока надежда на получение им офицерского чина не стала реальной. Последующие пять записей связаны с ожиданием получения этого чина и ожившими надеждами на брак с М. Д. Исаевой: потому-то рядом с этими записями и нет горестной пометы «Еheu». Приказом от 1 октября 1856 г. Достоевский был произведен в прапорщики; венчание его с Марией Дмитриевной состоялось 6 февраля 1857 г.

Любопытно происхождение последней записи, относящейся к 1860 г. «Сибирская тетрадь» к этому времени давно уже не была рабочей; последние записи ее датируются 1857 г. И тем не менее писатель вновь извлекает тетрадь, чтобы обозначить еще одну печальную дату: 6 сентября 1860 г. совершился переезд больной М. Д. Достоевской из Петербурга на жительство в Москву (а потом на время во Владимир). Достоевский же преимущественно живет в Петербурге, лишь время от времени совершая поездки к жене. С ноября же 1863 до 15 апреля 1864 г. он находился неотлучно подле умирающей Марии Дмитриевны. А. Н. Майков, посетивший семью незадолго до этого, писал жене: «Мария Дмитриевна ужасно как сделалась с виду-то хуже: желта, кости да кожа, просто смерть на лице <...> Федор Михайлович всё тешит ее разными вздориками, портмонеичками, шкатулочками и т. п., и она, по-видимому, ими очень довольна. Картину вообще они представляют грустную: она в чахотке, а с ним припадки падучей».<sup>5</sup>

Помимо «Сибирской тетради» только три раза появилась эта горестная помета «Еheu» в рукописях Достоевского. Причем дважды вновь в связи с именем М. Д. Достоевской. Первый раз при дате 24 июля 1863 г. («24 июля. Еheu» — записная книжка 1863—1864 гг.; ГБЛ, ф. 93, I. 2. 7, с. 21): в этот день предполагаемое заграничное путешествие вдвоем с А. П. Сусловой, ожидавшей Достоевского в Париже, стало реальным (от Литературного фонда были получены взаймы 1500 рублей), и, по-видимому, новая веха в отношениях с Сусловой заставила Достоевского как бы еще раз вспомнить грустную историю его первой любви. Последний раз эта горестная помета возникнет рядом с датой известной записи «Маша лежит на столе («16 апреля <1864>. Еheu!»), которая входит в состав печального перечня трагических событий 1863—1864 гг., завершающего записную тетрадь этих лет:

«25 ноября 63 выезд из Москвы.

16 апреля <1864> (Еheu!)

10 июля, в 7 часов утра — смерть брата Маши.

2 августа. Утро в Павловске. Жарко. Дворянск<ое> гнездо (начало). Маша, брат, будущность, потом настоящее».<sup>6</sup>

И лишь один раз (и последний) возникает эта помета безот-

<sup>5</sup> Литературное наследство, т. 86. М., 1973, с. 393.

<sup>6</sup> Там же, т. 83, с. 188 (печатается со сверкой по автографу).

носителю к М. Д. Достоевской, но в том же горестном значении: в записной тетради 1864—1865 гг. рядом с датой 25 «сентября» 1864 г.<sup>7</sup> вновь появляется: «(Еheu!)». В этот день умер Аполлон Григорьев, и, без сомнения, запись, с ее особым скрытым значением, подчеркивает, насколько близок был Достоевскому его давний соратник и сотрудник. И не случайно в таком сухом и деловом документе, как приходо-расходная тетрадь по журналу «Эпоха», в которой нет ни одной не деловой записи, вдруг появляется написанная рукой Достоевского строчка: «Для похорон Ап. Григорьева из числа всей суммы — 10 «руб.»» (ГБЛ, ф. 93, л. 3.21). Правда, Достоевский тут же зачеркивает эту «неофициальную» строку, заменив ее вполне деловой: «Порецкому — 10».<sup>8</sup>

Все сказанное позволяет сделать тот вывод, что «Сибирская тетрадь», заключающая в себе целый ряд важнейших дневниковых помет, может считаться серьезным биографическим источником. Тем более серьезным, что это, если не говорить о письмах, самый ранний биографический источник, оставленный самим Достоевским.

*Т. И. Орнатская*

#### «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»

В научной литературе о «Селе Степанчикове» обнаружены и интересно прокомментированы многие литературные полемики, пародии, литературные цитаты, намеки, реминисценции, творчески переосмысленные в повести.<sup>1</sup>

Но одна из реминисценций, связанная с именем Гоголя, автора II тома «Мертвых душ», не привлекала внимания комментаторов. Между тем она представляет интерес в качестве отклика Достоевского на современные события литературной жизни: II том «Мертвых душ» вышел в свет в 1855 г. как дополнение ко второму изданию Собрания сочинений Гоголя. Публиковался он также в исправленном виде в IV томе Сочинений и писем Гоголя, изданных П. А. Кулишом (СПб., 1857).

В первой части «Села Степанчикова», во «Вступлении», представляя читателям Фому Опискина, повествователь сообщает о нем: «Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага

<sup>7</sup> Там же, с. 204.

<sup>8</sup> Отметим и еще одну запись Достоевского в записной книжке 1860—1862 гг., касающуюся А. А. Григорьева: «В загибании перед Григорьевым» (Литературное наследство, т. 83, с. 154). При исследовании взаимоотношений Достоевского и Григорьева эта фраза может привлечь внимание и вызвать соответствующую интерпретацию. Предваряя эту вероятность, обратим внимание на то, что в рукописи просто записан адрес критика: «В Загибенкином переулке» Григорьев.

<sup>1</sup> См.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кяно. М., 1977, с. 198—226; Туниманов В. А. Творчество Достоевского 1854—1862. Л., 1980, с. 26—63. См. также комментарий А. В. Архиповой к «Селу Степанчикову»: 3, 501—505, 509, 511—515.

и тогда же окончательно примкнул к той огромной *фаланге огорченных*, из которых выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники» (3, 12; курсив наш, — Н. М.).

В эпизоде же из главы первой II тома «Мертвых душ» рассказывается, как «струсил» Тентетников, приняв Чичикова за «чиновника от правительства», так как «в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело». Далее разъясняется суть этого «дела». «Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, <...> да промотавшийся игрок затеяли какое-то филантропическое общество, под верховным распоряжением старого плута и масона и тоже карточного игрока, но красноречивейшего человека. Общество было устроено с обширной целью — доставить прочное счастье всему человечеству, от берегов Темзы до Камчатки <...> В общество это затащили его два приятеля, принадлежавшие к *классу огорченных людей*, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещения и будущих одолжений человечеству сделались потом *форменными пьяницами*. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга».<sup>2</sup>

Иронический намек Гоголя на самые злободневные события в общественной жизни России конца 40-х годов, на деятельность многочисленных, оппозиционно настроенных по отношению к правительству кружков — возможно, в том числе и на общество Петрашевского, в которое входил Достоевский, — очевиден. Между тем исследователями Гоголя этот эпизод также обойден вниманием.

Если принять во внимание сложившееся у Достоевского в конце 40-х годов скептическое отношение к различного рода нестрым «кружкам», о которых он писал в «Петербургской летописи» (18, 12—13) и упоминал в своих показаниях по делу петрашевцев (18, 121, 133—134), то можно предположить, что эпизод из II тома «Мертвых душ» о «филантропическом обществе» и его членах, принадлежащих к «классу огорченных», заинтересовал автора «Села Степанчикова» и нашел своеобразное преломление в контексте повести. Скрытый намек на общественно-политические события в русской жизни (непосредственным участником которых был сам Достоевский), звучащий в гоголевской реалии («фаланга огорченных»), усиливается и ироническим замечанием Бахчеева о Фоме Опискине (во второй главе): «За правду, говорит, где-то там пострадал в *сорок не в нашем году*» (3, 27; курсив наш, — Н. М.). Так полемически переосмысленное Достоевским гоголевское «словечко» акцентировало в повести аллюзию из эпохи 40-х годов, не утратившую своей злободневности и в 50-е годы.

Н. Н. Мостовская

---

<sup>2</sup> Гоголь Н. В. 1) Соч. и письма, т. IV. СПб., 1857, с. 420; 2) Полн. собр. соч., т. 7. Л., 1951, с. 26. (Курсив наш, — Н. М.). В числе приятелей Тентетникова, повлиявших на него «сильно и пылкой речью, и образом благородного негодования против общества», Гоголь называет двух человек, «которые были то, что называется *огорченные люди*» (там же, с. 16—17).

## О ДВУХ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКАХ СНА РАСКОЛЬНИКОВА

Достоевский-художник, одержимый «тоской по текущему», по словам Д. С. Лихачева, всегда «искал точных мест тому, что ему „мерещилось“, точных адресов: „где-то и когда-то“! <...> Находясь за границей, он нуждается в русских газетах. О газетах он пишет в своих письмах постоянно. В газетах опять-таки ему нужны происшествия, случаи, единичные факты: они были, и он досочиняет к ним, что могло быть».<sup>1</sup>

### 1

Сон Раскольников (избиение лошади) навеян прежде всего автобиографическими воспоминаниями. Однако у Достоевского часто существенно важные и легко поддающиеся своеобразной «идеологизации» детали берутся уже готовыми из произведений других авторов. Так, установлено, что сон Раскольника переключается со стихотворным циклом Некрасова «О погоде» (глава «До сумерек»). Интересно, однако, что сюжет избиения лошади, изложенный с деталями, напоминающими и о Некрасове, и о Достоевском, уже встречался в русской беллетристике 40-х годов (цикл «О погоде» написан в 1859 г.). Речь идет о произведении малоизвестного писателя П. Фурманна «Парголовские тайны», явившемся своеобразным откликом «газетной литературы» на прогремевший роман Э. Сю «Парижские тайны». Сцена избиения лошади описана Фурманном в сухом, почти в протокольном стиле: «Мужик немилосердно колотил лошадь то по спине, то под брюхо, по доброму русскому обычаю, — но она, видно, была с норовом, потому что упрямо переносила удары и не трогалась с места. Нашелся добрый человек из ломовых извозчиков, который, желая оказать услугу мужику, нашел где-то в стороне огромную дубину, принес ее к нему и сказал: — Ну-ка ее этим... авось пойдет.

Мужик взял дубину и уже замахнулся, как вдруг молодой человек, стоявший в нескольких шагах, схватил его за руку.

— Что ты делаешь? — с негодованием вскричал молодой человек. — Ведь ты убьешь ее!

— Ну убью, так убью, проклятую!.. отвечал мужик с раскрасневшимся от злости лицом...».<sup>2</sup>

Во-первых, вполне возможно, что и сам Некрасов не прошел мимо этой сцены в «Парголовских тайнах». Может быть, его поразила замечательная деталь — избиение лошади не только кнутом, но и дубиной (у Некрасова это полено, а у Достоевского — лом). Во-вторых, возможно и то, что указанная сцена из произведения малоизвестного автора была непосредственно

<sup>1</sup> Лихачев Д. С. В поисках выражения реального. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1974, с. 8.

<sup>2</sup> Иллюстрации, 1845, т. I, № 21, с. 326.

(а не только в интерпретации Некрасова) знакома Достоевскому. На это мог бы указывать, например, образ мужика, в изображении Фурманна уже наделенный чертами садизма. От его «раскрасневшегося от злости лица» до «налитых кровью глаз» Миколки — расстояние небольшое. Оба они уже не бьют, а именно «убивают», входят в раж. «Убью, так убью!», — кричит мужик. «Мое добро!», — как-то однообразно-механически вскрикивает Миколка.

2

Факты жестокого обращения с животными действительно широко освещались в русской периодической печати 1860-х годов в связи с обсуждавшейся тогда идеей создания в России общества покровительства животных. Но среди корреспонденций в газетах на эту тему особенно выделяется одна, опубликованная в 1862 г. в «Современной летописи» «Русского вестника» за подписью «М. З.» под названием «Случай истязания лошади. К сведению будущего общества покровительства животных». Приведем текст заметки целиком:

«В одном из №№ „Иллюстрации“ заявлена была мысль об учреждении общества для покровительства домашних животных. Мысль эта заслуживает полного сочувствия. Общества покровительства животных существуют, сколько нам известно, почти во всех странах Европы и приносят видимую пользу. Во Франции и в Италии нам случалось, правда, видеть случаи жестокого обращения с лошадьми, но жестокость все-таки не сопровождалась крайним варварством. Англия отличается особенно мягкостью в обращении с животными, и этим, конечно, объясняется необычайная *образованность* тамошних бессловесных, о чем остроумно говорит г. Садерланд-Эдвардс в № 26 „Современной летописи“.<sup>3</sup> Участь домашних животных издавна возбуждала внимание английского законодательства. В конце прошедшего столетия знаменитый английский адвокат Томас Эркин внес в парламент билль, направленный против притеснителей домашних животных. Билль этот был принят парламентом и действует до настоящего времени

<sup>3</sup> «Посетители более всего поражены были на собачьей выставке необыкновенным поведением животных. Это были, без сомнения, самые благовоспитанные собаки в Европе <...> Сколько бы шуму наделала такая громадная стая невежественных или даже полубразованных собак! Сколько ворчания и ссор, а потом визгу и рабелества было бы при том обнаружено! Но айлингтонские собаки твердо решились не чинить и не терпеть оскорблений. Между ними были кровные собаки, по прямой нисходящей линии потомки кровной собаки, охотившейся за Уллесом во времена Эдуарда I; они обнаруживали столько же кротости и добродушия, как председатели общественных обедов, и вдобавок несколько поболее чувства собственного достоинства» (Садерланд-Эдвардс. Из Лондона. — Современная летопись «Русского вестника», 1862, № 26, с. 11). Заметим, что остроумие Садерланда-Эдвардса основано на парадоксальном отождествлении общественного неравенства в мире людей с миром животных, на противопоставлении породистых собак невежественным тварям.



в полной силе; этим, конечно, объясняется тот бесспорный факт, что в Англии случаи истязания животных почти никогда не бывают на практике.

Не такова участь наших домашних животных. В России, к сожалению, слишком часто случается видеть примеры жестокого обращения с бессловесными тварями. Но никогда мы еще не видели такого возмутительного случая, как тот, о котором намереваемся сказать теперь несколько слов. Не далее как 25-го июня мы ехали с одним из наших знакомых из Новой Деревни в Лахту. На середине дороги мы увидели следующую сцену: в канаве, прилегающей к шоссе, лежала опрокинутая телега, запряженная тощей, маленькою клячей. Неизвестно, кто был виновником этого приключения, лошадь или седок, но, вероятно, лошадь, потому что седок, *дюжий парень* лет тридцати, тузил несчастную тварь изо всей силы дугой по голове. Голова и туловище были обгарены кровью; удары часто следовали один за другим, и бог знает, чем бы кончилась эта операция, если бы мы не подошли на помощь несчастной клячонке и не положили предел такому варварству. На наше замечание, что подобное обращение с животными противно совести и закону божью, парень отвечал: „Известное дело, лошадь *мужицкая*, она *слов* не понимает“. Неужели и животные подлежат классификации на *аристократию* и *демократию*?»<sup>4</sup>

Обратим внимание на прямые переключки: «тощей, маленькой клячи» с «маленькой, тощей, саврасой крестьянской клячонкой» у Достоевского; дюжего парня лет тридцати с Миколкой, «молодым, с толстою шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом». Заметим тщетные в обоих случаях обращения героев к богу и совести. «Да что на тебе креста, что ли, нет, леший!», — кричит один старик из «толпы» в сне Раскольников (5, 46—48).

Но гораздо существеннее здесь другое — сопоставимость заметки из «Современной летописи» с «идеями» Раскольникова. В корреспонденциях русских газет эпохи 1860-х годов звучат явные отголоски бесчеловечной, ужасной идеи, которая «носится в воздухе». Дюжий парень, вышедший из низов, невозмутим: он оправдывает свою жестокость тем, что избиваемая им лошадакка не из породы «сильных мира сего», а принадлежит к разряду «тварей дрожащих»: «мужицкая», «слов не понимает»...

У нас нет прямых доказательств, что эта публикация была замечена писателем. Но есть основания предположить, что она запала в душу Достоевского, чуткого к «историям» подобного рода. Такое с ним случалось не раз. Вспомним начало рассказа «Мальчик у Христа на елке»: «Но я романист и, кажется, одну „историю“ сам сочинил. Почему я пишу: „кажется“, ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то слу-

---

<sup>4</sup> Современная летопись «Русского вестника», 1862, № 29, с. 31 (курсив наш, — Ю. Л.).

чилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз» (22, 14).

Не принадлежала ли и наша заметка из «Современной летописи» к числу тех «где-то и когда-то» случившихся «историй», которые подсознательно определяли направление творческих поисков Достоевского — писателя и мыслителя?

*Ю. В. Лебедев, В. И. Мельник*

#### «БЕСЫ». О ЗАГЛАВИИ РОМАНА И ЭПИГРАФАХ К НЕМУ

Как известно, смысл заглавия «Бесы» и евангельского эпиграфа к этому роману Достоевский в известной степени пояснил сам в своем письме к А. Н. Майкову, написанном 9 (21) октября 1870 г., — через два дня после того, как начало романа было отослано им в редакцию «Русского вестника». Изложив здесь содержание библейской легенды, Достоевский писал: «Точь-в-точь случилось так и у нас: бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, т. е. в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть <...> вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется „Бесы“, и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней» (П., II, 291).

В сущности, это пояснение мало прибавляет к тому, что следует из самого содержания романа, и будь с ним уже знаком А. Н. Майков, Достоевский, по-видимому, и не писал бы ему об этом. И вопрос о происхождении заглавия романа и эпиграфов к нему не проясняется ни этим письмом, ни какими-либо другими авторскими свидетельствами или документами, имеющими отношение к творческой истории романа.

Тем не менее уже общий полемический смысл этого романа позволяет предполагать наличие полемического элемента, отражение своего рода полемических ассоциаций и в самом его заглавии, и в эпиграфах. Как нам представляется, приводимые ниже факты прямо или опосредованно, но несомненно сыграли свою роль в выборе заглавия романа и эпиграфов к нему.

Вполне естественно предположить, что, полемически заостряя содержание своего романа, Достоевский мог взять и заглавие для него из лексикона революционной демократии.

Нет необходимости доказывать, что память писателя прочно хранила многие и многие эпизоды литературно-журнальной жизни десятилетней и большей давности: об этом со всей очевидностью свидетельствуют его произведения, и среди них едва ли не в первую очередь роман «Бесы». Несомненно помнил Достоевский и стихотворение одного из вождей русской революционной демократии и одного из своих главных оппонентов и критиков конца 50-х — начала 60-х годов Добролюбова — «Наш демон». Злободневно-сатирическое по своему содержанию, стихотворение это по

форме представляет собой пародию на стихотворение Пушкина «Демон». Оно имеет подзаголовок «Будущее стихотворение», и в нем от лица либерала Добролюбов подводит как бы ретроспективный итог своей предреформенной литературно-критической и публицистической деятельности. Стихотворение появилось во втором выпуске «Свистка» («Современник», 1859, № 4) и было тесно связано с печатавшимся здесь же окончанием статьи Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года», радикализм которой, как известно, вызвал возражения Герцена, выступившего в «Колоколе» со статьей «Very dangerous!!!». В стихотворении «Наш демон» Добролюбов, подчеркивая неприятие либеральной публицистикой пафоса своих выступлений, клеймил себя устами ее представителя. Стихотворение, открывавшееся незначительно измененной начальной строкой пушкинского стихотворения, наполнялось далее актуальным для России конца 50-х годов содержанием:

В те дни, когда нам было ново  
 Значенье правды и добра  
 И обличительное слово  
 Лилось из каждого пера;  
 Когда Россия с умиленьем  
 Внимала звукам Щедрина  
 И рассуждала с увлеченьем,  
 Полезна палка иль вредна  
 < . . . . . >  
 В те дни, исполнен скептицизма,  
 Злой дух какой-то нам предстал  
 И новым именем *трюизма*  
 Святыню нашу запятнал.  
 < . . . . . >  
 На все возвышенное клейма  
 Какой-то пошлости он клал.  
 Весь наш прогресс, всю нашу гласность,  
 Гром обличительных статей,  
 И публицистов наших страстность,  
 И даже самый «Атеней», —  
 Все жертвой грубого глумленья  
 Соделал желчный этот бес,  
 Бес отрицающа, бес сомнюща,  
 Бес, отвергающий прогресс.

Уже после смерти Добролюбова это стихотворение как широко известное цитировал в «Современнике» М. А. Антонович. «Вспомните того демона, — писал он в статье «Литературный кризис», не называя имени Добролюбова, — который на все возвышенное в литературе клал клейма пошлости, Громекой не был увлечен, не верил экономистам, не оценил Розенгейма, одним словом,

Весь наш прогресс, всю нашу гласность,  
 Гром обличительных статей,  
 И публицистов наших страстность,  
 И даже самый «Атеней», —  
 Все жертвой грубого глумленья  
 Соделал желчный этот бес,  
 Бес отрицающа, бес сомнюща,  
 Бес, отвергающий прогресс.

Тогда эти насмешки, — писал далее Антонович, — действительно многим казались неосновательным глумлением; в них видели пустой скептицизм, как следствие неверия во все возвышенное, и неблагородное желание охладить благороднейшие порывы. А теперь, прочтите прежние, с адской силой написанные статьи разных господ, сличите их с тем, что они говорили в недавнее время и говорят в настоящую минуту, — и вы почувствуете невольное уважение к памяти людей, которые глумились над этими статьями и у которых, стало быть, было верное чутье и инстинкт истины, угадывавший сразу фразистое лицемерие».<sup>1</sup>

Статья Антоновича появилась в возобновленном после восьмимесячного правительственного запрещения январско-февральском номере «Современника», памятном для Достоевского рядом полемических выпадов как в адрес редактируемого им «Времени», так и в его личный. Они содержались и в щедринской хронике «Наша общественная жизнь», и в «Кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев» Антоновича, и во «Внутреннем обозрении» Г. З. Елисеева, и в рецензии Щедрина на «Литературную подпись» А. Скавронского, которая стала исходным моментом долгой и острой полемики Щедрина с Достоевским.

Процитированные в статье Антоновича стихи Добролюбова Достоевский в контексте журнального номера мог воспринимать уже как прямо идеологически враждебную декларацию, — обстоятельство, на наш взгляд, существенно подкрепляющее предположение о возможной роли стихотворения Добролюбова в возникновении заглавия романа Достоевского. В свете же этого предположения полемический смысл обретает и предпосланный роману пушкинский эпиграф. В нем как бы заключен своего рода косвенный протест против поэтической вольности Добролюбова, метафорически определен характер отношения великого поэта к представителям того социального движения, с которым полемизировал и боролся Достоевский своим романом.

Элемент полемики заключен и в предпосланном роману библейском эпиграфе, смысл которого Достоевский разъяснял в цитированном выше письме к А. Н. Майкову. Идеолог анархизма Прудон в своей ранней работе-манифесте «Что такое собственность?», знакомой Достоевскому еще по кружку Петрашевского, провозглашал: «Что касается меня, я поклялся и останусь верен своему разрушительному делу, буду искать истину на развалинах (старого строя). Я ненавижу половинчатую работу; и вы можете мне верить, читатель: если я осмеливался занести руку на ковчег завета, я не ограничусь уже только тем, что сниму с него крышку. Надо развенчать таинства святая святых несправедливости, разбить скрижали старого завета и бросить все предметы старого культа на съедение свиньям».<sup>2</sup> Эта яркая своей образной бескомпромиссностью программа, возможно, в первую очередь и

<sup>1</sup> Современник, 1863. № 1—2, отд. II, с. 89—90.

<sup>2</sup> Прудон П.-Ж. Что такое собственность? Лейпциг—СПб., 1907, с. 140.

предопределила появление библейского эпитафия в романе Достоевского.

Однако говорить о прямой полемике Достоевского с Добролюбовым и Прудонем едва ли правомерно. Утратив свою актуальность, эта конкретная полемика в значительной мере утратила и свой смысл. К тому же — и это главное — Достоевский стремился к широкой философской огласовке заглавия и эпитафиев романа. А потому, учитывая приводимые выше факты, следует, по-видимому, говорить скорее не о полемической направленности, но о полемическом происхождении заглавия и эпитафиев романа.

Н. С. Никитина

### О НЕУЧТЕННОЙ ПАРОДИИ НА И. С. ТУРГЕНЕВА

Как установлено А. С. Долининым, объектом пародирования в «Бесах» был целый ряд тургеневских произведений — прежде всего «Довольно» и «Казнь Тропмана», а также «Призраки», «Стук-стук», «По поводу „Отцов и детей“». <sup>1</sup> Однако этот перечень не может считаться исчерпывающим: «присутствие» Тургенева в романе столь ощутимо, что возможно обнаружение еще целого ряда «парафраз», в том числе и на темы достаточно широко известных произведений. Приведу пример.

В главе «Петр Степанович в хлопотах» описана, в частности, встреча младшего Верховенского с фон Лембке и достаточно подробно изложено содержание романа, написанного губернатором. Вот что говорит Петр Степанович:

« — Две ночи сряду не спал по вашей милости. Третьего дня еще отыскиали, а я удержал, всё читал, днем-то некогда, так я по ночам. Ну-с, и — недоволен: мысль не моя. Да наплевать, однако, критиком никогда не бывал, но — оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен! Четвертая и пятая главы это... это... это... черт знает что такое! И сколько юмору у вас напихано, лохотал. Как вы, однако ж, умеете поднять на смех sans que ssa paraisse! <sup>2</sup> Ну, там в девятой, десятой, это все про любовь, не мое дело; эффектно, однако; за письмом Игренева чуть не занюбил, хотя вы его так тонко выставили... Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы фальшивым боком хотите выставить, ведь так? Угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы что проводите? Ведь это то же прежнее обоготворение семейного счастья, приумножения детей, капиталов, стали жить-поживать да добра наживать, по-

<sup>1</sup> Долинин А. С. Тургенев в «Бесах». — В кн.: Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л., 1925, с. 117—136.

<sup>2</sup> Не подавая вида (*франц.*).

милуйте! Читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог, да ведь тем сквернее» (10, 271).

Казалось бы, зачем потребовалось Достоевскому столь детально описывать «книгу жизни» губернатора? Потому, что автор столь же подробен и при описании его «театральных» поделок? Думается, что здесь преследовалась иная цель. И «ключом» к пониманию эпизода является умышленно названный персонаж — «Игреньев». Фамилия образована от «игрений», т. е. «рыжий», и, следовательно, синонимична к более известной литературной фамилии — «Рудин».<sup>3</sup> Если же перечесть эпизод под таким углом зрения, то легко обнаруживается прямая перекличка с романом Тургенева. В частности, письмо «Игреньева» — не что иное, как прощальное письмо Рудина к Наталье, заставившее плакать обоих (кстати, об их любви говорится как раз в девятой—одиннадцатой главах; в одиннадцатой приведен текст письма). В третьей—четвертой главах излагаются взгляды Рудина, которые могли рассмешить Верховенского (в том числе о вреде «всеобщего и полного» отрицания, т. е. нигилизма). Есть здесь и «обоготворение семейного счастья»: Лежнев женится на Александре Павловне, Волынцев — на Наталье. Наконец, оценки «романа» и позиции «автора» соответствуют известной части критических суждений об оригинале.

М. Д. Эльзон

#### «БОБОК»

«Литератор», от лица которого ведется повествование в рассказе «Бобок», рассуждая «насчет помешательства», приводит в подкрепление своих иронических выводов «испанскую острогу»: «Припоминается мне испанская острога, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: „Они заперли всех своих дураков в особый дом, чтобы уверить, что сами они люди умные“. Оно и впрямь: тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь» (21, 42—43).

Герою, мечтающему «вольтеровы бонмо <...> собрать», «припомнились» «Персидские письма» Шарля-Луи Монтескье. В «Письме LXXVIII» (Рика к Узбеку в \*\*\*) содержится язвительное описание нравов и обычаев Испании глазами проживающего там француза. В конце письма Рика сочиняет за путешествующего по Франции испанца начало памфлетного послания: «Здесь есть дом, куда сажают сумасшедших. Можно бы

---

<sup>3</sup> См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 2. СПб.—М., 1881, с. 8; т. 4. СПб.—М., 1882, с. 108. Напомню гоголевского пасечника «Рудого» («рыжего») Пацька.

предположить, что он самый большой в городе. Нет, лекарство слишком слабо в сравнении с болезнью. Несомненно, французы, пользующиеся очень дурной славой у соседей, для того запирают нескольких сумасшедших в особый дом, чтобы создать впечатление, будто те, кто находится вне этого дома, не сумасшедшие» (Монтескье Ш.-Л. Персидские письма. М., 1956, с. 195). Ранее, по вполне обоснованному предположению Е. И. Кийко, Достоевский воспользовался содержанием «Письма LI» в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (5, 58, 366).

*В. А. Туниманов*

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
В ЛЕНИНГРАДЕ (1971—1980)

11 января 1968 г. Исполнительный комитет Ленинградского городского совета депутатов трудящихся принял решение об открытии в помещении последней квартиры писателя (по адресу: дом № 5/2 на углу Кузнечного переулка и улицы Достоевского в Ленинграде) Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского. В конце того же года вышел приказ Управления культуры Ленгорсовета о создании музея.

13 ноября 1971 г., в дни, когда отмечался юбилей писателя (150 лет со дня рождения), вновь созданный музей был открыт. Дню этому предшествовала огромная подготовительная работа: еще в 1956 г. Управление культуры Ленгорсовета поставило перед ленинградскими городскими организациями и Министерством культуры РСФСР вопрос о необходимости создать Литературно-мемориальный музей Достоевского в Ленинграде. В связи с этим заведующий Отделом охраны памятников Управления культуры Б. Н. Калинин обратился в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР с просьбой составить для Отдела охраны подробную справку об адресах квартир, где Достоевский жил в разное время в Петербурге. Такая справка была составлена доктором филологических наук Г. М. Фридлиндером. Тогда же Б. Н. Калинин и Г. М. Фридлиндер пришли к выводу о целесообразности создать музей Достоевского в доме на углу Кузнечного переулка и улицы Достоевского. Здесь писатель прожил последние 2 года 4 месяца своей жизни (с октября 1878 по январь 1881 г.), здесь происходила основная работа его над романом «Братья Карамазовы» и здесь же он скончался 9 февраля (28 января) 1881 г.

«А. А. Прокофьев (как секретарь Ленинградского Союза писателей) и А. С. Бушмин (в качестве директора Пушкинского Дома) сочувственно отнеслись к этой идее и согласились совместно выступить в качестве инициаторов создания будущего музея», — вспоминает Г. М. Фридлиндер. За их подписями была составлена первая бумага с указанием о желательности открытия музея Достоевского в Ленинграде, адресованная в соответствующие партийные и государственные инстанции. Позднее, уже в 1960-х годах, в Пушкинском Доме в течение долгого времени



велись детальные деловые обсуждения проекта будущего музея. В них участвовал А. Ф. Достоевский (внук писателя), Б. Н. Калинин, Г. М. Фридлиндер, А. И. Хватов, Н. Н. Фоякова, а также архитекторы, принимавшие участие в разработке проекта. Последние вначале склонялись к мысли об ограничении музейных помещений двумя-тремя комнатами чисто мемориального характера. Однако вскоре архитектором Г. В. Пионтеком был выдвинут более обширный и смелый план, поддержанный Пушкинским Домом и положенный в основу окончательного проекта, одобренного Исполкомом Ленгорсовета.

Большую роль в практической работе по созданию музея сыграл его первый директор Борис Варфоломеевич Федоренко. Энтузиаст и хороший организатор, он вместе с небольшим коллективом молодых и сравнительно неопытных сотрудников, при постоянной поддержке Управления культуры Ленгорисполкома и коллектива ученых Ленинграда, сумел за весьма короткий срок подготовить музей к открытию.

Для этого прежде всего нужно было уточнить, какой вид дом имел в 70-годах XIX в., определить местоположение и размеры квартиры писателя, назначение отдельных ее комнат, ибо предстояло восстановить планировку квартиры — дом в 80-х годах XIX в. и в начале XX в. перестраивался. В Историческом архиве Ленинграда (ф. 513, дело № 5371) были найдены нужные чертежи дома, относящиеся к 1872 г. (часть дома видна и на рисунке 1881 г. В. Порфирьева «Похороны Достоевского»). Но о квартире сведений было мало. Известные литературные источники (вспоминания В. С. Соловьева и Н. Н. Страхова, А. С. Суворина, А. П. Милюкова и др., газетная хроника, рукописные материалы А. Г. Достоевской, хранящиеся в Институте русской литературы АН СССР) содержали лишь скудные сведения о характере последней квартиры Ф. М. Достоевского. Равным образом не содержали достаточно подробных данных и сохранившиеся в Государственном архиве Ленинградской области чертежи (планы и фасады) дома по Кузнечному переулку № 5/2. Удалось, правда, установить форму оконных рам, вид печей, характер покрытия полов (только в кабинете пол был паркетный, в остальных комнатах дощатый). Удалось восстановить и обои, близкие по рисунку к первоначальным. Со стен квартиры было снято до 20 слоев старых обоев и на газетах за 1878 г. — год переезда в этот дом писателя — были найдены фрагменты старых обоев. Художник Т. Н. Воронихина подготовила эскизы, по которым Ленинградская обойная фабрика сделала новые обои для квартиры Достоевского по образцу старых. В основе воссоздания мемориала были архивные, печатные, фотографические и рукописные источники. Часто при воссоздании мемориальных помещений приходилось прибегать также и к аналогиям.

Исключение составлял кабинет Достоевского. До нас дошли две фотографии его, сделанные после смерти писателя по заказу А. Г. Достоевской фотографом В. Таубе, и гравюра, созданная по

одной из них. Именно кабинет и стал основой мемориальной части музея. «В нем ощущается, — по отзывам посетителей, — присутствие хозяина». Типологически близкие вещи (в основном мебель) органически сочетаются в помещении кабинета с тем, что находилось здесь при жизни Достоевского: личными вещами на письменном столе, кашлетром и деревянной рамкой с портретом Достоевского над столом, иконой и подлампадником — в углу. На столе и этажерке — книги и журналы, изданные при жизни писателя.

В письме В. А. Савостьяновой (племянницы Достоевского), хранящемся в Пушкинском Доме, есть зарисовка уголка гостиной: овальный стол перед небольшим диваном в окружении кресел и стульев. Для того чтобы воссоздать и эту гостиную и всю квартиру в целом, нужно было тщательнейшим образом изучить вкус, привычки, образ жизни хозяев, интересы Достоевского в последние годы жизни, круг общения писателя. Надо было разыскать необходимые вещи, подобные тем, которые могли быть у писателя. А это требовало досконального изучения быта эпохи.

В поисках материалов о квартире Достоевского Б. В. Федоренко много поработал в Архиве Октябрьской революции и социалистического строительства, изучая материалы Петроградского отделения Главнауки, Управления государственных музейных фондов, материалы Отдела охраны, учета и регистрации памятников искусства и старины, музея Шереметевых, Петроградского ломбарда; в Ленинградском областном архиве (г. Выборг) — материалы Петроградского ломбарда, отдела национализированных складов, Петроградской чрезвычайной учетной комиссии и др. Дело в том, что А. Г. Достоевская, выезжая из Петербурга, сдавала вещи на хранение в склады-сейфы на Новгородской улице. В 1918 г. эти склады были вскрыты и национализированы, а хранящиеся в них вещи и документы, представляющие музейную и научную ценность, переданы для хранения в различные музейные и архивные учреждения. Однако долгие поиски в архивах адресов поступления переданных из указанных сейфов вещей пока не увенчались успехом.

Многие личные вещи Достоевского после смерти писателя были переданы его вдовой в Исторический музей в Москве. Позднее они составили основу московского Музея-квартиры Ф. М. Достоевского. Кое-что из личных вещей писателя было передано из Москвы Ленинградскому музею, изготовлена гипсовая копия письменного прибора, стоявшего в петербургской квартире, муляж ручки, которой писал Достоевский. Часть личных вещей Достоевского получил новый музей и из Пушкинского Дома. Несколько принадлежавших писателю предметов и большое количество книг завещал музею внук писателя А. Ф. Достоевский, много сделавший для увековечения его памяти. Некоторые вещи поступили в музей от правнука писателя — Дмитрия Андреевича Достоевского и от внучатой его племянницы М. В. Савостьяновой. Помимо вещей семьи Достоевских она передала в дар музею

большую библиотеку, где были собраны редкие, прижизненные издания Достоевского и других классиков русской литературы. Создавать музей Достоевского в Ленинграде помогали многие музеи: Русский музей, Музей истории Ленинграда, Литературный музей Пушкинского Дома, Музей изобразительных искусств, Государственный Литературный музей, Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Музей-квартира Н. А. Некрасова, Музей истории религии и атеизма, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Музей этнографии народов СССР, Государственный краеведческий музей в г. Красноярске, Государственный областной краеведческий музей в г. Тобольске, Государственный Исторический музей и др. Во всех этих музеях научными сотрудниками музея Ф. М. Достоевского изучались фонды и отбирались материалы, нужные для оформления мемориальной части и литературной экспозиции.

Музей Достоевского был задуман не просто как новый литературный музей. Он создавался как музей и вместе с тем как научно-исследовательский центр. И с первых же дней существования музей получал действенную помощь от учебных и научных учреждений Ленинграда, и прежде всего Пушкинского Дома. В состав ученого совета музея (помимо его научных сотрудников и директора) вошли представители других музеев, Главного управления культуры Ленгорисполкома, а также ряд ленинградских ученых: Г. А. Бялый, Б. И. Бурсов, Я. С. Билинкус, Б. Ф. Егоров, Д. Е. Максимов, Н. И. Пруцков, Г. М. Фридлендер. Существенную помощь в работе музея постоянно оказывали и продолжают оказывать также дирекция Пушкинского Дома во главе с А. С. Бушминым и Ленинградская писательская организация.

В ходе подготовки к созданию первой экспозиции музея были изучены материалы фондов ряда научных учреждений, архивов. Это позволило разыскать новые сведения и документы о жизни, творчестве и окружении писателя. Были систематически обследованы рукописные материалы и документы в архивах Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Государственной Библиотеки им. В. И. Ленина, Центрального гос. архива литературы и искусства, Центрального гос. исторического архива Ленинграда, Центрального гос. исторического архива Москвы, Центрального гос. военно-исторического архива СССР, Центрального гос. архива кинодокументов СССР, Гос. архива Тюменской области (г. Тобольск) и др. В архиве Омской области был найден ценный документальный материал, относящийся к положению омских каторжан в 1850—1853 гг. Были обследованы фонды и ряда музеев, в том числе Минусинского областного краеведческого музея им. Мартыанова, Шушенского музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина» и др. В рукописном отделе ГБЛ были отобраны материалы для микрофильмирования рукописей романов «Бесы» и «Подросток». В ЦГАЛИ было также проведено микрофильмирование рукописей писателя.

Найденные в ЦГВИА (ф. 312, оп. 2, № 1280 и 1980) статейные списки об арестантах Омской крепости, препровождавшиеся омским комендантом инспектору по инженерной части, содержат, кроме имен арестованных, точное описание примет каждого, сведения о месте рождения преступника и целый ряд других сведений о нем. Найденные документы позволили сделать выводы о численности и составе арестантов Омской крепости. Они использованы в комментариях к IV тому Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского.

Б. В. Федоренко не только сам разыскивал материалы для музея, но и руководил научным поиском сотрудников. Обнаруженные И. Ю. Улановской материалы дали новые сведения о биографии друга Достоевского — казахского просветителя Ч. Валиханова. Ею же были обнаружены неизвестные письма петрашевца Н. А. Спешнева.

Одновременно создавалась музейная библиотека, которая насчитывает сегодня 8000 единиц хранения. Главные источники пополнения книжного фонда музея — это коллектор массовых библиотек, отдел комплектования для библиотек «Академкниги», магазины старой книги, обменный фонд Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и различные дары. Работа по пополнению книжного фонда библиотеки продолжается по сей день.

Среди книг, поступивших в библиотеку музея, можно выделить издания особо ценные по своей редкости, уникальности и значению для работы музея. Это прежде всего почти все прижизненные издания сочинений Достоевского (из них три книги с автографами Достоевского). Представлены в библиотеке и последующие издания сочинений и писем Достоевского, вышедшие в XIX и начале XX в., а также издания советского периода на русском языке и языках других народов СССР, произведения Достоевского, изданные за рубежом (в основном подарки зарубежных ученых и гостей музея), в том числе собрание сочинений Ф. М. Достоевского в 21 томе на японском языке — дар семьи покойного переводчика Ионекава.

В библиотеке богато представлены и произведения русских писателей — современников Достоевского (прижизненные и последующие издания): басни Крылова с иллюстрациями К. Трутовского, сочинения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Л. Толстого, Лескова, Помяловского, А. Майкова, А. Кони (с автографами) и др. В музее хранится и мемуарная литература об эпохе Достоевского, литературоведческие исследования, а также книги по искусству и философии, произведения зарубежных исследователей о Достоевском.

В музейной экспозиции в настоящее время выставлено более 800 книг, в историко-литературной части экспонируются 353 книги, основная их масса выставлена в V экспозиционном зале «Достоевский и современность». В квартире писателя, в шка-

фах кабинета, а также в других комнатах имеется более 400 книг.

В архиве музея собраны фотографии с автографами Ф. М. Достоевского, А. Н. Майкова, И. С. Тургенева, В. А. Соллогуба. Свой архив подарил музею старейший краевед Омска А. Ф. Палашенков. Немало ценных материалов передала в музейный архив уже упомянутая выше М. В. Савостьянова. Большой интерес представляют письма (10 единиц) друга семьи Достоевских по Старой Руссе священника И. И. Румянцева к дочери Софье с упоминанием о членах семьи писателя, а также фотографии членов семьи И. И. Румянцева, о которых имеются упоминания в переписке Достоевского с женой.

В музее хранятся и бумаги, написанные рукой А. Г. Достоевской, автографы ряда современников писателя, внука Достоевского Андрея Федоровича. Особый интерес представляет обширный архив Александра Устиновича Порецкого, переданный музею Екатериной Сергеевной Порецкой. Здесь выявлены два письма А. И. Шуберт А. У. Порецкому, установлена датировка для писем С. Д. Яновского А. У. Порецкому. В некоторых из них содержатся упоминания имени Ф. М. Достоевского. Сопоставлены с первыми изданиями поступившие от Е. С. Порецкой тексты рукописей А. Н. Майкова: «Ода Державину», стихотворение «Тотлебену», поэмы «Три смерти» и «Савонаролла» (рукописи нигде ранее не публиковались). Работа над архивом А. У. Порецкого продолжается по сей день. В архиве 114 писем А. П. Нордштейна А. У. Порецкому и 8 писем членов семьи Нордштейн тому же адресату. Разобраны материалы архива газеты «Воскресный досуг» и подготовлена к публикации их опись.

Особый интерес представляют не попадавший до сих пор в сферу научного изучения список письма Белинского к Гоголю и литографированное издание «Развязки „Ревизора“».

С первого же года существования музея стало традицией проводить в нем научные заседания с участием видных литературоведов. Обязательным стало проведение представительных конференций или научных заседаний в ноябре, посвященных дню рождения Достоевского. На первом таком заседании, проходившем 11 ноября 1972 г. и посвященном 151-й годовщине со дня рождения писателя, был прочитан доклад «Новое в науке о Достоевском» — докладчик Г. М. Фридлендер. В том же году было проведено и первое заседание, посвященное одному из старейших советских исследователей творчества Достоевского — А. С. Долинину. Доклад «Научные интересы А. С. Долинина» сделал проф. Г. А. Бялый, сообщение «А. С. Долинин в работе над рукописями Ф. М. Достоевского» — научный сотрудник ИМЛИ Л. М. Розенблюм, «А. С. Долинин — учитель и педагог» — научный сотрудник ИРЛИ И. А. Битюгова. Был проведен также вечер, посвященный памяти М. М. Бахтина, с участием литературоведов Москвы, Ленинграда и Саранска.

В 1973 г. Б. В. Федоренко на посту директора Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского сменила Бэла Нуриевна Рыбалко, при которой уже сложившиеся к этому времени традиции музея получили дальнейшее развитие. Юбилейные заседания, посвященные дню рождения писателя, «переросли» в систематически проводимые ныне чтения с несколькими научными заседаниями. В них принимают участие видные ученые, филологи и философы из различных городов страны (Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Владимира, Харькова, Архангельска, Петрозаводска, Воронежа, Саранска, Свердловска, Уфы, Тобольска, Тюмени и т. д.). Особый интерес на чтениях вызывают выступления, посвященные художественному методу Достоевского, структуре его повествования, композиции романов, проблеме жанра, принципам изображения человека и внешнего мира, публицистике писателя, влиянию творчества Достоевского на русскую, советскую и зарубежную культуру.

Непременными участниками чтений являются сотрудники группы по подготовке Полного собрания сочинений Достоевского и другие ученые ИРЛИ АН СССР — Г. М. Фридлендер, В. А. Туниманов, Е. И. Кийко, Н. Ф. Буданова, В. Е. Ветловская, А. В. Архипова и др. Активное участие в чтениях принимали также Ю. Ф. Карякин, Р. Г. Назиров, Л. К. Долгополов, И. Л. Волгин, В. А. Свительский, А. А. Долинин, А. А. Жук и сотрудники музея — Н. Т. Ашимбаева, И. Ю. Улановская, К. А. Баршт и др.

Специальное юбилейное торжественное научное заседание 22 ноября 1977 г. — «Россия В. И. Ленина — Россия русской классической литературы» — было посвящено вопросу о сохранении и развитии культурных традиций в нашей стране за 60 лет Советской власти. Академик А. С. Бушмин прочитал на этом заседании доклад на тему «Октябрь и культура», Н. И. Прудков — «Эпоха подготовки революции и русская литература XIX века». Доклад В. А. Туниманова был посвящен некоторым аспектам статьи В. И. Ленина «Памяти Герцена». Г. М. Фридлендер в своем докладе осветил ход изучения творчества Достоевского за 60 лет развития советской науки.

И сегодня сотрудники музея не прекращают свой научный поиск. За последние четыре года ими были обнаружены и зафиксированы четыре ранее неизвестных автографа Ф. М. Достоевского — дарственные надписи на двух книгах и двух фотографий. Эти находки заставили пристальнее взглянуть в личности адресатов надписей, помогли внести коррективы в комментарии к переписке Достоевского с женой и в летопись жизни Достоевского. Образ хорошо знакомого человека, преломленный творческим воображением писателя, мог послужить импульсом к созданию образа героя или персонажа его произведений.

Два автографа писателя на книгах посвящены старорусскому другу Достоевских Ивану Ивановичу Румянцеву. «Доброму другу отцу Иоанну от автора», — написано на титульном листе романа

«Подросток»; «Дорогому человеку Ивану Ивановичу Румянцеву от автора», — говорит дарственная надпись на издании «Дневника писателя» за 1880 г. Прежде всего бросился в глаза светский характер последнего автографа, говорящий о симпатии Достоевского к личности Румянцева. В недавно найденном черновике одного из писем А. Г. Достоевской имеются такие строки: «Я знаю о. Иоанна Румянцева более 23 лет, видала его в самых разнообразных обстоятельствах жизни и вынесла убеждение, что это один из честнейших и благороднейших характеров, человек бескорыстный, в высшей степени добрый и милосердный, нетерпящий неправды и благодаря своей всегдашней искренности нашедший много врагов» (ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 238).

Благодаря недавним разысканиям, толчок к которым дало обнаружение этих дарственных надписей, удалось выяснить, какие еще книги с автографами Достоевского могли быть у И. И. Румянцева. «... наверно Вы будете в претензии, — пишет Румянецв А. Г. Достоевской, имея в виду передачу книг в библиотеку старорусской школы им. Ф. М. Достоевского, которой он заведовал, — что передаю и подаренные Вами сочинения Федора Михайловича, у меня есть книги с надписью Федора Михайловича почти все — и они останутся моему потомству» (ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 208).

Полученные музеем книги хранились у потомков И. И. Румянцева в Свердловске. Правнучка Румянцева Е. Б. Белова передала музею и письма прадеда, и семейные фотографии, и целый ряд предметов быта эпохи Достоевского, столь нужные для музея, среди них и старинный сюртук, принадлежавший некогда А. А. Рудину (муж Е. Б. Беловой был потомком А. А. Рудина — также знакомого Достоевского по Старой Руссе).

Сообщения об обнаружении этих дарственных надписей были опубликованы в «Ленинградской правде» от 24 декабря 1977 г. (№ 298) — заметка «Автографы Достоевского» и в «Литературной России» от 27 января 1978 г. (№ 4) — статья «Неизвестные автографы Достоевского».

Научным сотрудником музея Н. В. Черновой в музее И. П. Павлова был обнаружен и затем опубликован автограф Ф. М. Достоевского на фотографии, подаренной невесте И. П. Павлова С. В. Карчевской: «Г-же Карчевской на память от Ф. М. Достоевского». На фотографии нет даты, но из воспоминаний С. В. Павловой-Карчевской видно, что подарена она была юной слушательнице женских курсов в конце декабря 1879 — начале января 1880 г. (см. статью Н. Черновой об этой находке «Подарок Достоевского» в «Литературной России» от 15 июня 1979 г. (№ 24)).

В журнале «В мире книг» № 8 за 1979 г. была опубликована статья сотрудников музея Г. Боград и Н. Черновой «Девятый автограф», где речь идет о дарственной надписи Ф. М. Достоевского на его фотографии, принадлежавшей Евстафию Савельевичу Федорову-Чмыхову, будущему журналисту, а в ту пору студенту

юридического факультета Петербургского университета. Приводим эту надпись: «Евстафию Савельевичу Федорову на память от Ф. М. Достоевского 16 декабря 80 год». Фотография поступила в музей от профессора Ленинградского гос. университета А. В. Федорова, племянника первого, рано скончавшегося владельца фотографии. Исследование обстоятельств, при которых фотография была подарена, помогает внести дополнение в летопись жизни писателя. Известно, что в этот день Достоевским была написана фотография еще одному студенту-юристу Якову Фаддеевичу Сахару, обнаруженная во Франции и опубликованная И. С. Зильберштейном.<sup>1</sup> Теперь, благодаря этим двум фотографиям, на наш взгляд, можно внести новую запись в летопись жизни писателя: «16 декабря 1880 года встретался со студентами».

Большая работа проводится научными сотрудниками музея по изучению рукописей Достоевского, в частности рисунков писателя на черновиках его произведений. Удалось частично их классифицировать: это изображения знакомых, исторических деятелей и писателей, элементы архитектуры (готической и древнерусской), иногда соединяющиеся между собой, крестоцветы, буквицы, изображения предполагаемых героев произведений.

Достоевский изображал и то, что его в данный момент поразило (изображение мальчика в тулупе на странице рукописи к роману «Подросток» ассоциируется с воспоминаниями А. Г. Достоевской о покупке тулупа для сына зимой 1874/75 г., т. е. в ту пору, когда Достоевский работал над «Подростком»), и портреты лиц, о которых он думал в это время (например, портреты Белинского, Вольтера и др.). Размышления о взаимоотношениях Запада и Востока непосредственно связаны с «архитектурными» рисунками.

О рисунках Достоевского были сделаны публикации сотрудником музея К. А. Барштом (см. газету «Литературная Россия» от 6 октября 1978 г. (№ 40) и журнал «В мире книг», № 7 за 1980 г.).

Ежемесячно в музее проводится реферирование журнальных статей о Достоевском, доклады научных сотрудников музея по произведениям Достоевского и об исследователях его творчества (Н. П. Анциферов, А. П. Скафтымов).

Одним из аспектов научной работы является популяризация творчества Достоевского. Разрабатываются новые маршруты экскурсий по местам Достоевского в городе. На примере топографии романа «Униженные и оскорбленные», установленной научным сотрудником Р. Г. Гальпериной, видно, как Достоевский «переносит» дома реально существовавших владельцев в другие районы города, «сдвигает» или «раздвигает» улицы. Эти исследования, на наш взгляд, помогают глубже постичь некоторые особенности художественного метода писателя.

<sup>1</sup> См.: Литературное наследство, т. 86. М., 1973, с. 145.



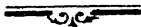
Научными сотрудниками музея Г. Л. Боград, Б. Н. Рыбалко, Е. М. Густановской подготовлен первый путеводитель по музею, изданный Лениздатом.

В 1979—1980 гг. музей оказал консультативную помощь «Леннаучфильму» и «Мосфильму» при создании двух документальных лент — «Федор Достоевский» (по заказу Центрального телевидения) и «Федор Достоевский. Штрихи к портрету», а также художественного фильма «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского».

Большой объем в общей работе музея занимает работа, связанная с совершенствованием и модернизацией его экспозиции.

Министерством культуры РСФСР в целях лучшей пропаганды представляемого музеем материала рекомендуется использовать аудиовизуальные средства, соединяя, таким образом, новейшие достижения различных отраслей науки. Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского первый в стране создал у себя силами Государственного оптического института им. С. И. Вавилова тематическую выставку голограмм, объемных оптических изображений, на которых представлены личные вещи писателя и вещи его семьи, находящиеся в основной экспозиции и фондах музея. Такая выставка дает возможность демонстрировать предметы, находящиеся в фондах или в других музеях. Установлен в музее и автоматический диапроектор, на экране которого можно увидеть цветные изображения памятных мест Достоевского в городе и прослушать сопроводительный текст на четырех языках (по выбору).

# НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



## НЕИЗДААННЫЕ ПИСЬМА К ДОСТОЕВСКОМУ

Настоящая публикация писем к Достоевскому продолжает серию публикаций, запланированную Редакцией академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского (см.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 250—270; Достоевский. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1974, с. 285—304; т. 2. Л., 1976, с. 297—392; т. 3. Л., 1978, с. 258—285; т. 4. Л., 1980, с. 240—254).

Тексты писем подготовлены и комментарии к ним составлены: А. И. Батюто («Один из Потугиных»), А. М. Березкиным (Е. А. Штанкеншнейдер), Т. И. Орнатской (Г. К. Градовский, Х. и А. М. Черницкая), Г. В. Степановой (Л. Х. Симонова-Хохрякова), И. Д. Якубович (Ф. Н. Берг).

### 1

#### Ф. Н. Берг — Достоевскому

8 июля 1861 г. Москва

Москва, 1861, июля 8.

Милостивый государь  
Федор Михайлович!

Честное слово, это не будет фразой, если я скажу Вам, что редко бываю так взволнован и изумлен, как вчера, получив письмо Платона Александровича,<sup>1</sup> в котором он описывает мне, как возмутила Вас моя статейка. Я надеюсь, что объяснения мои будут удовлетворительны, потому что мне предстоит говорить только правду. При тех чувствах самого искреннего и глубокого уважения, которое я к Вам питаю, при тех немногих и оставивших во мне приятное впечатление отношениях, в которых мы с Вами были, право, не может существовать и мысли об каких-нибудь намеках на Вас. Хотя у меня нет черновой несчастной статейки, но я как нарочно помню злополучные места, возбуждавшие недоразумение, и удивляюсь, как тут могли быть какие-нибудь недоразумения? Там стоит: *не может пустой фат, унижающий и оскорбляющий, быть поэтом «Униженных и оскорбленных»*. Но, Федор Михайлович, Вы же ведь и написали «Униженных и оскорбленных», значит нечего толковать о том, что *можно*,

когда уже это *есть* на деле. Виногато проклятое неуменье выражаться. Меня, ей-богу, оскорбляет уже эта мысль допустить возможность подобного намека. С какой стати? Откуда я мог какие сведения получить? Неужели можно такие вещи говорить с ветру, со слухов? Единственный человек, от которого я в последнее время слышал об Вас, это Платон Александрович — всё, что я от него слышал, могло только разве увеличить мое уважение к Вам и подтвердить впечатление, оставленное во мне нашим знакомством.

Но послушайте, Федор Михайлович, Вы, наконец, не признаете во мне здравого смысла или уж я не знаю, что и думать. Писать *клевету* и посылать ее для напечатания *оклеветанному* — что же это такое? А если не для напечатания, то кто же станет несколько рисковать, исписывать, трудиться, чтобы только сказать пустую фразу; *пустую*, если бы она хоть сколько-нибудь враждебно относилась к Вам. Но это не пустая фраза и относится к Вам только как выражение уважения. Это ведь все равно сказать, что не может быть похожем горькое сладким и выводить из этого оборота, что горькое — есть сладкое. Но, ей-богу, мне и то тут вот досадно и обидно, что приходится вдруг уверять Вас в моем уважении — и словно и скверно и я не знаю что! Меня так же бы изумило, если бы кто сердясь и серьезно стал бы мне доказывать, что я стихов не понимаю и к поэзии отвращение чувствую. Нет, это бы меня насмешило, а тут вовсе не до смеху.

Что же касается Григорьева — где я его *браню* хоть словом, хоть намеком? Там стоит, сколько я помню: «или веяние, по выражению г. Григорьева». Что же тут? Главное досадно, когда и мысли об этом не имеешь, а на тебя сердятся и говорят, что она есть. Это как цензор иногда найдет противозаконное там, где и не ждешь. Просто только руками разведешь.

Что касается книги Наума, она попалась мне случайно и уж я совсем не знал, что ее писал кн. Одоевский, которого я очень уважаю и многие сочинения его люблю. Мнение мое вызвано не лицом, а книгой.<sup>2</sup> Я помню, как в Обществе Любителей Российской словесности Иван Сергеевич Аксаков читал в статье своего брата о воспитании, что сказки дедушки Иринья пошлы и что он потому их и пишет, кажется, что сам находится в состоянии детства или что-то в этом роде. Неужели же Константин Сергеевич имеет что-нибудь личное против дедушки Иринья?<sup>3</sup> Я полагаю ничего, кроме того, что ему сказки не нравились.

Конечно, досадно, что труд хоть и маленький пропадет — но мне не впервой, я уж привык к этому, да и игра свеч не стоит. Если Вы не найдете возможным, хоть с оговорками от редакции и поправками, *какими Вам угодно*, не противоречущими мнениям статьи, напечатать ее, то прошу Вас передать ее Платону Александровичу. Об ней и покончено.<sup>4</sup> Я вообще не очень дорожу статьей *как статьей* и ее напечатанием. Очень жалко, что обстоятельства принуждают меня теперь дороже ценить себя, чем бы,

может быть, следовало, и просить например Михаила Михайловича хоть какую-нибудь плату пособратить за стихи. Три рубля со страницы, кажется назначенные Вами, меня удовлетворяют — все же это не ничего. Для меня нет теперь ничтожных сумм.<sup>5</sup>

Верьте, Федор Михайлович, что все это написано потому, что я не мог не написать. Честное благородное слово, у меня не было никакой, даже самой отдаленной мысли об каких-нибудь намеках. Я до тех пор не успокоюсь, пока не получу ответа на это письмо. Ради бога, хоть двумя словами успокойте меня, уверьте, что нет теперь никаких недоразумений, что я виноват только в неумении выражаться. Бог с ней, со статьей. Еще раз прошу Вас, Федор Михайлович, ради бога, хоть двумя словами ответить мне поскорей, потому что я скоро уеду из Москвы.<sup>6</sup> Вам это может неважно, но мне крайне тяжело и неприятно. Пожалуйста же, Федор Михайлович.

Искренно и глубоко Вам преданный

Ф. Берг.

Адрес мой: На Патриарших прудах, д<sup>ом</sup> Задворного в Егорьевском переулке, Фед<sup>ору</sup> Николаевичу Бергу. Насчет стихотворения «Деревня», если оно все же пойдет, то озаглавьте «Отрывок» или как найдете лучше.<sup>7</sup> Поправок за хлопотами сообщить не могу. А жаль, потому что, прямо говоря, мне хочется, чтоб это стихотворение было напечатано.

Печатается по подлиннику: ГБЛ, ф. 93, П.1.84.

Берг Федор Николаевич (1840—1909) — поэт, писатель, журналист, переводчик. По окончании воронежского кадетского корпуса некоторое время служил офицером. Литературную деятельность начал в 1868 г. стихотворением, посвященным А. Н. Плещееву и напечатанным в «Современнике». Сотрудничал также в «Светоче» и «Иллюстрации». Совместно с В. Костомаровым издал сборники переводов (Сборник стихов иностранных поэтов. М., 1860 и 1862; Поэты всех времен и народов. СПб., 1862). В 1861 г. вышла «Детская книжка» А. Плещеева и Ф. Берга. Плещеев же рекомендовал его в журнал «Время», где он за 1861—1863 гг. опубликовал двадцать пять стихотворений (см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972, с. 218—219). П. В. Быков вспоминал о встрече с Бергом в редакции «Времени»: «Федор Берг, высокий человек, напоминавший верстовой столб, с русской, слегка вьющейся шевелюрой, под пиджаком, достаточно потертым, носивший красную кумачевую косоворотку, как символ свободы» (Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. Л., 1930, с. 51).

В 1870-е годы Берг как прозаик печатался в «Заре», «Русском слове», «Гражданине», позднее редактировал журналы «Нива», «Русский вестник», «День». См. о нем: Поэты 1860-х годов. Л., 1968, с. 553—555.

Публикуемые два письма Берга являются прямым комментарием к письму Достоевского к нему от 12 июля 1861 г. и дополнительно характеризуют Достоевского как редактора журнала «Время».

<sup>1</sup> Платон Александрович Кусков (1834—1909) — поэт, печатался в «Современнике». С начала издания «Времени», будучи в дружеских отношениях с Н. Н. Страховым, был привлечен им к активному сотрудничеству в этом журнале (см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», с. 214).

<sup>2</sup> В 1840-е годы В. Ф. Одоевский, сблизившись с М. А. Максимовичем и будучи редактором «Сельского обозрения», выпустил вместе с А. П. За-

блочким-Десятовским четыре книги «Сельского чтения» (1843—1867). В одной из них имеется статья «Что крестьянин Наум твердил своим детям, наставляя их на добро», где, явившись перед читателями в образе умного бывалого крестьянина Наума, любящего давать наставления, Одоевский как бы продолжил восхитившую его в свое время, написанную М. А. Максимовичем «Книгу Наума о великом божьем мире» (1834).

<sup>3</sup> «Сказки дедушки Ириней» В. Ф. Одоевского входили в сборник «Пестрые сказки с красным словом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, изданные В. Безгласным» (1833). Сказки были высоко оценены критикой. Так, В. Г. Белинский писал: «Есть в нашей литературе какой-то г. Безгласный и какой-то дедушка Ириней, люди совсем не идеальные, люди слишком глубоко проникнувшие в жизнь действительную и верно воспроизводящие ее в своих поэтических очерках» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I. М., 1950, с. 276). Во 2-й, 3-й и 4-й книгах «Сельского чтения» (см. примеч. 2) Одоевского, воспользовавшись своим прославленным псевдонимом, выступает в роли деревенского мужика-грамотея, бывалого, благородного крестьянина Ириней. Эти просветительские по своему характеру книги были отрицательно восприняты славянофильской критикой (см.: Тарасов Д. Ф. Народные и учебные книги В. Ф. Одоевского. — Учен. зап. Коломенского пед. ин-та, 1961, т. V, с. 89—92).

<sup>4</sup> Достоевский в ответном письме подробно излагает свое мнение о статье Берга и аргументирует невозможность ее полной публикации. Статья даже в сокращенном виде во «Времени» не появилась (см.: II, IV, 268—269).

<sup>5</sup> В редакционной книге журнала «Время» значится, что Ф. Н. Бергу 26 июля было выплачено 15 рублей (ГБЛ, ф. 93.3.22, с. 5).

<sup>6</sup> Достоевский сразу же ответил Бергу (II, IV, 268—269) и извинился за неправильно понятый отзыв о себе.

<sup>7</sup> Стихотворение «Деревня» было опубликовано в сентябрьском номере «Времени» (1861, № 9, с. 115—116) с заголовком «Из стихотворения „Деревня“».

## 2

Ф. Н. Берг — Достоевскому

20 июля 1861 г. Москва

Июля 20. 1861. Москва.

Ну очень, очень рад, добрейший Федор Михайлович, что всё так кончилось; а то я нивесть что передумал. Спешу отвечать Вам. Простите, если вздор напишется как-нибудь. Видите, я перемению квартиру, — переезжаю к черту на кулички — сиречь на Старую Басманную, близь 2-й гимназии, дом Клуга, кв. Красенинникова, куда и адресуйте, когда случится писать.

Хлопот гибель и потому не до статей и стихов и прошу Вас насчет статьи: печатайте *как хотите*, только печатайте — мне деньги дозарезу нужны. Нельзя ли заметку от редакции под книгой Наума? А нельзя, так всё и *черкайте*, пожалуйста. Вы говорите, что статья моя *гимназическая*, но я, право же, этим не обижаюсь, потому что *так* я думаю и нисколько мне не совестно, если у меня будут единомышленники между гимназистами.<sup>1</sup> Я не совещусь быть согласным хотя бы с Аскоченским, если он что-нибудь такое выскажет, что дельно мне покажется. А я призна-

юсь: мне омерзительно это *шпынянье* — вот-де ты, — бов, согласен, с А—ским! Как мол не стыдно! Ну что ж тут такого? Ну да, согласен. Как будто тому человеческой мысли не может прийти в голову?<sup>2</sup> Простите, бога ради, если я и тут не хорошо сказал, но так я думаю. Насчет же стихотворения я не понял, зачем вы хотите изменить.<sup>3</sup> Мне кажется — именно этот стих выражает что следует. Заметьте, Пушкин говорит: Молчи..., т. е. негодует, зачем народ говорит и говорит в смысле *толпы* вообще, а не простолюдинов. А мой *лукавый раб* сообщает, что вот мол народ гадкий не может даже революцийки произвести, *молчит*. Замечательно, что он же сердцем не хочет часто, чтобы она была — кому резня приятна! И сам бы не участвовал... Это Н. Ф. Павлов западно негодовал, что манифест тихо прошел, хоть бы, говорит, пошумнее...<sup>4</sup>

Простите мою болтовню. Ах как деньги нужны! Вот, то есть ничего-то нет! Это между нами впрочем. Прощайте. Будьте здоровы.  
Весь Ваш Ф. Берг.

Ах, да! Я скоро кончу «Два раза встретились», рассказ. Нет, впрочем, не рассказ, а так, черт знает что такое. Прикажете прислать? Дай бог кончить, да за хлопотами, право, уж не знаю. Чуть не забыл, в строчке, кот<орую> Вы хотели изменить, именно характеристично *презрение либералов к народу*. Но, ради бога, не *подавленный*. Это так напоминает пошлые <?> рукописные вещи начала 50-х годов. Вообще я против изменения. Но уж лучше *безжизненный*,<sup>a</sup> хоть это не выражает того, что я хотел сказать.

Нельзя ли в выноске прибавить, что «по разным обстоятельствам Вы не могли напечатать всей статьи г. Берга» или что-нибудь в этом роде. Пожалуйста! Извините, что делаю много шума из пустяков...

Печатается по подлиннику: ГБЛ, ф. 93, II.1.84.

<sup>1</sup> В письме Достоевского от 12 июля 1861 г., ответом на которое является это письмо Берга, нет оценки статьи как «гимназической». Напротив, Достоевский пишет: «Основная мысль Вашей статьи прекрасная, и мы с ней совершенно согласны». Но далее он обосновывает невозможность ее публикации во «Времени». Заключает Достоевский письмо фразой: «На все остальное в Вашем письме, требующее ответа, ответит вам брат» (II, IV, 268—269). Вероятно, «гимназической» назвал статью М. М. Достоевский в не дошедшем до нас письме к Бергу.

<sup>2</sup> Аскочевский Виктор Ипатьевич (1813—1879) — писатель и публицист. С 1858 г. издавал еженедельную газету «Домашняя беседа», прославившуюся своим крайним обскурантизмом. Аскочевский яростно нападал здесь на науку, просвещение и всякое прогрессивное движение в общественной жизни. Тем не менее некоторые публицистические статьи его не лишены иногда едкого сарказма и остроумия.

<sup>3</sup> Берг поясняет смысл своего стихотворения «Ты их ведь знал...», в котором Достоевский предлагает изменить строчку «Молчит бессмысленный народ» на «униженный» или «подавленный». Стихотворение было

<sup>a</sup> Было: униженный.

опубликовано в июльском номере «Времени» без изменений (Время, 1861, № 7, с. 316).

<sup>4</sup> Павлов Николай Филиппович (1804—1864) — писатель. Типичный либерал, западник, он доказывал в 50-х годах необходимость проведения реформ и «обновления» жизни «сверху». С восторгом приветствовал манифест 19 февраля в своей газете «Наше время», сосредоточивая внимание на сценах «великой радости» крестьян, их благодарений богу и императору. См.: Вильчинский В. П. Н. Ф. Павлов. Жизнь и творчество. Л., 1970, с. 149—150.

### 3

## Х. — Достоевскому

*Около 17 декабря 1861 г. Петербург*

### Милостивый государь.

Позвольте обратить Ваше внимание на один предмет, о котором литературе уже давно следовало бы говорить, но о котором до сих пор, сколько мне известно, не было еще говорено, именно о телесном наказании плетьюми и другими столь же варварскими орудиями.

Я еще очень хорошо помню, какой страшный крик и гам подняли в нашей литературе по случаю выхода кн. Черкасского, если не ошибаюсь, о предоставлении помещикам права наказывать крестьян пятью или десятью ударами розгами.<sup>1</sup> И это было только за одно мнение, а между тем у нас на деле наказывали, да еще теперь наказывают не только розгами, а плетьюми, и дают не 5 или 10 ударов, а 500 и даже 5000 и 6000, и такое наказание, с юридической точки зрения в настоящее время, не может даже называться наказанием, а есть истязание. А об этом не только не кричали, да почти и не говорили и почти не обратили внимания на этот грубый остаток средневекового варварства. Пора, давно пора, чтобы литература представила всю несообразность такого истязания людей, тем более что оно решительно противоречит и духу нашего времени, и духу нашего законодательства (по крайней мере нашего времени), и тому духу, который господствует как в обществе, так и в правительстве, что оно никак не может быть оправдываемо с юридической точки зрения нашего времени и наконец даже не достигает той цели, которую имели прежде при этом в виду.

Говорить о том, что это наказание не соответствует, а противоречит как духу нашего времени и нашего законодательства, так и тому духу, который господствует в обществе и в правительстве, я считаю излишним — это всякий сам понимает. Что оно не может быть оправдываемо с юридической точки зрения, уже явствует из того, что виновный при этом за одно и то же преступление подвергается двойному роду наказаний, так как его ссылают в Сибирь или заключение. Но, кроме того, и та цель, которую имеют в виду при наказаниях в настоящее время, несколько не достигается. Эта цель, по сознанию самого тепе-

решного общества и по учению науки (насколько она мне известна) не может быть другая, как, во-1), исправить виновного, и, во-2), поставить его в такое положение, чтобы он не мог вредить обществу. А между тем телесное наказание плетьюми или порождает ожесточение, остервенение и глубоко затаенную злобу, что бывает в большей части случаев, или делает человека каким-то тупым, бездушным созданием, убивая в нем всякую бодрость. Вторая цель вполне достигается разными родами заключения. К чему же это варварское наказание! Прежде смотрели на наказания с другой точки зрения, они должны были служить каким-то пугалом для людей, отстрашать их от совершения преступления. Но если бы и были в настоящее время такие отсталые люди (чему трудно поверить), которые разделяли бы такой отживший взгляд на цель наказания, то стоит им только напомнить, что опыт и практика постоянно показывали, да еще теперь показывают, что эта цель жестокими наказаниями нисколько не достигается и что они даже ведут к совершенно противоположному. Кто столь невежествен, что не знает, как с увеличением наказания за воровство в Англии это преступление не только не уменьшалось, но еще увеличивалось. Кому из проживавших в Сибири неизвестно, что телесные истязания не только не удерживают тамошних преступников от совершения преступления, напротив, ожесточая их в высшей степени, доводят до такого состояния, что им нужно только случая, чтобы опять совершить преступление.

Если, таким образом, опыт для отсталых людей и учение науки и разумное сознание для всех хоть несколько образованных людей ясно показывают всю несообразность телесного наказания, то скажите, ради бога, как мы можем оправдать себя, что обратили так мало внимания на этот предмет и что теперь еще существует такого рода несообразность. Предкам нашим может служить некоторым оправданием, — говорю некоторым, потому что христианское чувство должно было научить их чему-нибудь другому, — что они не ведали, что творили, что они заблуждались в своем взгляде на цель наказания. Над нами же произнесется гораздо строжайший приговор, потому что в наше время такие истязания не обусловливаются ни заблуждением ума, ни степенью цивилизации, оно есть следствие нашей апатичности, нашего эгоизма, так что мы часто не думаем о том, что прямо до нас не отнесется, будь оно хоть в высшей степени несообразно. Пора, давно пора литературе поднять свой голос и обратиться на этот предмет внимание правительства, которое слишком занято разрешением более важных государственных вопросов и от взгляда которого поэтому ускользают иногда грубые остатки прежних времен. Я вполне уверен, милостивый государь, что Вы, как человек образованный и вполне сочувствующий всему разумному и доброму, в теплых и красноречивых словах выскажете всю несообразность, чтобы не сказать дикость, телесных истязаний.<sup>2</sup> Мое же письмо прошу не печатать, — разве Вы най-



дете, что оно может чем-либо служить делу, — но в таком случае прошу изменить хоть слог, который, как я сам понимаю, весьма плох и слаб. Прошу вас приступить к делу как можно скорее. Вы поймете мою просьбу, если я Вам скажу, что поводом к этому письму послужило именно то, что некоторые, которых с психологической точки зрения нельзя даже назвать преступниками, подвергаются именно теперь вышесказанному роду наказания. Я вполне надеюсь, что Вы, во имя человеколюбия, извините мою всепокорнейшую просьбу.<sup>3</sup>

Для предупреждения недоразумения я должен прибавить, что на наказание розгами, и то в самом малом числе ударов, еще можно смотреть как на зло, которое в некоторых случаях весьма трудно обойти (хотя никак не думаю, чтобы это было невозможно), а полагаю, что мы должны всеми силами стараться совершенно его вытеснить. Мимоходом скажу, что в продолжение всей многолетней моей практики в гимназии ни один ученик не был по моей жалобе наказан телесно, а между тем они в университетов вообще считаются лучшими студентами. Но между телесными наказаниями розгами и такого же плетью существует огромная разница, потому что последнее носит совершенно характер истязания человека. И если существование первого еще может быть некоторым образом (но никак не вполне) оправдываемо, и то в самых редких, исключительных случаях, то существование второго рода наказания в высшей степени несообразно, нелепо и дико.

Еще раз прошу извинить меня великодушно, что я, который даже плохо владеет русским языком, осмеливаюсь утруждать своим письмом Вас, сочинителя «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных», но уже одно заглавие этих творений может служить оправданием моей смелости.

Примите от меня уверение в искреннем высокопочтении и уважении.

X.

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, р. I, оп. 6, № 250.

Автор письма, не пожелавший назвать себя, — учитель одной из гимназий, очевидно в Петербурге. Датируется 1861 г. по содержанию: в письме говорится о том, что в литературе не было еще говорено о телесном наказании — очевидно, автор пропустил статью Добролюбова «Все-российские иллюзии, разрушаемые розгами» (Современник, 1860, № 1, отд. III, с. 157—182) и не успел получить № 8 журнала «Современник» за 1861 г. с его же статей «От дождя да в воду». Кроме того, датировка подтверждается интересом Достоевского к теме письма (он написал на нем: «К сведению»): незадолго до получения его писатель работал над задуманным ответом Добролюбову, на его статью «От дождя да в воду». В набросках этой неосуществленной работы речь шла в основном о наказаниях розгами в учебных заведениях (подробно см.: 20, 355—358). Из-за смерти Добролюбова Достоевский оставил намерение отвечать ему особой статьей и позднее не возвращался к этому вопросу. Возможно, что в какой-то форме он все же собирался откликнуться на столь назревший вопрос о телесных наказаниях: отсюда две пометы его в тексте письма (см. ниже).

Датируется на основании пометы Достоевского на письме: «Поступило 17 дек.».

<sup>1</sup> Речь идет о статье «Некоторые общие черты будущего сельского управления», написанной деятелем крестьянской реформы, членом-экспертом Ревизионных комиссий в 1858—1861 гг. кн. В. А. Черкасским (1824—1878). Он писал здесь, в частности: «...домашнее исправительное наказание» крестьян помещиками не должно превышать 18 ударов розгами, а для малолетних, не достигших еще 14-ти лет от роду, и для женского пола — детскими розгами не более 15 ударов (Сельское благоустройство (журнал), М., 1858, кн. 3, с. 260). Герцен отозвался на эту публикацию гневной статьей «Розги долой!» (Колокол, 1860, 1 июля, л. 75, с. 623), а в своих «Письмах из России», приведя две колонки имен под рубриками: «Против сечения» и «За сечение», вторую открыл именем кн. Черкасского (Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. XIV. М., 1958, с. 260).

<sup>2</sup> Текст: «Я вполне уверен ∞ дикость телесных наказаний» — отчеркнул Достоевским.

<sup>3</sup> Текст: «Прошу вас приступить к делу ∞ мою всепокорнейшую просьбу» — отчеркнул Достоевским.

4

Е. А. Штакеншнейдер — Достоевскому

10 марта 1872 г. Петербург

Добрейший Федор Михайлович.

Я по Вас соскучилась. Вы совсем нас забыли. Как бы я была счастлива, если бы Вы приехали к нам в воскресенье, т. е. 12 марта.

Смотрела и у Полонского,<sup>1</sup> и там Вас не видать. Если только можно, приезжайте. Надеюсь, что и супруга Ваша пожалует. Мать моя все собирается к Вам, но, к несчастью, у нас больные; зять очень болен, и она ежедневно навещает его.

До свидания, Федор Михайлович, до воскресенья!

Елена Штакеншнейдер.

Марта 10. 1872.

Имя Елены Андреевны Штакеншнейдер (1836—1897), дочери хозяйки известного петербургского литературного салона — Марии Федоровны Штакеншнейдер (1811—1892), тесно связано с историей русской литературы и общественного движения. Дневниковые записи, которые велись Е. А. Штакеншнейдер начиная с середины 1850-х годов на протяжении нескольких десятилетий, содержат множество интересных фактов; ее друзьями были Я. П. Полонский, П. Л. Лавров, В. Г. Бенедиктов, постоянными собеседниками — Ф. М. Достоевский, А. Н. Майков, Н. Н. Страхов. Ценность этих записей (видное место в них принадлежит встречам с Достоевским) состоит в большой пронизательности Е. А. Штакеншнейдер, обладавшей незаурядным литературным дарованием и нередко поднимавшейся в своих дневниках и письмах до подлинно художественных обобщений (см.: Розанов И. Н. Елена Андреевна Штакеншнейдер и ее дневник. — В кн.: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854—1886). М.—Л., 1934, с. 7—27).

Внимание и доброжелательный интерес к людям, с которыми встречалась Е. А. Штакеншнейдер, располагали в свою очередь ее собеседников и корреспондентов к откровенности. В. Микулич (Л. И. Веселитская) так охарактеризовала Е. А. Штакеншнейдер: «умная, добрая и приветли-

вая»; «милая, ласковая без слащавости, добрая без шума, умная без претензий» (Миккулич В. Встреча с писателями. Л., 1929, с. 139, 150).

Интерес Е. А. Штакеншнейдер к творчеству Достоевского определился в начале 1860-х годов. В письме к Я. П. Полонскому от 2 июля 1861 г. она отмечала: «Вышел конец четвертой части „Униженных и оскорбленных“. Ну уж, Яков Петрович, оно увлекательно-то увлекательно, да так только странно, в особенности встреча Наташи с Катей. Ну что это за Наташа, что это за Катя, такие прелести. Но скажите по совести, Вы, гуляя по свету и заглядывая во все углы, встречали ли что-нибудь подобное? Верно, нет? Еще Наташа может быть, а Катя уж нет да нет, да и Алеша нет. Ведь в Достоевском что дорого — это естественность неестественности, это обыденность разговора, слога. Он создал сам себе, не по образу божию, а по своему собственному образу, человечков и видит, и мы все видим, что они в самом деле человечки, хоть и не похожи на нас» (ИРЛИ, № 12612). Известно, что суждения Е. А. Штакеншнейдер об «Униженных и оскорбленных» (содержавшиеся в одном из ее писем) Я. П. Полонский сообщил Достоевскому (см.: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки, с. 559; см. также неопубликованное письмо Штакеншнейдер к Полонскому от 3 августа 1861 г.: ИРЛИ, № 12612).

Достоевский начал посещать салон Штакеншнейдеров, по-видимому, в 1860 г. и бывал у них постоянно до 1862 г., когда семейство Штакеншнейдеров переехало на мызу Ивановка близ Гатчины, после чего встречи Е. А. Штакеншнейдер с Достоевским стали более случайными и редкими; знакомство их возобновилось в начале 1870-х годов при посредничестве М. П. Покровского (см.: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки, с. 454—455). А. Г. Достоевская отмечала в своих воспоминаниях: «В 1873 году Федор Михайлович возобновил старинное знакомство с семейством Штакеншнейдеров, центром которого была Елена Андреевна...» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 256). Из публикуемого письма Е. А. Штакеншнейдер от 10 марта 1872 г. следует, впрочем, что Достоевский бывал у Штакеншнейдеров и ранее, в 1872 г. В воспоминаниях А. Г. Достоевской сообщается, что «в зиму 1879/80 года» Достоевский «бывал на вечерах у Елены Андреевны Штакеншнейдер <...> у ней по вторникам собирались многие выдающиеся литераторы, читавшие иногда свои произведения» (там же, с. 354). Последний раз Е. А. Штакеншнейдер виделась с Достоевским 27 января 1881 г., когда приехала навестить умирающего писателя (см.: Гроссман Л. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.—Л., 1935, с. 320).

На основе своих дневниковых записей Е. А. Штакеншнейдер начала писать воспоминания о Достоевском, оставшиеся незавершенными (опубликованы впервые в 1919 г. — № 1/4 журнала «Голос минувшего»). Автору их удается воссоздать яркий, неоднозначный образ Достоевского.

Известны два письма Достоевского к Е. А. Штакеншнейдер — от 15 июня 1879 г. и от 17 июля 1880 г. (П., IV, 62—63, 182—184).

Три письма Е. А. Штакеншнейдер к Достоевскому, хранящиеся в ИРЛИ (ф. 100, № 29906), публикуются впервые. Фраза из письма от 19 июня 1880 г. приводится в статье И. Л. Волгина «Завещание Достоевского» (Вопросы литературы, 1980, № 6, с. 168); фрагменты писем Штакеншнейдер к А. Г. Достоевской см.: Литературное наследство, т. 86. М., 1973, с. 436, 471—472, 526.

<sup>1</sup> Имеется в виду поэт Яков Петрович Полонский (1819—1898), близкий друг Е. А. Штакеншнейдер. Об отношениях Ф. М. Достоевского и Я. П. Полонского см.: Из сношений Ф. М. и М. М. Достоевских с Я. П. Полонским. (Из материалов Пушкинского Дома). Сообщил Н. Козмин. — В кн.: Достоевский. Статьи и материалы. Пб., 1922, с. 453—460; Из архива Достоевского. Письма русских писателей. М.—Пг., 1923, с. 62—65.

Г. К. Градовский — Достоевскому

28 декабря 1872 г. Петербург

28 декабря.

Милостивый государь  
Федор Михайлович.

Предъявитель сего г. Унтилов — автор статьи «Общество для противодействия нашему пьянству». Статья эта находится в редакции и обещана к печати; статья заслуживает внимания по собранным в ней фактам.<sup>1</sup>

Искренне уважающий и преданный Гр. Градовский.

Печатается по подлиннику: ГБЛ, ф. 93, П.2.114.

Градовский Григорий Константинович (1842—1915) — журналист, публицист, в 1872 г. редактор «Гражданина» (см.: 21, 360—361).

<sup>1</sup> Статья была напечатана под несколько измененным заглавием: «Общество для противудействия чрезмерному распространению пьянства» (Гражданин, 1873, 15 января, № 3, за подписью «Н») и сопровождалась примечанием Достоевского (см.: 21, 264). Публикуемое письмо уточняет имя автора статьи — Унтилова, очевидно человека случайного: больше его имя в литературе не встречается.

Л. Х. Симонова-Хохрякова — Достоевскому

2 августа 1876 г. Петербург

2 августа 1876 г.

Милостивый государь  
многоуважаемый Федор Михайлович!

Август наступил!

Здоровье Ваше поправилось ли? И желалось бы, желалось скорейшего Вашего приезда, и думается, что если Вы не совсем отдохнули, не совсем поправились — не лучше ли уже побыть за границей подольше? Осень здесь вечно приносит катары да воспаления, а Вы именно к осени и задумали Ваше возвращение в Петербург. Вы не браните меня за эту тираду. Если бы знали, как хочется поговорить с Вами.<sup>1</sup> Как хочется выложить Вам все душевные планы, все начинания — и хоть словечко одно в ответ услышать. Я как подумаю, что Вы скоро вернетесь, — перерождаюсь. Вместе же с тем приходит в голову смертельный страх, — что Вы для издания августовской книжки «Дневника писателя» непременно вернетесь и даже не поправивши здоровья. А здоровья для Вас хочется много, много — и чтоб в течение долгой, долгой жизни — ни пня, ни задоринки не было. Так уже не лучше ли и подписчиков и постоянных читателей заставить

еще подождать — и остаться. Простите, бога ради. Это не совет, а высказывание волнующих меня уже с неделю мыслей...

Весь июнь что бы Вы думаете я делала?

В литературу пустилась — написала маленькую повесть и думаю написать их целый ряд.<sup>2</sup>

Благословите на труд! Приедете — всё выскажу: как, зачем, почему? До окончания повести не хотелось говорить о ней. Боялась, что не справлюсь и Вы бы подумали, что слово и дело врознь идут <...><sup>a</sup> и стала бы похожа на цуку, ловящую крыс. Напишите, бога ради, останетесь или приедете? Если останетесь — позвольте все подробности — все, все писать Вам и труд свой на суд Ваш представить.<sup>3</sup> Поклон до земли. Хохрякова.

*На конверте:*

Allemagne. Bad Ems.

à Monsieur Theodore Dostoiewsky

Poste restante

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, ф. 100, № 29889.

Корреспондентка Достоевского — писательница и общественная деятельница Людмила Христофоровна Симонова-Хохрякова (1838—1906). Родилась в Вологде, происходила из старинной фамилии дворян Эстляндской губернии Ребяндеров; рано потеряла родителей. Воспитывалась в Смольном институте. После окончания курса обучения поселилась в 1857 г. у сестры в Пермской губернии. Здесь вышла замуж за чиновника Министерства государственных имуществ Симонова. Сопровождала мужа в ревизионных поездках по волостям, воочию познакомилась с жизнью крестьянского населения Зауралья, в том числе с бытом «инородцев» (как их тогда называли) и с жизнью сельского духовенства. «Во время поездки с мужем по деревням <...> я и не думала, что когда-нибудь примкну к литературе, а записывала свои наблюдения собственно из любви к искусству», — говорила Симонова (Русская старина, 1908, № 9, с. 636).

В 1864 г. Симонова, овдовев, переезжает в Петербург. Здесь она прослужила четырнадцать лет на телеграфе. С этого времени начинает печататься. В 1864 г. в «Современном листке» (№ 30 и 31) помещает статью о пользе введения ремесел в уездных училищах. Вскоре после приезда в Петербург Симонова знакомится с журналистом А. И. Поповицким, о котором позже вспоминала: «...он восстал против того, чтобы я под спудом хранила массу интересного материала, и заставил меня писать в его газете («Церковно-общественный вестник», — Г. С.), <...> значительной по тем либеральным тенденциям, какие в ней проводились в пользу белого духовенства» (Русская старина, 1908, № 9, с. 636; см. ниже, примеч. 2 и 3).

Горячий интерес проявляла Симонова к судьбе русской женщины. По поводу выступления Достоевского по женскому вопросу в «Дневнике писателя» за 1876 г. она напечатала письмо в журнале «Церковно-общественный вестник» (1876, 2 июля, № 72). В нем она благодарила писателя за «совсем новое, особенно смелое и навсегда слово в слово залгающее в сердце» высказывание о русской женщине. «„Дневник писателя“, — утверждала Симонова, — должен быть настольной книгой русской женщины...». В 1879 г. журнал «Дело» (№ 5) напечатал очерк Симоновой «Что-то будет?», героиня которого Нюша испытывает недовольство тесными рамками на вид благополучной семейной жизни. Очерк заканчивался напоминанием о «Кроткой» (1876) Достоевского: «И если уж *кроткая* бун-

<sup>a</sup> Несколько слов густо зачеркнуты.

туется, порывается изменить долгу, прикладывает дуло револьвера к виску спящего мужа и, наконец, с образом в руках, сама выбрасывается из окна... то чего же ждать от нас *не кротких*? А ведь ты, Кюта, из числа последних» (Дело, 1879, № 5, с. 96). В 1880-е годы Симонова посвятила несколько произведений бесправному положению русской женщины, в первую очередь на сибирском материале. Это первоначально запрещенная цензурой повесть «Одна» (Живописное обозрение, 1882, № 27), романы «Убила» (там же, 1883, № 9—12), «Спутница» (СПб., 1886) и др. Гл. И. Успенский писал Симоновой 25 февраля 1885 г. о романе «Убила» (СПб., 1884): «Повесть Вашу я прочитал с большим удовольствием...» и дал ряд советов по доработке этого произведения (см.: Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 13. М.—Л., 1954, с. 424).

В петербургской газете «Улей» (1881, 28 мая, № 104) Симонова поместила отзыв о сатирическом цикле М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом». Она отметила исключительную популярность сатирика и дала положительную оценку шестого очерка этого цикла.

Большое внимание уделяла Симонова жизни сибирских народностей — вогулов, остяков, якутов. В повестях «Беглые» (Живописное обозрение, 1882, № 6 и 7), «Голод» (Русское богатство, 1884, № 5, 6), в очерках «Лаача», «Эзе» и «Ильдиа» (СПб., 1883, 1884 и 1887) писательница выступила против бесправного их положения, призвала к необходимости заботы об их культурном развитии. Этими произведениями она обратила на себя внимание публициста, путешественника и археолога Н. М. Ядринцева, который ввел ее в свой так называемый «Сибирский кружок» и пригласил сотрудничать в «Восточном обозрении». У Ядринцева она знакома с этнографом Г. М. Потаниным и антропологом М. В. Малаховым; принимает активное участие в работе Географического общества.

Большое значение для развития литературных и общественных взглядов Симоновой имел кружок писателя А. К. Шеллера-Михайлова (см. об этом: Русская старина, 1908, № 10, с. 220—226).

В 1886 г. Симонова переехала в Ташкент на службу по Министерству народного просвещения. Она преподавала в гимназии немецкий язык, в 1890 г. была назначена начальницей Мариинского женского училища в Самарканде. Напечатала несколько произведений из местной жизни. В «Туркестанских ведомостях» (1887, № 6) она откликнулась на смерть С. Я. Надсона некрологом. Скончалась Л. Х. Симонова-Хохрякова в Ташкенте 12 марта 1906 г.

Свои произведения и статьи писательница подписывала: «Л. Симонова». Библиографию их см.: Мезьер А. В. Русская словесность с XI по XIX столетия включительно: Библиографический указатель... СПб., 1899, с. 372; Голицыны Н. Н. Библиографический словарь русских писательниц. СПб., 1889. Подробный очерк жизни и творчества Л. Симоновой см.: Фаресов А. И. Забытая писательница и ее заслуги. — Русская старина, 1908, № 9—11. Фаресов опубликовал в своем очерке и письма к Симоновой-Хохряковой Гл. И. Успенского, С. Я. Надсона, А. К. Шеллера, П. Н. Поголева, Н. М. Ядринцева и М. В. Малахова.

Знакомство Достоевского с Симоновой относится к 1876 г. Тотчас же после смерти писателя она печатает очерк «Из воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском» (см.: Церковно-общественный вестник, 1881, № 16, 6 февраля, с. 6—7; № 17, 8 февраля, с. 4—5; № 18, 11 февраля, с. 3—5). Симонова пишет о своей заинтересованности «Дневником писателя», что и вызвало у нее желание познакомиться с его автором. «Решаясь пойти к нему, — читаем в ее воспоминаниях, — я ужасно волновалась <...> Однако в апреле 1876 года, с страшно бьющимся сердцем, в сознании всей нелепости своего поступка, я робко вступила в его кабинет» (там же, № 16, 6 февраля, с. 6). Далее писательница рассказала о скромном кабинете Достоевского, жившего «тогда на Песках, у Греческой церкви». «Сам он в то время был худой, желтый, кашлял, жаловался на одышку...», — пишет она (там же, с. 6). Разговор шел вокруг «Дневника писателя» и о не понявших его, по мнению Достоевского, критиках, а также о романах «Идиот» и «Подросток».

В связи с работой над рассказом «Испорченный» Симонова просила Достоевского о разрешении посетить его (см. об этом в примечаниях 1 и 2). Она посетила писателя в ноябре 1876 г. Разговор вновь зашел о «Дневнике писателя». «Да вот еще меня нынче цензура обрезала, — записала Симонова в тот же день горькие слова Достоевского, — статью, где я Петербург по отношению к России Баден-Баденом назвал, целиком вычеркнула, да о восточном вопросе тоже почти всю, а что я о распределении земли говорил, сказали — социализм и тоже не пропустили. А ведь мне это горько, потому что дневники я издаю с целью высказать то, что гнездится в голове моей» (Церковно-общественный вестник, 1881, № 17, с. 5). Во время следующей встречи, состоявшейся через два дня, Достоевский высказал свое огорчение по поводу неверного толкования критикой главы «Приговор» из главы первой октябрьского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г.

Ниже публикуются два письма Симоновой-Хохряковой к Достоевскому — от 2 августа 1876 и 13 февраля 1877 г. В своих воспоминаниях она опубликовала письмо Достоевского от 7—10 сентября 1876 г. (Церковно-общественный вестник, 1881, № 17, с. 14; см.: II, III, 246—247; местонахождение подлинника неизвестно).

<sup>1</sup> Симонова вспоминала об обстоятельствах написания своего письма к Достоевскому: «В конце лета того же 1876 года я начала писать <...> рассказ „Испорченный“ и задумала поделиться этой новостью с Федором Михайловичем» (Церковно-общественный вестник, 1881, № 17, 8 февраля, с. 4). Когда рассказ уже был написан, Симонова получила ответное письмо Достоевского от 7—10 сентября. В нем он написал: «Ваше письмо застало меня в Эмсе на самом выезде. Прибыв в Старую Руссу, я хворал и писал августовский № «Дневника писателя» <...> Если приедете, то, конечно, поговорим» (II, III, 246).

<sup>2</sup> Речь идет о названном выше рассказе Симоновой «Испорченный», который вместе с другими ее произведениями составил цикл о жизни рядового, сельского духовенства. «Мною были напечатаны статьи и рассказы, — говорила она, — по вопросам: о реформе белого духовенства и уравнивании их в правах с мирянами; <...> о необеспеченности духовенства, э вдовстве <...> Таковы мои работки: „Праздничный сон до обеда“, „Женитьба священника“, „Чудак“ и несколько статей об обездоленных раскольниках» (Русская старина, 1908, № 9, с. 637). К перечисленным Симоновой произведениям относится и «Рог изобилия».

<sup>3</sup> В ноябре 1876 г. Симонова навестила Достоевского и передала ему рукопись рассказа «Испорченный». Через два дня после этого она вновь побывала у писателя. Он дал положительную оценку ее рассказу, в котором она отстаивала необходимость отмены запрета на второбрачие белого духовенства. «Второбрачие — насущный вопрос духовенства, — записала Симонова мнение Достоевского, — и вопрос этот вопиет о скорейшем разрешении <...> Меня тоже просили сказать об этом в „Дневнике“, но я не скажу, потому что не хочу бросать горох в стену...» (см.: Церковно-общественный вестник, 1881, № 18, 11 февраля, с. 3—5; Русская старина, 1908, № 9, с. 638). «Испорченный» был напечатан, см.: Церковно-общественный вестник, 1878, № 45, 46.

## 7

Л. Х. Симонова-Хохрякова — Достоевскому

13 февраля 1877 г. Петербург

Милостивый государь  
многоуважаемый Федор Михайлович!

Весь январь, всё свободное от служебных занятий время, я употребляла на работу — переделку «Оленьки».<sup>1</sup> Начала с ее отца и его домашней обстановки. Работа идет медленно, кропот-

ливо, боюсь упустить малейшую черту, клонящуюся к выяснению характера, боюсь, чтобы каким-нибудь неосторожным словом не уклониться, строго слежу за собой, и вот вследствие такого обдумывания и передумывания и идет медленно. К началу февраля почти ничего не было сделано, теперь тип уже виден, но Вы сами заняты, а потому, если позволите, буду в начале марта.<sup>2</sup> Из нескольких слов, сказанных Вами касательно социальных и экономических вопросов в повестях,<sup>3</sup> нескольких слов, сказанных еще одним человеком (имя которого я скажу при свидании), в моей голове поднялась страшная работа, а после прочтения статьи Морозова (Отечественные записки) «Литературная злоба дня» кое-что улеглось, но только кое-что, сам автор сознается, что говорит отрывками и неясно.<sup>4</sup> Нужно бы многое привести в порядок! О, я неуч, каких мало! Но, слава богу, что пришла к этому сознанию и к страстному желанию работать.

Ведь Вы не скажете «мне что за дело», я знаю, что не скажете — иначе — если бы я хоть минутку усумнилась, к чему бы писать все это. Болезнь Некрасова, его «Последними песнями», ответом на них в «Неделе»<sup>5</sup> и Вашими воспоминаниями страшно волновалась — до слез.<sup>6</sup> Я Некрасова как поэта сильно люблю (к сожалению, как человека не знаю).

До свидания! Супруге — пренизкий глубокий поклон.

Хохрякова.

13 февр. 1877 г.

Помня головойку за ненаписание адреса в одном письме,<sup>7</sup> не могу не сообщить его теперь: Шлиссельбургский тракт, 7 верста, телеграф XVII.

*На конверте:*

Его Высокоблагородию Федору Михайловичу Г-ну *Достоевскому*

Греческий проспект, дом Струбинского, кв. № 6.

На конверте помета Достоевского: «Хохрякова».

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, ф. 100, № 29889.

<sup>1</sup> Речь идет о повести «Оленька» (СПб., 1876). В переработанном виде, под названием «Оля», она была напечатана в «Еженедельном обозрении» (1878, № 25).

<sup>2</sup> В своих воспоминаниях о Достоевском Симонова рассказывает о трех встречах с ним в 1876 г.; упоминания о встречах в 1877 г. в ее мемуарах нет.

<sup>3</sup> Имеется в виду «Дневник писателя» за 1873 и 1876 гг.

<sup>4</sup> Имеется в виду статья М. А. Протопопова «Литературная злоба» (Отечественные записки, 1877, № 1, отд. II, с. 1—47, подпись: Н. Морозов). Произведения литературы были разделены в ней на два разряда: психологические и социально-тенденциозные. В последних, по мысли критика, должна выразиться собственная личность писателя «как общественного деятеля, как члена известной партии, с симпатиями и антипатиями, надеждами и стремлениями»; писатель «должен понимать современную жизнь во всех ее сложных перипетиях» (там же, с. 26). «Психологический тип есть сумма известных нравственных качеств, — писал Протопопов. — Социальный тип — система известных теоретических тенденций, ус-



военных личностью и известным образом отразившихся и олицетворившихся в ней» (там же, с. 27; «отрывочность, неясность и неполнота статьи» отмечены ее автором на с. 39 и 47).

<sup>5</sup> В газете «Неделя» (1877, 30 января, № 5, с. 183) была помещена — без подписи — заметка «Болезнь Некрасова», сообщавшая о предсмертной тяжелой болезни поэта, о появлении в «Отечественных записках» его «Последних песен» (процитировано начало стихотворения «Нет, не поможет мне аптека...» и приведен текст стихотворения «Скоро стану добычею тленья...»). Заметка заканчивалась анонимным стихотворным посланием «Н. А. Некрасову».

<sup>6</sup> Имеется в виду вторая глава (§ IV «Русская сатира. „Новь“. „Последние песни“. Старые воспоминания») январского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г., содержащая воспоминания Достоевского о встречах с Некрасовым в 1845 г. (см.: 25, 26—31).

<sup>7</sup> Достоевский писал Симоновой-Хохряковой в письме от 7—10 сентября 1876 г.: «Вы, по дамскому обыкновению, не выставляете Вашего адреса при каждом письме...» (II, III, 247).

## 8

«Один из Потугиных» — Достоевскому

11 марта 1878 г.

11 марта 1878.

Милостивый государь,  
Федор Михайлович.

Напечатаны письма Пушкина. Идет толк об них. Одни говорят, что ничего в них нет, бранят даже. Я вовсе не о Маркове Евгении говорю: этот — принцип... Нет, бранят люди, по-видимому шире смотрящие. А главное, что удивительно: не находят ничего в письмах Пушкина такие, которые от «Дневника» Вашего в восторге и со всем тем, что Вы говорите в «Дневнике», согласны. Вот это-то удивительно... Другие — еще не знаю, много ли их — в восторге от этих писем. Я про себя скажу. Я только по письмам узнал Пушкина. Какая это симпатичная была личность и какая гениальная личность! А главное — «тут русский дух, тут Русью пахнет»... Ну и проч. и проч. Федор Михайлович, Вам ведь они верят! Скажите хоть слова два об этих письмах где-нибудь в газете. И поверьте, станут читать их. А то ведь теперь какой-нибудь Марков обругал, ему поверили — и тоже бранят, а читать не читают. Вы же если скажете — это заставит их прочитать, и может быть, просветлеет их глаз... Положим, «что на иной глаз поэма, то на другой — куча», но все-таки... может, переменят «кучу» на «поэму». Я ведь вон в первый раз когда был на «Жизни за царя», то — куча, куча и куча. А теперь, когда 30—40 раз сходил на эту оперу, — такая «поэма», лучше которой ничего в России и нет. Что я в России? — Во всем мире... Так, может быть, и те... переменят взгляд и увидят в этой теперь по-ихнему куче поэму. А сейчас на их взгляд письма Пушкина — куча... А какой язык!? Ваш язык — тень этого языка: только, однако, у Вас одних и видишь этот отблеск языка Пушкина. Из всех писателей Вы только (по

языку) подходите к Пушкину... Ах, какая высокая личность, какая милая! Добродушие какое, юмор этот... ну, просто, сказал бы — прелесть, да это слово сюда нейдет... Неужели Вы не скажете? Только ведь слова два, не больше. Указать только, что вот-де шедевр, из шедевров шедевр... Считали, да и теперь еще есть, которые считают Пушкина — салонным поэтом, прихвостнем большого света, двора и т. д. ... Где же? Этого вовсе нет, так как положительно из писем его этого ничего не видно. Да и не такой он был человек, чтобы быть у кого-нибудь или где-нибудь прихвостнем!.. Если же вращался он в том кругу, так они хоть немножечко бы подумали и поглядели... Да ведь я же не умею ничего сказать: я только чувствую. А на чувствованьях одних далеко, как говорится, не уедешь... Поэтому смолкаю и прошу Вас извинить меня за это беспорядочное письмо к Вам, и вместе — принять уверение в моем почтительном и искреннем к Вам уважении и преданности.

Один из Потугиных — в вербальном значении этого слова.

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, ф. 100, № 29937.

Содержание этого письма дополняет представление о характере литературных отношений между Тургеневым и Достоевским в конце 1870-х годов. Этот документ публикуется нами в качестве прямого доказательства реального существования и в 1870-е годы основы для позитивных связей между Тургеневым и Достоевским.

В письме «Одного из Потугиных» речь идет о письмах Пушкина к жене, опубликованных в журнале «Вестник Европы» (1878, № 1, 3). «Один из Потугиных» не упоминает о Тургеневе, но как он, так и Достоевский, конечно, знали, что письма Пушкина опубликовал в «Вестнике Европы» именно Тургенев. Отклики критики на письма Пушкина были по преимуществу отрицательными, причем особенной резкостью отличались статья Е. Л. Маркова, напечатанная в газете «Голос» (1878, 9 февраля, № 40), и две статьи В. П. Буренина, напечатанные в газете «Новое время» (1878, 13 января, № 674; 10 марта, № 729). Имея в виду этих критиков, а также определенную часть читающей публики, выказавшей предвзятое отношение к Пушкину, «Один из Потугиных», т. е. очевидный западник, призывает к Достоевскому, неоднократно с яростью нападавшему на западников: «Федор Михайлович, Вам ведь они верят! Скажите хоть слова два об этих письмах где-нибудь в газете». Такое воззвание о помощи было бы невозможно, если бы Достоевский не зарекомендовал себя на страницах «Дневника писателя» страстным поклонником Пушкина и апологетом русского языка. Но западники потугинского склада уловили и оценили по достоинству также тургеневскую интонацию в этой апологии (см.: Б а т ю т о А. И. Достоевский и Тургенев в 1860—1870-е годы. — Русская литература, 1979, № 1, с. 58—61). Это-то обстоятельство и дало одному из них «право» обратиться с просьбой о содействии прежде всего к Достоевскому.

Видное место в письме «Одного из Потугиных» занимает восторженная оценка оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» (первоначальное название — «Жизнь за царя»). И эта часть письма имеет прямое отношение к проблеме Достоевский — Тургенев. Суждения «Одного из Потугиных» о музыке Глинки крайне любопытны в том смысле, что они похожи на покаяние. Он как бы испрашивает у Достоевского прощения за достаточно пренебрежительное мнение о Глинке как создателе русской национальной оперы, высказанное некогда в «Дыме» его собратом Созонтом Ивановичем Потугиным и разделявшееся чуть ли не до самого последнего времени и им, «одним из Потугиных».

«Я только по письмам узнал Пушкина, — пишет Достоевскому «Один из Потугиных». — Какая это симпатичная была личность и какая гениальная личность! А главное — „тут русский дух, тут Русью пахнет“...». Нельзя не отметить и в этой характеристике созвучной Достоевскому тургеневской интонации. В сопровождающем «Новые письма А. С. Пушкина» предисловии «От издателя» Тургенев писал: «Несмотря на свое французское воспитание, Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком своего времени; и уже с одной этой точки зрения его письма достойны внимания каждого образованного русского человека; для историка литературы они — сущий клад: нравы, самый быт известной эпохи отразились в них хотя быстрыми, но яркими чертами» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч., т. XV. М.—Л., 1963, с. 114). Тургеневское определение: «Пушкин был <...> самым русским человеком своего времени» — гармонировало, в свою очередь, с восторженным восклицанием Достоевского еще в 1863 г.: «А уж Пушкин ли не русский был человек!» (5, 51).

Ответ Достоевского на письмо «Одного из Потугиных» неизвестен. Не исключено, что Достоевский попросту пренебрег своим корреспондентом, подписавшим свое письмо столь вызывающе. Вместе с тем не исключается другой, более вероятный ход событий.

Достоевский не мог ответить «одному из Потугиных», так как тот не указал ни своего адреса, ни настоящей фамилии. «Дневник писателя» же к этому времени прекратил свое существование почти навсегда. Выступление Достоевского в какой-нибудь газете тоже исключалось, так как в это время он уже всецело был поглощен работой над последним своим романом.

В такой ситуации приходилось, по-видимому, довольствоваться сознанием, что тургеневское предисловие «От издателя», предварившее публикацию писем Пушкина, — вполне достаточная рекомендация этих писем для тех читателей, которые способны понимать и любить великого русского поэта.

Корреспондент Достоевского называет себя «Одним из Потугиных в вербальном значении этого слова». Что этим он хотел сказать? Слово «вербальный» (лат. *verbalis*) значит «устный», «словесный»; вербальная же нота — письменное сообщение, делаемое дипломатическим агентом в третьем лице без подписи и приравняемое к устному заявлению. На такую ноту похоже комментируемое письмо к Достоевскому, написанное как бы «дипломатическим агентом» западной партии, пожелавшим скрыть свою подлинную фамилию.

Однако из «ноты» видно, что «Один из Потугиных» не хотел ограничиться только изложением своего мнения. Он рассчитывал на содействие, просил о нем. Эта позиция «Одного из Потугиных» становится вполне очевидной в свете объяснения понятия «вербальный договор». В «Новом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (т. X) читаем: «Вербальный договор (*Contractus verbalis*) — термин римского права, обозначающий договор, юридическая сила которого обуславливается исключительно *особо словесною формою* заключения его, *путем вопроса и ответа*». Таким образом, и в последней фразе комментируемого письма сквозил намек на характер отношений между западником Тургеневым и близким к славянофилам почвенником Достоевским. Отношения эти были не таковы, чтобы можно было говорить о возможности согласия между двумя писателями по всем вопросам общественно-политической и литературной жизни. Речь шла только об одном вопросе. И ожидался только один ответ на него. Но как вопросу этому (вопросу, в сущности, о русском литературном языке), так и ответу на него придавалось исключительное значение.

Объективно характер постановки вопроса о языке в романе «Дым» и в «Дневнике писателя» свидетельствовал о потенциальной возможности примирения Достоевского с Тургеневым. Письмо «Одного из Потугиных» документально подтверждает правоту такого заключения.

Е. А. Штакеншнейдер — Достоевскому

23 мая 1879 г. Мыза Ивановка

Мыза Ивановка.<sup>1</sup>

Здоровы ли Вы, милые, дорогие Федор Михайлович и Анна Григорьевна с детками, и как поживаете? Какова погода у Вас? Сидит ли Федор Михайлович на вольном воздухе или все больше в комнате? <sup>2</sup> На вольном воздухе лучше. Петербург проглотил, что было в апрельском «Русском вестнике»,<sup>3</sup> и облизывается и ждет, чтобы дали еще, как собака, которая разлакомилась только, но еще не сыта, но, кажется, до конца июня ей ничего не дадут? <sup>4</sup> И пусть ждет так; главное, здоровье Ваше, отдохните, а мы подождем (но только я очень завидую Анне Григорьевне). Федор Михайлович, Вам, может быть, не нравится, что я сравнила читающих с собакой, но ведь это очень верно, и сам Ваш любимец, Буренин,<sup>5</sup> не определит вернее впечатления Ваших произведений на публику читающую, не пишущую, но понимающую. Пишущая, то другое дело. Та, во-первых, хочет быть умнее Вас и никак не может. Вот, например, не Ваш и не мой любимец, но любимец либерального Петербурга, его пророк и глашатай его истин — Марков. Передо мной его статья: «Романист-психиатр» («Русская речь», май), разве он не мнит, что постиг Вас? И как бойко он все решил, распределил и подвел итоги.<sup>6</sup> А редактор объявил, что у Вас мрачное настроение. И оба не сомневаются, что это правда, что настроение мрачное.<sup>7</sup>

Но простите. Я бы хотела много чего высказать по поводу «Критической беседы» Маркова, да не смею надоедать Вам своими мыслями. Мы теперь на даче; погода была чудесная и вдруг испортилась. На днях в Петербурге был у нас Страхов. Мы вспоминали Вас и жалели, что Вас нет с нами. Он наказывал Вам кланяться; также Полонский и Покровский.<sup>8</sup> Полонский с семейством уезжает на остров Эзель, лечить детей. Полонский подтвердил все, что рассказывал Вам Майков<sup>9</sup> о жиде, который хотел через Полонского пробраться к Полякову<sup>10</sup> и наконец, рассердясь, пригрозил ему между прочим и за то, что он ничего не дал на Кутаисское дело.<sup>11</sup> Покровский подарил мне к именинам Ваши сочинения. Голубушка Анна Григорьевна, не забудьте, если Вам что понадобится в Петербурге, обратитесь ко мне по следующему адресу: Гатчина, мыза Ивановка, Е. А. Штакеншнейдер. Мама и сестры кланяются Вам, а Алеша и Вера<sup>12</sup> детям Вашим, а я всем Вам вместе. Будьте здоровы и не забывайте

преданную Вам

Е. Штакеншнейдер.

<sup>1</sup> Правый верхний угол листа с датой оторван. Датируется по ответному письму Достоевского от 15 июня 1879 г., где говорится: «От души благодарю Вас за Ваше милое письмо от 23-го мая» (П., IV, 62).

<sup>2</sup> С конца апреля до середины июля 1879 г. Достоевский с семьей жил в Старой Руссе.

<sup>3</sup> В апрельском номере «Русского вестника» за 1879 г. была напечатана четвертая книга «Братьев Карамазовых».

<sup>4</sup> В майском номере «Русского вестника» за 1879 г. были опубликованы 1—4 главы, а в июньском 5—7 главы пятой книги «Братьев Карамазовых».

<sup>5</sup> Виктор Петрович Буренин (1841—1926) — литературный критик, публицист, поэт, драматург; фельетонист газеты «Новое время». В 1878—1879 гг. неоднократно выступал с сочувственными отзывами о «Дневнике писателя» и «Братьях Карамазовых» (см., например: Новое время, 1878, 20 января, № 681; 1879, 9 марта, № 913; см. также: 15, 443, 498—499). 14 мая 1880 г. Достоевский писал А. С. Суворину о Буренине: «... я ждал, не напишет ли он чего-нибудь об моем последнем отрывке „Карамазовых“, ибо мнением его дорожу» (П., IV, 143).

<sup>6</sup> В мае—июне 1879 г. в журнале «Русская речь» печаталась 4-я часть «Критических бесед» беллетриста и критика Е. Л. Маркова (1835—1903) — «Романист-психиатр. (По поводу сочинений Достоевского)». Марков упрекал Достоевского в отказе от «глубоко честного, глубоко пронизательного психологического исследования души человеческой», каким, по его мнению, были «Записки из Мервго дома», и, обвиняя автора «Идиота», «Преступления и наказания», «Бесов» в «субъективности настроения», в увлечении «больной психией какого-нибудь одного мрачного героя», в неправдоподобии и натянутости действия, критик утверждал: «В этих романах его жизнь людей является гораздо хуже, темнее и бессмысленнее, чем в действительности» (Русская речь, 1879, № 5, с. 246, 247, 255, 275).

<sup>7</sup> Е. Л. Марков, характеризовавший Достоевского-романиста как «литературного аскета», заставляющего своих «мрачных героев» предаваться «мрачным размышлениям», с недовольством отмечал в «Идиоте» «медицинские подробности», «тщательные описания малейших предварительных симптомов падучей болезни, которым с таким необъяснимым вниманием отдается романист» (Русская речь, 1879, № 5, с. 243, 247, 272). К этому месту статьи давалось редакционное примечание, принадлежавшее, по всей вероятности, редактору и издателю «Русской речи» А. А. Навроцкому: «Внимание это понятно для тех, кому известна тяжелая болезнь, давно уже удручающая почтенного г-на Достоевского и влияющая на мрачное настроение всех его произведений» (там же, с. 272).

<sup>8</sup> Михаил Павлович Покровский — участник петербургских студенческих волнений 1861 г.; близкий знакомый Н. Н. Страхова и Е. А. Штакеншнейдер, которая назвала его «одним из самых искренних и горячих поклонников» Достоевского. В своих воспоминаниях она отмечала: «Не Покровский ли и меня научил поклоняться Достоевскому, так сказать, открыл мне его, и в его произведениях открывал такие горизонты, которые без него были бы для меня совершенно недоступными?» (Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки, с. 460—461).

<sup>9</sup> Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт, переводчик, критик, близкий друг Ф. М. Достоевского с 40-х годов до конца жизни.

<sup>10</sup> Имеется в виду крупнейший железнодорожный концессионер, миллионер — С. С. Поляков.

<sup>11</sup> Речь идет о рассмотрении Кутаисским окружным судом 5—13 марта 1879 г. обстоятельств гибели крестьянской девочки Сарры Модебадзе, в смерти которой несправедливо обвинялись девять евреев из местечка Санчхеры; суд вынес оправдательный приговор. Об этом процессе Достоевский упоминал в письме к О. А. Новиковой от 28 марта 1879 г. (Свиток. М., 1922, с. 152).

<sup>12</sup> Дети сестры Е. А. Штакеншнейдер — Ольги Андреевны Эйснер.

Е. А. Штакеншнейдер — Достоевскому

19 июня 1880 г. Мыза Ивановка

Мыза Ивановка. Июня 19.80.

С живейшим вниманием и восторгом следила я за торжеством Пушкина и Вашим торжеством, Федор Михайлович,<sup>1</sup> теперь слезно молю: дайте Вашу речь! В газетах только выписки, на устах у вернувшихся из Москвы только восторженные отзывы, а мне надо ее всю и прочитать самой. Скажите по крайней мере, где она появится и когда.<sup>2</sup> Воображаю, что это было. Как жаль, что Анна Григорьевна не присутствовала. Главное неожиданность. То есть все знали, что будут Вам рукоплескать, ведь всем рукоплескали, но не знали, что будут плакать, что бросятся к Вам, что Аксаков откажется от своей речи, иначе он бы не приготовил свою.<sup>3</sup> Вы, Федор Михайлович, поставили настоящий и прочнее, а главное — прекраснее бронзового, памятник Пушкину. И не великому поэту одному указали Вы его высокое место, Вы указали его и для России, подняли наш угнетенный дух, от той-то радости и заплакали Ваши слушатели.

Я пушкинские дни и их финал, т. е. инцидент, как выражаются газеты, Каткова,<sup>4</sup> провела в доме Шульца<sup>5</sup> на Крестовском. Шульц еще со времени истории с Гартманом изгнал из своего дома «Голос»,<sup>6</sup> несмотря на некоторое пристрастие к Загуляеву,<sup>7</sup> но случайно тот номер, где была телеграмма о Каткове, попал нам в руки. Шульц, как большинство петербургских бюрократов (он сенатор), ненавидит Каткова, но и он стал в тупик. Тут наехали другие сенаторы и либералы и злорадствовали, что Катков понес казнь. Мне удалось, тоже не без ехидства, доказать им, что не могло всего этого быть, потому что на обеде присутствовали не пешки, не петербургские либералы, не смеющие из трусости перед кем-то и перед чем-то протянуть руку Каткову. И что гнусная выходка «Голоса», направленная против Каткова, если бы была в ней правда, бросала бы невыгодную тень не на него, а на Вас всех присутствующих, а так как в числе присутствующих были Вы, Майков, Полонский, то, значит, все ложь. Приехал Гаевский,<sup>8</sup> и вышло, что я права. Гаевский тоже по своему петербургскому вероисповеданию не любит Каткова и приверженец Тургенева. Он рассказал, как дело было и что Тургенев ни за что не хотел идти на обед, чтобы не встретиться с Катковым, и пошел, только когда его друзья ему обещали, что при первой неприятности, которую ему сделает Катков, они все вместе с ним выйдут из зала. Неужели это правда?<sup>9</sup> Гаевский — приверженец Тургенева и умный человек. Как мог он нечто подобное рассказать про своего друга и не заметить, что выставляет его в странном виде? Чего ожидали они от Каткова? В заключение должна сказать Вам, что Шульц, хоть и петербургский и сенатор,

но менее других либерал, в нем здравый смысл всегда одерживает верх.

Простите, голубчик Федор Михайлович, за длинное письмо, сама не знаю, как расписалась. Мама, Андриуша, Соня и Оля<sup>10</sup> свидетельствуют свое почтение Вам и Анне Григорьевне. Здесь у нас чудесно, мы все, насколько можно, набираемся здоровья на зиму. Дай бог и Вам поздороветь и отдохнуть. Мало досуга у Вас, в Москве Вы оставались долее, чем предполагали,<sup>11</sup> в июньской книжке «Русского вестника», верно, опять ничего не будет,<sup>12</sup> ну да бог с Вами! Будьте только здоровы, насколько можете. Едете ли в Эмс?<sup>13</sup> А я должна тоже пить эмс. И ведь был весною плеврит, а потом я опять упала, вместе с креслом, и опять повредила себе ногу. Но лето чудесно, и зиму жду с нетерпением. Видимо, это Ваши слова о России придали мне снова охоту жить. Осенью увижусь с Вами и опять буду слушать Вас. И все Ваши поклонники и поклонницы будут слушать. У нас новая квартира, гостиная большая, в 4 окна. Будет и «Скупой рыцарь». Вы ведь обещали. А Донна Анна и Лаура давно уж долбят что-то к осени.<sup>14</sup>

Летний адрес мой: Гатчина, Мыза Ивановка, Е. А. Штакеншнейдер, а городской: Знаменская, д. 22, квартира 13.

Но будет. Низко, низко кланяюсь Вам и обнимаю Анну Григорьевну и деток.

Письма от Вас жду с великим нетерпением.

Преданная Вам

Е. Штакеншнейдер.

<sup>1</sup> 5—8 июня 1880 г. в Москве проходили торжества по случаю открытия памятника Пушкину. 8 июня на втором заседании Общества любителей российской словесности с речью о Пушкине выступил Достоевский.

<sup>2</sup> Речь Достоевского была впервые опубликована в «Московских ведомостях» 13 июня 1880 г.

<sup>3</sup> 9 июня 1880 г. в газете «Голос» (№ 159) сообщалось: «Речи г-на Аксакова предшествовало следующее. Взойдя на кафедру, он сказал: „После Достоевского говорить о Пушкине нечего. Его речь есть событие — это гениальнейшая разработка вопроса о народности поэта. До сего дня можно было говорить об этом, доказывать; теперь вопрос решен навсегда, бесповоротно. Толковать тут больше нечего. Все, что я готовился прочесть, потеряло всякое значение. Моя речь упраздняется речью Достоевского. С Достоевским согласны обе стороны: и представители так называемых славянофилов, как я например, и представители западничества, как Тургенев. Если я и могу прочесть что-нибудь, то разве отрывок из приготовленной речи“. На это послышались крики: „Всю речь, всю, читайте все“. Г-н Аксаков начал чтение своей речи».

<sup>4</sup> Имеется в виду именованный в газетах «accident Katkoff» (Голос, 1880, 8 июня, № 158) или «incident Katkow» (там же, 11 июня, № 160) холодный прием слушателями примирительной речи редактора «Московских ведомостей», реакционного публициста М. Н. Каткова (1818—1887), произнесенной им 7 июня 1880 г. на обеде, данном Московской думой участникам пушкинского празднества. Ср. далее примеч. 9. Реакция на речь Каткова отразила единодушное осуждение прогрессивной частью общества деятельности Каткова (см.: Голос, 1880, 8 июня, № 158; 11 июня, № 160).

<sup>5</sup> Федор Карлович Шульц (1828—1881) — сенатор гражданского казначейского департамента; близкий знакомый семейства Штакеншнейдеров.

<sup>6</sup> По-видимому, речь идет о требовании русских властей выдать находившегося во Франции народовольца Льва Николаевича Гартмана — участника покушения на Александра II 19 ноября 1879 г. под Москвой. «Дело Гартмана» находилось в центре внимания русской и зарубежной печати в феврале—марте 1880 г. Французский премьер-министр Ш.-Л. Фрейсине, собиравшийся вначале передать арестованного русским властям, вынужден был под давлением общественного мнения (в числе выступавших в защиту Гартмана были В. Гюго и Дж. Гарibaldi) ответить отказом и освободить Гартмана.

«Голос» занимал вначале примирительную, уклончивую позицию: Гартман, разумеется, признавался «преступником, совершившим злодеяние», но вместе с тем допускалось, что улики против Гартмана могут быть недостаточными и что «французское правительство поступило в данном случае во всем согласно с требованиями справедливости»; при этом многозначительно отмечалось, что «личная свобода во Франции — дело священное» (Голос, 1880, 25 февраля, № 56). Однако вскоре «Голос» заявил в тон официальной прессе, что французское правительство «несомненно доказало свое внутреннее бессилие и вместе с тем обнаружилось неспособность играть самостоятельную роль в области международных отношений» (Голос, 1880, 12 марта, № 72; см. также: там же, 24 марта, № 84).

То, что сенатор оказывался сочувствующим в чем-то революционерам, было одним из проявлений глубокого кризиса, в котором находились «верхи» русского общества в конце 1870-х—начале 1880-х годов. В записях Е. А. Штакеншнейдер рассказывается о том, как в доме Шульца в конце октября 1880 г. зашел разговор о народовольцах, и в частности о Г. Д. Гольденберге (1855—1880) (которого обманным путем вынудили дать предательские показания, после чего тот покончил жизнь самоубийством). Когда Штакеншнейдер заметила о Гольденберге: «Струсил, вероятно...», Шульц «строго заметил»: «К Гольденбергу это слово неприемлемо». В связи с этим Штакеншнейдер писала: «Дух, царящий в обществе, может привести в ужас и в тоску <...> Шульц — добрейший человек, горячий сердцем. Если бы случилось, он, не задумываясь ни на секунду, своей грудью заслонил бы государя от опасности <...> покорные слуги закона на деле, а говорят — сами не слышат что. И не могут не говорить так, потому что так говорят все. И вот именно то, что все так говорят, и есть самое ужасное настоящего времени» (Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки, с. 436—437). Суждения Штакеншнейдер весьма близки к тому, что Достоевский говорил А. В. Суворину в феврале 1880 г. о политических преступлениях (см.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1964, с. 328—329).

<sup>7</sup> Михаил Андреевич Загуляев (1834—1900) — беллетрист, критик и публицист; в 1870-х—начале 1880-х годов был постоянным сотрудником газет «Голос» и «Journal de St.-Petersbourg». В своих обзорах «Les revues russes» («Русские журналы») на страницах «Journal de St.-Petersbourg» Загуляев сочувственно отзывался о творчестве Достоевского. Литературно-критические фельетоны Загуляева, по всей вероятности, были известны Достоевскому. Так, 29 января 1879 г. Е. А. Штакеншнейдер писала А. Г. Достоевской: «Фельетон Загуляева посылаю» (Литературное наследство, т. 86, с. 471); в письме к Е. А. Штакеншнейдер от 22 июня 1879 г. Загуляев упоминал о двух своих фельетонах, которые она собиралась послать Достоевскому (см.: ИРЛИ, № 29907). См. о нем также: 5, 332; 20, 182 и 372.

<sup>8</sup> Гаевский Виктор Павлович (1826—1888) — юрист, историк литературы; один из основателей Литературного фонда, многолетний его председатель.

<sup>9</sup> В ответном письме к Е. А. Штакеншнейдер от 17 июля 1880 г. Достоевский уточнял: «Не знаю, как Вам передавал Гаевский, но дело с Катковым не так было. Каткова оскорбило Общество любителей рус-



сийской» словесности <...> отбрав у него назад посланный ему билет; а говорил речь Катков на Думском обеде как представитель Думы и по просьбе Думы <...> У Тургенева же была подготовлена (Ковалевским и Университетом) такая колоссальная партия, что ему нечего было опасаться. Оскорбил же Тургенев Каткова первый. После того как Катков произнес речь и когда такие люди, как Иван Аксаков, подошли к нему чокаться (даже враги его чокались), Катков протянул *сам* свой бокал Тургеневу, чтобы чокнуться с ним, а Тургенев отвел свою руку и не чокнулся. Так рассказывал мне *сам Тургенев*» (П., IV, 183; см. также: Тургенев в И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XII, кн. 2, Л., 1967, с. 270, 563).

<sup>10</sup> Андрияша — брат Е. А. Штакеншнейдер, Адриан Андреевич Штакеншнейдер; Соня — невестка Е. А. Штакеншнейдер; Оля — сестра Е. А. Штакеншнейдер, Ольга Андреевна Эйсер.

<sup>11</sup> Достоевский прибыл в Москву 23 мая 1880 г.: открытие памятника Пушкину намечалось на 26 мая, но из-за траура по случаю смерти императрицы было перенесено на 6 июня.

<sup>12</sup> После апрельского номера «Русского вестника» продолжение «Братьев Карамазовых» появилось в июльском.

<sup>13</sup> Из-за спешной работы над «Братьями Карамазовыми» Достоевский не смог поехать на лечение в Эмс.

<sup>14</sup> В воспоминаниях В. Микулич рассказывается, как зимой 1879/80 г. на одном из вечеров в доме Штакеншнейдеров состоялась любительская постановка пушкинского «Каменного гостя»: Дон Гуана играл К. К. Случевский, Лепорелло — Д. В. Аверкиев, Монаха — Н. Н. Страхов, Лауру — подруга Е. А. Штакеншнейдер М. Н. Бушен, Донну Анну — С. В. Аверкиева (см.: Микулич В. Встречи с писателями, с. 144—146). После спектакля Достоевский по просьбе собравшихся прочел монолог Барона из «Скупого рыцаря» (см.: там же, с. 147—148). 19 октября 1880 г. на чтении в пользу Литературного фонда Достоевский повторил сцену в подвале из «Скупого рыцаря» (см.: Достоевская А. Г. Воспоминания, с. 351—352).

## А. М. Черницкая — Достоевскому

19 января 1881 г. Петербург

1881 года. 19 января.

Наш Шекспир, Федор Михайлович!

Осмеливаюсь побеспокоить Вас вопросом.

Может ли русский Фауст найти себе исход, почему не нашел его Иван Карамазов, почему Аполлон Александрович Григорьев, понимая гений Христа, этот вечный идеал красоты и правды, почему и он не нашел исхода?

Достаточно одного Вашего слова «может» или «не может», и я поверю этому Вашему слову, потому что...

Вечный Суд Вам дал  
Всеведенье пророка.<sup>1</sup>

Беспредельно Вам верящая

А. Черницкая.

Печатается по подлиннику: ГБЛ, ф. 93. 11. 9. 121.

А. Черницкая — слушательница словесного отделения высших женских бестужевских курсов в Петербурге. Получив ее письмо, Достоевский пометил в своей последней записной тетради: «Отвечать на вопрос о Фаусте». Запись сделана после 22 января 1881 г., незадолго до смерти Достоевского. Поэтому, возможно, писатель так и не успел ответить Черницкой (о присутствующей в романе «Братья Карамазовы» теме «Фауста» Гете см.: 15, 465—466).

<sup>1</sup> Черницкая перефразирует начальные строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Пророк» («...С тех пор как вечный судия Мне дал всеведенье пророка...», 1841).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аверкиев Д. В. 140, 141, 269  
 Аверкиева С. В. 269  
 Авижюс Й. К. 32, 33  
 Авсеенко В. Г. 159  
 Агин А. А. 201  
 Адам В. 181  
 Аккерман 180  
 Аксаков И. С. 214, 247, 266, 267, 269  
 Аксаков К. С. 247  
 Александр I 103, 107  
 Алексеев В. А. 219  
 Альтман М. С. 87  
 Андриасов М. 35  
 Анненков П. В. 75, 186, 187, 190  
 Антонович М. А. 231, 232  
 Анциферов Н. П. 244  
 Апдайк Д. 31  
 Апрелева-Бларамберг Е. И. 153  
 Аристотель 4  
 Архипова А. В. 101, 111, 149, 242  
 Асеев Н. Н. 59  
 Аскоченский В. И. 249, 250  
 Астафьев В. П. 32  
 Ахшарумов Д. Д. 92  
 Ашимбаева Н. Т. 242
- Байрон Д.-Г. 93  
 Бакунин М. А. 17  
 Бальзак О., де 9, 12, 89, 185  
 Баршт К. А. 222, 242, 244  
 Бассет 180  
 Батюто А. И. 132, 146, 150, 162, 246  
 Бахтин М. М. 27, 28, 241  
 Башуцкий А. П. 78  
 Безобразов Ф. 181  
 Бекетин П. В. 32, 33  
 Белецкий А. И. 84  
 Белинский В. Г. 3, 75, 84, 94, 106,  
 187, 196, 197, 241, 244, 249  
 Белова Е. Б. 243  
 Бем А. Л. 19  
 Бенедиктов В. Г. 254  
 Берг Ф. Н. 246—251  
 Бердяев Н. А. 25
- Березкин А. М. 246  
 Бернардский Е. Е. 201  
 Берсеев И. Н. 65  
 Бестужев-Рюмин К. Н. 196  
 Билинкис Я. С. 239  
 Битюгова И. А. 194, 241  
 Бицилли П. 22  
 Блок А. А. 62  
 Бобров С. П. 59  
 Боград В. Э. 187, 195  
 Боград Г. Л. 236, 243, 245  
 Бонавентура 165, 166  
 Бондарев Ю. В. 32  
 Борси Д. 196  
 Босси М. 205, 208  
 Боткин В. П. 197  
 Буданова Н. Ф. 109, 142, 147, 161,  
 242  
 Булгаков М. А. 32  
 Булгарин Ф. В. 195  
 Бунин И. А. 57  
 Бурещин В. П. 194, 264, 265  
 Бурсов Б. И. 27, 239  
 Бутков Я. П. 188, 189  
 Бухарева Н. Т. 87  
 Бушен М. Н. 269  
 Бушмин А. С. 38, 236, 239, 242  
 Быков П. В. 248  
 Бычкова М. Е. 87  
 Бялый Г. А. 239, 241
- Валиханов Ч. 240  
 Варфоломей Пизанский 175  
 Васкес П.-К. 51  
 Вегнер М. 22  
 Ведерхольм К. 222  
 Величкина И. И. 151  
 Велчев В. 151  
 Веселитская Л. И. см. Микулич В.  
 Веселовский А. Н. 169, 170  
 Веселовский С. В. 87  
 Ветловская В. Е. 74, 163, 242  
 Вильчинский В. П. 151, 251  
 Виноградов В. В. 19, 84, 101, 194, 204

Владимирцев В. П. 74, 75  
Волгин И. Л. 151, 242, 254  
Волконский В. 181  
Володин А. И. 117  
Вольнский А. Л. 18  
Волькенау 180  
Вольтер Ф.-М.-А. 111, 206, 244  
Вольфрам Ю. И. 72, 73  
Воронихина Т. Н. 237  
Врангель А. Е. 223  
Вронченко М. П. 164  
Вьёссё Дж.-П. 204—208

Гаевский В. П. 266, 268  
Гальперина Р. Г. 244  
Гарibaldi Дж. 268  
Гартман Л. Н. 266, 268  
Гегель Г.-Б.-Ф. 4, 8  
Гедройц А. Н. 206  
Гейне Г. 58  
Гербель Н. В. 164  
Герцен А. И. 3, 17, 81, 158, 159, 254  
Герштейн Э. Г. 186  
Герье В. 167, 170, 175, 177  
Гете И.-В. 4, 8, 27, 163, 164, 166,  
185, 270  
Глинка М. И. 262  
Гоголь Н. В. 4, 5, 20, 27, 28, 30, 57,  
60, 77, 91, 98, 143, 147, 199, 225,  
226, 241  
Голицын Н. Н. 258  
Головачев А. 181  
Головачев Н. 181  
Гольденберг Г. Д. 268  
Гомер 3, 7, 27, 200  
Гончаров И. А. 20, 119, 121, 143  
Гораций 222  
Горбовский Г. Я. 61  
Горький М. 32, 34, 57, 58—60, 113  
Готовский М. 181  
Гофман Э.-Т.-А. 5, 185  
Градовский Г. К. 246, 256  
Граммши А. 205  
Графин Д. А. 63  
Григорович Д. В. 79, 181, 184  
Григорьев Ап. А. 120, 225, 247, 269  
Грин Г. 31  
Грознова Н. А. 32  
Громов В. А. 157  
Гроссман Л. П. 19, 113, 163, 164, 179,  
217, 222, 255  
Гумбольдт В. 7  
Гюго В. 155, 185, 268

Даль В. И. 80, 81, 85, 158  
Данилов К. 158  
Данте 4, 21, 27, 165, 169, 170, 200  
Державин Г. Р. 62  
Джакомоино 169, 170

Дидро Д. 206  
Диккенс Ч. 9  
Дмитриев И. И. 110  
Добролюбов Н. А. 35, 103, 104, 230—  
232  
Долгополов Л. К. 242  
Долинин А. А. 242  
Долягин А. С. 101, 113, 179, 208—  
210, 216, 220, 234, 241  
Достоевская А. Г. 79, 119, 120, 205—  
207, 237, 238, 241, 243, 255, 264,  
266—269  
Достоевская М. Д. 197, 223—225  
Достоевская М. Ф. 120  
Достоевский А. М. 79, 101  
Достоевский А. Ф. 238, 241  
Достоевский Д. А. 238  
Достоевский М. А. 182  
Достоевский М. М. 180—182, 197, 248  
Дружинин А. В. 186—191  
Дубельт Л. В. 195

Евнин Ф. И. 86, 95, 113  
Егоров Б. Ф. 186, 239  
Елисеев Г. З. 232  
Ермолов А. П. 111

Жадовская Ю. В. 193  
Жид А. 31  
Жиликова Э. М. 92  
Жук А. А. 242  
Жуковский В. А. 84

Заблоцкий-Десятовский А. П. 248,  
249  
Загуляев М. А. 266, 268  
Залыгин С. П. 32  
Захаров В. Н. 95  
Зеленин Д. К. 85  
Зельдович М. Г. 186  
Зильберштейн И. С. 244  
Зобнин Ф. 85

Иванов И. И. 117, 118, 120, 121  
Ивановский 180  
Иллюстров И. И. 85  
Иннокентий III 168  
Ионкава 240  
Исаева М. Д. см. Достоевская М. Д.

Каврайский В. 181  
Калинин Б. Н. 236, 237  
Кант И. 4  
Канунова Ф. З. 98  
Карамзин Н. М. 101—112  
Карелин П. А. 89  
Карчевская С. В. 243  
Карякин Ю. Ф. 64, 113, 117, 242

- Катков М. Н. 132, 266—269  
 Качалов В. И. 65  
 Кашина Н. В. 32, 47  
 Кеннеди Д. 115  
 Книги С. 36  
 Кийко Е. И. 210, 214, 217, 235, 242  
 Кинг М.-Л. 115  
 Кирай Д. 90  
 Кирпичев 180  
 Кирпотин В. Я. 93, 99, 162, 215, 216  
 Клименко М. 34  
 Ковалев В. А. 32  
 Ковач А. 95  
 Козмин Н. К. 255  
 Кольцов А. В. 201  
 Кондратьева Т. Н. 85  
 Кони А. Ф. 240  
 Конради В. 165  
 Коперник Н. 128  
 Короленко В. Г. 86  
 Костомаров В. 248  
 Костомаров К. Ф. 180  
 Крученюк П. 35  
 Крылов И. А. 200, 240  
 Кулешов В. И. 77, 195  
 Кулиш П. А. 225  
 Куманин А. А. 182  
 Купрянова Е. Н. 97  
 Куроедов И. 181  
 Кусков П. А. 246—248  
 Куторга С. 201
- Лавров П. Л. 161, 254  
 Ладьяжников И. П. 208  
 Лебедев Ю. В. 230  
 Левин В. И. 94  
 Ленин В. И. 3, 4, 14, 23—25, 242  
 Леонардо да Винчи 130  
 Леонидов Л. М. 65  
 Леонов Л. М. 32, 55, 56  
 Лермонтов М. Ю. 4, 5, 20, 93, 143, 186, 201, 240, 270  
 Лефорг Ф. Я. 104  
 Лихачев Д. С. 113, 115, 227  
 Лойола И. 177  
 Ломовский 180  
 Ломоносов М. В. 28, 159  
 Лопе де Вега 166  
 Лоррен К. 21  
 Лотман Л. М. 74  
 Луговской В. А. 34  
 Луначарский А. В. 25  
 Любимов Н. М. 64
- М. 3. 228  
 Майков А. Н. 116, 119, 147, 157, 202, 203, 212, 224, 230, 232, 234, 241, 254, 264, 266  
 Майков В. Н. 77, 195, 196
- Майков Л. Н. 203  
 Макаров М. 85  
 Макашин С. А. 196  
 Максимов Д. Е. 239  
 Максимович М. А. 249  
 Малахов М. В. 258  
 Малер Г. 67  
 Мальшикин А. Г. 32  
 Мальро А. 18  
 Манн Т. 24, 25, 31, 35  
 Марков Е. Л. 262, 264, 265  
 Маркс К. 14, 16, 17, 24, 27  
 Масато А. 36  
 Маслова Г. С. 82  
 Мельник В. И. 230  
 Мережковский Д. С. 18, 36  
 Меццерский В. П. 155  
 Микельанджело 4, 67  
 Микулич В. 254, 255, 269  
 Милюков А. П. 190, 191, 193, 202, 237  
 Мишквид 180  
 Мисюрев А. 74  
 Михайловский Н. К. 35—37, 131, 208—221  
 Можаровский А. 85  
 Моисенко-Великий В. 181  
 Монтескье Ш.-Л. 234, 235  
 Моравия А. 29  
 Мордвинов А. С. 111  
 Моро А. 115  
 Морозов Н. см. Протопопов М. А.  
 Мостовская Н. Н. 226  
 Мотылева Т. Л. 29  
 Мулье Ж. 35  
 Муссолини Б. 16
- Н. см. Унгилов  
 Навроцкий А. А. 265  
 Надсон С. Я. 258  
 Назарова Л. Н. 147, 151  
 Назиров Р. Г. 99, 113, 115, 124, 125, 130, 242  
 Невахович М. 201  
 Некрасов Н. А. 3, 20, 149, 154, 186, 193, 203, 220, 227, 228, 240, 260, 261  
 Нерсисянц В. С. 221  
 Нечаев С. Г. 16, 17, 117, 118, 120, 121, 123, 230  
 Нечаева В. С. 162, 197, 248  
 Нечаева М. Ф. см. Достоевская М. Ф.  
 Никитенко А. В. 197  
 Никитин И. С. 62  
 Никитина Н. С. 151, 233  
 Ницше Ф. 23  
 Новикова О. А. 265  
 Нордштейн А. П. 241

- Обресков А. 181  
«Один из Погутиных» 246, 261—263  
Одоевский В. Ф. 5, 247—249  
Озанам А. Ф. см. Ozanam A.-F.  
Озмидов Н. Л. 110  
Орнатская Т. И. 69, 225, 246  
Осинов П. 181  
Осповат А. Л. 186  
Островская Н. А. 153  
Островский А. Н. 20, 143, 190
- Павлов И. П. 243  
Павлов Н. Ф. 250, 251  
Палашенков А. Ф. 241  
Палиевский П. В. 37  
Пакаев И. И. 197  
Пастернак Б. Л. 59  
Патон О. 181  
Паукер Е. 181  
Перебаскин А. 181  
Петелин В. В. 47  
Петр I 103—108, 159  
Петрашевский М. В. 92, 196, 232  
Пиксанов Н. К. 74  
Пионтек Г. В. 237  
Писарев Д. И. 160  
Пискунов В. М. 37  
Платон 4  
Платонов А. П. 32  
Плещеев А. Н. 248  
Плимак Е. 117  
Покровский М. П. 255, 264, 265  
Полевой П. Н. 185, 258  
Полиектов 180, 181  
Половский Я. П. 191, 254, 255, 264—  
266  
Поляков С. С. 264, 265  
Помазнёва В. 56  
Поповицкий А. И. 257  
Порецкая Е. С. 241  
Порецкий А. У. 192, 196, 203, 204, 241  
Порфирьев В. 237  
Потанин Г. М. 258  
Прейма К. И. 33, 36  
Примак Е. Г. 117  
Прожогин Н. П. 204  
Прокофьев А. А. 236  
Протопопов М. А. 260  
Прудон П.-Ж. 232, 233  
Прудцов Н. И. 239, 242  
Пудовиков П. Е. 219  
Пустовойт П. Г. 99  
Пуцкович В. Ф. 70  
Пушкин А. С. 4, 5, 19, 20, 25, 27,  
28, 30, 57, 60, 62, 96, 120, 126—  
128, 143, 148, 187, 201, 240, 250,  
261—263, 266, 267, 269  
Пыляев М. И. 78  
Пыпин А. Н. 108, 109  
Пятицкий К. П. 59, 60
- Рабинович М. Г. 76  
Рабле Ф. 27  
Рак В. Д. 208  
Распутин В. Г. 32, 66  
Рафаэль 130  
Реймерс 180  
Рембрандт Х., ван Рейн 4  
Ренай Э. 217—219  
Решни В. М. 195  
Риндлисбахер Г. 72  
Роб-Грийе А. 22  
Робеспьер М.-М.-И. 110  
Родионов В. 181  
Розанов И. Н. 254  
Розанов Н. Н. 60  
Розенблюм Л. М. 99, 210, 241  
Розов В. С. 67  
Рудин А. А. 243  
Румянцев И. И. 241—243  
Румянцева С. И. 241  
Руссау Е. 181  
Руссо Ж.-Ж. 3, 111  
Рыбалко Б. Н. 122, 242, 245
- Сабатье П. 166  
Савостьянова В. А. 238  
Савостьянова М. В. 238, 239, 241  
Савушкина Н. И. 85  
Садерланд-Эдвардс 228  
Салтыков-Щедрин М. Е. 3, 20, 157,  
196, 232, 258  
Санд Ж. 185  
Саррот Н. 22  
Сартр Ж.-П. 129, 130  
Сахар Я. Ф. 244  
Свительский В. А. 190, 242  
Семевский В. И. 195, 196  
Семевский М. И. 104, 191, 192, 223,  
224  
Семенов Е. И. 209, 210, 221  
Семенов П. 78  
Сенанкур Э.-П. 189  
Серафимович А. С. 33  
Сервантес М. де Сааведра 12, 21, 27,  
65  
Сердюченко В. 32  
Серно-Соловьевич А. А. 230  
Серно-Соловьевич Н. А. 230  
Симонова-Хохрякова Л. Х. 246, 256—  
261  
Скавронский А. 232  
Скафтымов А. П. 244  
Скотт В. 8  
Сливько А. А. 210  
Слонимский С. М. 67  
Случевский К. К. 269  
Смирнов В. Б. 210  
Смирнова Л. Н. 58  
Сниткин И. Г. 119—122  
Сократ 221, 222

Соллогуб В. А. 241  
Соловьев В. С. 70, 237  
Сорель Ж. 16  
Сперанский М. М. 108, 109  
Спешнев Н. А. 240  
Станкевич 180  
Старикова Е. В. 32  
Стасов В. В. 196  
Стасюлевич М. М. 157, 158  
Стейнбек Д. 31  
Степанов В. П. 102  
Степанова Г. В. 246  
Страхов Н. Н. 101, 108, 109, 206,  
217—219, 237, 248, 254, 264, 265,  
269  
Стребков Ю. С. 47  
Суворин А. С. 237, 265, 268  
Сумцов Н. Ф. 88  
Сургучев И. Д. 59  
Суслова А. П. 224  
Сучков Б. Л. 129  
Сю Э. 227  
Сюзор, де 200

Тарасов Д. Ф. 249  
Тарновский К. 181  
Таубе В. 237  
Террас В. 18—21  
Тизенгаузен 181  
Тизенгольд Р. 181  
Тимофеева-Починковская В. В. 17  
Толстой А. Н. 32  
Толстой Л. Н. 3, 8, 9, 20, 23, 25, 27—  
31, 37, 58—60, 62, 97, 132—141,  
150—153, 211, 212, 218, 219, 240  
Топоров В. Н. 74  
Тотлебен А.-Г. 181, 182  
Тотлебен Г. см. Тотлебен А.-Г.  
Тотлебен Э. И. 181, 182  
Трипо 180  
Трутовский К. А. 79, 240  
Туниманов В. А. 102, 113, 121, 123,  
124, 127, 148, 149, 162, 191, 220,  
225, 235, 242  
Тураев С. В. 92  
Тургенев И. С. 9, 20, 30, 56, 102,  
142—162, 212, 234, 241, 261—263,  
266, 269  
Тургенев Н. И. 110, 111  
Тустановская Е. М. 245  
Тынянов Ю. Н. 98, 140, 225  
Тюнькин К. И. 90  
Тютчев Ф. И. 62, 178

Удодов А. Б. 95  
Улановская И. Ю. 240, 242  
Унтилов 256  
Успенский Гл. И. 258  
Устрялов Н. Г. 103, 104

Фаресов А. И. 258  
Федин К. А. 32  
Федоренко Б. Ф. 237, 238, 240, 242  
Федоров А. В. 244  
Федоров А. И. 87  
Федоров-Чмыхов Е. С. 243, 244  
Федри де Пиньи 180  
Фере 180, 182  
Фет А. А. 21  
Фидий 4  
Философова А. П. 160, 161  
Фома Челанский 165, 168, 171, 176  
Фонвизин Д. И. 107  
Фонякова Н. Н. 237  
Франциск Ассиизский 165—178  
Фрейсине Ш.-Л. 268  
Фридлендер Г. М. 3, 18, 29, 37, 72,  
96, 107, 113, 151, 162, 236, 237,  
239, 241  
Фурманн П. Р. 227

Х. 246, 251—254  
Хватов А. И. 237  
Хигерович Р. И. 33  
Хлебников К. 181  
Холодковский Н. А. 163  
Христов Б. 151

Цвейг С. 9  
Цейтлин А. Г. 77  
Цимбаев Н. И. 214  
Цицерон 128

Черкасский В. А. 251, 254  
Черневский 180  
Черницкая А. М. 246, 269, 270  
Чернова Н. В. 243  
Чернышевский Н. Г. 3, 30  
Чехов А. П. 16, 57  
Чивер Д. 29  
Чижевский Д. И. 163  
Чирков Н. М. 113  
Чичерин А. В. 101  
Чуковский К. И. 186

Шалыпин Ф. И. 117  
Шарггорст В. Л. 179  
Шатобриан Ф.-Р. 185, 189  
Шевченко Т. Г. 194, 195  
Шевырев С. П. 200  
Шекспир В. 4, 20, 21, 27, 65, 92,  
115, 117, 128, 187  
Шеллер-Михайлов А. К. 258  
Шестов Л. 18  
Шидловский И. Н. 92

Шиллер Фр. 11, 21, 60, 84, 92, 111,  
185  
Шильдер Н. 181  
Шолохов М. А. 32—57  
Шостакович Д. Д. 67  
Штакеншнейдер А. А. 267, 269  
Штакеншнейдер Е. А. 246, 254, 255,  
264—269  
Штакеншнейдер М. Ф. 254, 269  
Штерн 180  
Шtrandман Р. Р. 194—204  
Шуберт А. И. 241  
Шукшин В. М. 32  
Шульц Ф. К. 266, 268 -  
Щенников Г. К. 90

Chavin F.-E. 165, 166  
Chérancé R.-P.-L. 166—169, 176, 177  
Dentler Cl.-L. 207  
Gebhart E. 168  
Gibian G. 74  
Klimenko M. см. Клименко М.  
Mann T. см. Манн Т.

Эйснер О. А. 265, 267, 269  
Эльзон М. Д. 234  
Энгельс Ф. 16, 27

Я. Я. Я. 87  
Ядринцев Н. М. 258  
Язвицкий В. И. 60  
Языков Н. М. 195, 201  
Якименко Л. Г. 37  
Якопоне из Тоди 170, 174, 175  
Якубович И. Д. 179, 190, 246  
Якушкина Е. М. 161  
Ялинский А. 181  
Яневич О. М. 84  
Яновский С. Д. 241  
Яцевич А. 85

Matlow R.-E. 163  
Ozanam A.-F. 165, 167, 168, 170—172,  
175, 177  
Sabatier P. см. Сабатье П.  
Spadolini G. 205  
Terras V. см. Террас В.



## СОДЕРЖАНИЕ

### ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

	Стр.
Г. М. Фридлендер. Художественный мир Достоевского и современность . . . . .	3
Б. И. Бурсов. К спорам о Достоевском . . . . .	27
П. В. Бекедин. Шолохов и Достоевский . . . . .	32
Письмо М. Горького к неустановленному лицу о Толстом и Достоевском (публикация Л. Н. Смирновой, Москва) . . . . .	58
Деятели советской культуры о Достоевском: Г. Я. Горбовский, Д. А. Гранин, Н. М. Любимов, В. Г. Распутин, В. С. Розов, С. М. Слонимский . . . . .	61

### НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ТЕКСТЫ ДОСТОЕВСКОГО

«Братья Карамазовы». Черновые наброски (публикация Т. И. Орнатской) . . . . .	69
Письмо к Ю. И. Вольфраму (публикация Г. М. Фридлендера) . . . . .	72

### СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

В. П. Владимирцев (Иркутск). Опыт фольклорно-этнографического комментария к роману «Бедные люди» . . . . .	74
Г. К. Щенников (Свердловск). Эволюция сентиментального и романтического характеров в творчестве раннего Достоевского . . . . .	90
А. В. Архипова. Достоевский и Карамзин . . . . .	101
Ю. Ф. Карякин (Москва). Зачем Хроникер в «Бесах»? . . . . .	113
А. И. Батюто. Незамеченные отклики на «Анну Каренину» в «Дневнике писателя» . . . . .	132
Н. Ф. Буданова. Диалог с автором «Нови» в «Дневнике писателя» за 1877 г. . . . .	142
В. Е. Ветловская. Pater Seraphicus . . . . .	163

### СООБЩЕНИЯ. ЗАМЕТКИ

И. Д. Якубович. Достоевский в Главном инженерном училище . . . . .	179
А. В. Дружинин о молодом Достоевском (публикация А. Л. Осповата, Москва) . . . . .	186
И. Д. Якубович. Неизвестный отзыв о повести «Дядюшкин сон» . . . . .	190

В. А. Туниманов. Объявления редакции «Времени» . . . . .	191
И. А. Битюгова. Достоевский и Р. Р. Шtrandман . . . . .	194
Н. П. Прожогин (Москва). Достоевский во Флоренции в 1868— 1869 гг. . . . .	204
В. Д. Рак. Спор Достоевского с Н. К. Михайловским в 1875 г. . .	208
Уточнения и дополнения к комментарию Полного собрания сочи- нений Ф. М. Достоевского (К. А. Баршт, Ю. В. Лебедев и В. И. Мельник, Н. Н. Мостовская, Н. С. Никитина, Т. И. Орнат- ская, В. А. Туниманов, М. Д. Эльзон) . . . . .	221
Г. Л. Боград. Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоев- ского в Ленинграде (1971—1980) . . . . .	236

#### НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Неизданные письма к Достоевскому (публикация А. И. Батюго, А. М. Березкина, Т. И. Орнатской, Г. В. Степановой, И. Д. Яку- бович) . . . . .	246
Указатель имен . . . . .	271

# ДОСТОЕВСКИЙ

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Вып. 5

*Утверждено к печати*

*Институтом русской литературы (Пушкинский Дом)  
АН СССР*

Редактор издательства *Н. А. Храмова*

Художник *Л. А. Яценко*

Технический редактор *Ф. А. Юмил*

Корректоры *Л. М. Бова, Э. Н. Литта и Г. В. Семерикова*

ИБ № 20512

Сдано в набор 24.05.82. Подписано к печати 13.01.83.

М-31902. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 1.

Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 17.5.

Усл. печ. л. 17.5. Усл. кр.-отт. 17.5. Уч.-изд. л. 19.99.

Тираж 14550. Изд. № 8252.

Тип. зак. № 1313. Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение  
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

---

Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая типография издательства «Наука»  
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»  
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ  
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»**

*Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:*

117192 Москва, В-192, Мичуринский пр., 12.  
Магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»;

197345 Ленинград, П-345, Петрозаводская ул., 7.  
Магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига»,

*или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел  
«Книга — почтой»:*

- 480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);  
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13;  
320093 Днепропетровск, пр. Гагарина, 24 («Книга — почтой»);  
734001 Душанбе, пр. Ленина, 95 («Книга — почтой»);  
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;  
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289;  
252030 Киев, ул. Ленина, 42;  
252030 Киев, ул. Пирогова, 2;  
252142 Киев, пр. Вернадского, 79;  
252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);  
277012 Кишинев, пр. Ленина, 148 («Книга — почтой»);  
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1;  
660049 Красноярск, пр. Мира, 84;  
443002 Куйбышев, пр. Ленина, 2 («Книга — почтой»);  
191104 Ленинград, Литейный пр., 57;  
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2;  
199034 Ленинград, 9 линия, 16;  
220012 Минск, Ленинский пр., 72 («Книга — почтой»);  
103009 Москва, ул. Горького, 8;  
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;  
630076 Новосибирск, Красный пр., 51;  
630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр., 22 («Книга — почтой»);  
142292 Пущино Московской обл., МР «В», 1;  
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);  
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;  
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;  
700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);  
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;  
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);  
450025 Уфа, Коммунистическая ул., 49;  
720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);  
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).